

И. А.
БУНИН

И. А. БУНИН



4



И. А. БУНИН.
Фотография 1891 года.

И. А. БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА 1956

Собрание сочинений
осуществляется под наблюдением
Л. В. Никулина

Подготовка текста и примечания
П. Л. Вячеславова

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1921 — 1952

ТЕМИР-АКСАК-ХАН

— А-а-а, Темир-Аксак-Хан! — дико вопит переливчатый, страстно и безнадежно тоскливый голос в крымской деревенской кофейне.

Весенняя ночь темна и сыра, черная стена горных обрывов едва различима. Возле кофейни, прилепившейся к скале, стоит на шоссеиной дороге, на белой грязи, открытый автомобиль, и от его страшных, ослепительных глаз тянутся вперед, в темноту, два длинных столпа светлого дыма. Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон веет из темноты влажный беспокойный ветер.

В кофейне густо накурено, она тускло озарена жестяной лампочкой, привешенной к потолку, и нагрета грудой раскаленного жара, рдеющего на очаге в углу. Нищий, сразу начавший песню о Темир-Аксак-Хане мучительным криком, сидит на глиняном полу. Это столетняя обезьяна в овчинной куртке и лохматом бараньем курпее, рыжем от дождей, от солнца, от времени. На коленях у него нечто вроде деревянной грубой лиры. Он согнулся, — слушателям не видно его лица, видны только коричневые уши, торчащие из-под курпея. Изредка вырывая из струн резкие звуки, он вопит с нестерпимой, отчаянной скорбью.

Возле очага, на табурете, — женственно полный, миловидный татарин, содержатель кофейни. Он сперва улыбался, не то ласково и чуть-чуть грустно, не то снисходительно и насмешливо. Потом так и застыл с поднятыми бровями и с улыбкой, перешедшей в страдальческую и недоуменную.

На лавке под окошечком курил хаджи, высокий, с худыми лопатками, седоборсдый, в черном халате и белой чалме, чудесно подчеркивающей темную смуглость его лица. Теперь он забыл о чубуке, закинул голову к стене, закрыл глаза. Одна

нога, в полосатом шерстяном чулке, согнута в колене, поставлена на лавку, другая, в туфле, висит.

А за столиком возле хаджи сидят те проезжие, которым пришло на ум остановить автомобиль и выпить в деревенской кофейне по чашечке дрянного кофе: крупный господин в котелке, в непромокаемом английском пальто и красивая молодая дама, бледная от внимания и волнения. Она южанка, она понимает по-татарски, понимает слова песни...— А-а-а, Темир-Аксак-Хан!

Не было во вселенной славнее хана, чем Темир-Аксак-Хан. Весь подлунный мир трепетал перед ним, и прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье хоть на мгновение быть рабой его. Но перед кончиною сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходящих калек и нищих, говоря им:

— Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо нет в ней больше даже желания желать!

И, когда господь сжалился наконец над ним и освободил его от суетной славы земной и суетных земных утех, скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков замел их развалины под вечно синим, как драгоценная глазурь, небом и вечно пылающим, как адский огонь, солнцем... *А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те, юные, нежные, ревнивые, что любили тебя, где глаза, сиявшие, точно черные солнца, на ложе твоём?*

Все молчат, все покорены песней. Но странно: та отчаянная скорбь, та горькая укоризна кому-то, которой так надрывается она, слаще самой высокой, самой страстной радости.

Проезжий господин пристально смотрит в стол и жарко раскуривает сигару. Его дама широко раскрыла глаза, и по щекам ее бегут слезы.

Просидев некоторое время в оцепенении, они выходят на порог кофейни. Нищий кончил песню и стал жевать, отрывать от тугой лепешки, которую подал ему хозяин. Но кажется, что песня все еще длится, что ей нет и не будет конца.

Дама, уходя, сунула нищему целый золотой, но тревожно думает, что мало, ей хочется вернуться и дать ему еще один — нет, два, три или же при всех поцеловать его жесткую руку. Глаза ее еще горят от слез, но у нее такое чувство, что никогда не была она счастливее, чем в эту минуту, после песни о том, что все суета и скорбь под солнцем, в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины души проникающим ветром.

Шофер, полулежавший в экипаже, поспешно выскакивает из него, наклоняется в свет от фонарей, что-то делает, похо-

жий на зверя в своей точно вывернутой наизнанку шубке, и машина вдруг оживает, загудев, задрожав от нетерпения. Господин помогает даме войти, садится рядом, покрывая ее колени пледом, она рассеянно благодарит его... Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами в какой-то кустарник, и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска... В вышине, над очертаниями чуть видных гор, кажущихся исполинскими, мелькают в жидких облаках звезды, далеко впереди чуть белеет прибоем излучина залива, ветер мягко и сильно бьет в лицо...

О, Темир-Аксак-Хан, говорила песня, не было в подлунной отважней, счастливей и славнее тебя, смуглоликий, огнеглазый — светлый и благостный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман! Ярче и зеленей райской листвы был шелк твоего тюрбана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончиком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями, готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни. Но, до дна испив чашу земных утех, в пыли, на базаре сидел ты, Темир-Аксак-Хан, и ловил, целовал рубище проходящих калек:

— Выньте мою страждущую душу, калек!

И века пронеслись над твоей забвенной могилой, и пески замели развалины мечетей и дворцов твоих под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы, с каждой новой весной, снова и снова томилась на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев... *А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где все муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений?*

Горы ушли, отступили, мимо шоссеиной дороги мчится уже море, с шумом и раковым запахом взбегающее на белый хрящ берега. Далеко впереди, в темной изменности, рассыпаны красные и белые огни, стоит розовое зарево города, и ночь над ним и над морским заливом черна и мягка, как сажа.

Париж. 1921

ДАЛЕКОЕ

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате, в гостинице «Северный Полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и злоеший (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлектором. Но казалось, что Иван Иванович не испытывал ни малейшей доли тех тяжелых чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не привыкших к «Северному Полюсу». Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший шинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, нарумяненная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с какой-то дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом морде с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вылупленными глазами... Иван Иванович вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и

черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь — и уединился за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь, ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому неведома — даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды была всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иванович. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозчичьи пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней колокольни — Иван Иванович как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал откуда-то, взял номер в «Северном Полюсе» и стал ближайшим соседом Иван Ивановича какой-то князь. И произошло с Иваном Ивановичем нечто совершенно неожиданное, нежданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, — была же старейшая сожительница Ивана Ивановича, маленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, не богатством и не внешностью, — князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжелой одышкой. И все-таки был Иван Иванович и поражен и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то неспростанное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить, с кем-то видется, о чем-то хлопотать, — совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Северном Полюсе», которых перебивало на памяти Иван Ивановича великое множество и навязываться на знакомство с которыми Ивану Ивановичу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким

ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала и у Ивана Иваныча гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высовывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

— А, а вы еще не спите?

И Иван Иваныч, замирая от восторга, хотя, впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал:

— Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

— Да,— говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину,— встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Иванычем, но с Иван Иваныча и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утром:

— А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иваныч выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двенадцатые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под рождество, под пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью закуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, на весь дом: — «Коридорный! Чаю!» — и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иваныч делать то же,— кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение...

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен — для меня по моей молодости и потому, что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила великий пост, пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небе, с новым Страстным, с новой Петровкой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красавицах, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светлосерой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «ддутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъездах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно

то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичы пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой людной улицей басистый звон с шатровой колокольни... День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками, брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, заказывал в «Праге» ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком... А Иван Иваныч? А Иван Иваныч тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за тридцать копеек в кухмистерской напротив «Северного Полюса» и на номер в «Северном Полюсе». Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу... Но вот приехал князь.

Чем мог он очаровать, поразить Ивана Иваныча? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и прожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иваныч зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развлечениями. Что ж, разве это плохо — не заваливаться спать в десять часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания? Разве это не молодит — зайти постричься, подравнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы? И Иван Иваныч, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие: и знакомство завел, и обезьянничать стал, — право, не больше других! — и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приоб-

щился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в «Северный Полюс» в предвечерний час, и даже больше того: купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, — чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, — возмечтав непременно съездить летом к Троице или в Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Иваныча к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно, но, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иваныч и я, в один прекрасный день расстались и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, — никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас, всякий раз имея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную. Но, как известно, мы в общем весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, — князь, Иван Иваныч и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, — плохонького, за шесть гривен, — а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, — и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иваныч в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, расставив во все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, — князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, — ах, как хороши они были, боже мой! — потом по пахучей от всякой москатели Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, — ехал и не просто радовался и самому себе и всему миру, а истинно тонул в радости существования, как-то

мгновенно, еще на Арбатской площади, позабыв и «Северный Полюс», и князя, и Иван Иваныча, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно взывать и к ним:

— Милый князь, милый Иван Иваныч, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?

Амбуаз. 1922

В НОЧНОМ МОРЕ

Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией.

На пароходе и возле него образовался суший ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи; с криком, с дракой осаждала пассажирский трап и, как на приступ, с непонятной бешеной поспешностью, лезла вверх со своими пожитками восточная чернь; электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытарщенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки; стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной; там тоже дрались и орали, отступались и цеплялись, там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа,— они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом. А дельфиноподобную тушу парохода упруго, точно на резине, валило то в одну, то в другую сторону...

Наконец стало стихать.

Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет и сак лакею и, узнав, что мест в каютах нет, прошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и, когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Пароход поднимало и опускало, медленно сносило, поворачивало течением. Дул мягкий ветерок южной летней

ночи, слабо пахнувший морем. Ночь, по-летнему простая и мирная, с чистым небом в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок, послышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь... Потом корма задрожала, зашумела винтами и водой. Низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало...

Можно было подумать, что оба пассажира спят, так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали, они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил:

— Вы тоже в Крым?

И второй, с прямыми плечами, не спеша ответил ему тем же тоном:

— Да, в Крым и дальше. Побуду в Алушке, потом в Гагры.

— Я вас сразу узнал,— сказал первый.

— И я вас узнал и тоже сразу,— ответил второй.

— Очень странная и неожиданная встреча.

— Как нельзя более.

— Собственно, я не то, что узнал вас, а у меня как будто уже заранее гналось такое чувство, что вы почему-то должны появиться, так что и узнавать было не нужно.

— Совершенно то же самое испытал и я.

— Да? Очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты — ну, необыкновенные, что ли? Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется.

— Может быть. Но ведь может быть и другое: то, что мы с вами просто вообразили сию минуту эти чувства нашего якобы предвидения.

— Может быть. Да, весьма возможно. Даже скорее всего, что так.

— Ну вот видите. Мы умствуем, а жизнь, может быть, очень проста. Просто похожа на ту свалку, которая была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давя друг друга?

И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили.

— Сколько мы с вами не видались? Двадцать три года? — спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом.

— Да, почти так,— ответил второй.— Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века.

— Большой срок. Целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены.

— Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?

— Гм! Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно, то есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита и через каких-нибудь десять лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте: в могиле. Не шуточная вещь.

— Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире?

— Кто ж этого не знает! Конечно, знаю. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно?

— Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель,— сказал второй.

— Да, да, две знаменитости.— Ну, так что вы хотели сказать?

— А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весть какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не десять лет, а несколько месяцев. Ну, самое большое — год. У меня достоверно установленная и мною самим и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти как ни в чем не бывало. Только саркастически усмехаюсь: хотел, извольте ли видеть, всех перещегоолять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить, и на свою голову добился — великолепно узнал свою собственную смерть. То бы меня дурачили, обманывали,— что вы, батенька, мы еще повоюем, чорт возьми! — а тут как обманешь, как совершь? Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересиливают в откровенности, смешанной с умилением и льстивостью: «Что ж, уважаемый коллега, не нам с вами хитрить... *Finita la comedia!*»¹

— Вы это серьезно? — спросил первый.

— Совершенно серьезно,— ответил второй.— И ведь главное что? Какой-то там Кай смертен, ergo² умру и я, да ведь когда-то еще это будет! Но тут, к сожалению, дело совсем иное: не когда-то, а через год. А много ли времени год? Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? Да то, что я почти ровно ничего не чувствую при мысли об этом и, что хуже всего, вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят за мне студенты, когда я расписываю им свою болезнь и ее течение,

¹ Кончена комедия! (*итал.*)

² Следовательно (*лат.*).

как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, знающие мою роковую тайну. И вот вы, например,— разве вам страшно за меня?

— Страшно ли за вас? Нет, сознаюсь,— в сущности нисколько.

— И, конечно, ничуть не жаль меня?

— Нет, и не жаль. И притом вы, я думаю, нисколько не верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские яблочки?

— Ну, какая там у нас с вами вера...

И опять оба помолчали. Потом вынули портсигары, закурили.

— И ведь заметьте,— сказал первый, тот, что лежал под пледом,— мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг перед другом, ни перед воображаемым слушателем. Говорим мы, право же, очень просто и без всякого предумышленного цинизма, без всякого едкого хвастовства, в котором все-таки есть всегда некая компенсация: вот, мол, извольте взглянуть, в каком мы положении — ни у кого такого нет. Мы и беседуем просто и умолкаем без всякой значительности, без всякой стоической мудрости. Говоря вообще, более сладострастного животного, чем человек, нет на земле, хитрая человеческая душа изо всего умеет извлекать самоуслаждение. Но в нашем с вами случае я даже и этого не вижу. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему, как вы выражаетесь, идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны.

— Еще бы! — ответил второй.— Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.

— Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену и который по целым дням и ночам, почти непрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности,— вернее, половой умиленности,— к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью и осыпать самыми унижительными знаками истинной собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно. А ведь я к тому же не совсем обычный человек, особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я переживал в течение целых годов.

— Неужели годов?

— Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости, обжигала меня точно раскаленным железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту — это еще туда сюда. Но любовницу или, как в нашем случае, жену! Ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души которой знаешь, как свои пять пальцев! Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился, из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы! Царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидав Ясодхару, у которой «был стан богини и глаза лани весной», натворил, возбужденный ею, чорт знает чего в состязании с прочими юношами, — выстрелил, например, из лука так, что было слышно на семь тысяч миль, — а потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвинил им Ясодхару и сказал: «Потому я избрал ее, что играли мы с ней в лесах в давно прошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девою лесов: вспомнила ее душа моя!» На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой: вспомнила ее душа моя!» — Вы простите меня за всю эту поэзию, но в ней огромная и страшная правда. Вы только вдумайтесь в смысл этих поразительных слов насчет вспомнившей души и в то, какой это ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Кто знает — я, может быть, тоже выстрелил бы так, что было бы слышно на тысячи миль. И вот, вдруг явились вы...

— Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? — спросил господин с прямыми плечами. — Злобу, отвращение, жажду мести?

— Представьте себе: ровно ничего. Несмотря на всю вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и «вспомнила душа моя!» Да ведь вы это хорошо знаете и сами, то есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили.

— Вы правы. Знаю. И это тоже очень страшно.

— А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас: совсем не страшно.

— Да, в сущности, ничуть. Говорят: прошлое, прошлое! А все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только, слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то...

И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел; мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, пронесившейся вдоль борта; быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бичева лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном: дзиннь... Потом пассажир с прямыми плечами спросил:

— Ну, а скажите... Что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?

— Да, почти ничего,— ответил пассажир под пледом.— Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету — слегка ударило в глаза: волею божиею, такая-то... С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, на этом роковом месте газеты, напечатанное торжественно, крупным шрифтом... Затем постарался загрузить: да, мол, и это та самая, которая... Но —

Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно я внимал ей...

Даже и грусти не вышло. Так только, слабая жалость какая-то... А ведь это была та самая, которую «вспомнила душа моя», была моя первая и такая жестокая, многолетняя любовь. Я узнал ее в пору ее наивысшей прелести, невинности и той почти отроческой доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно, потому, может быть, что во всякой женственности должна быть эта доверчивая беспомощность, что-то детское, знак того, что девушка, женщина всегда таит в себе будущее дитя. И ведь это мне первому, в каком-то божественном блаженстве и ужасе, отдала она истинно все, что даровал ей бог, и ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, целые годы. Из-за нее плакал, рвал на себе волосы, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей, в ярости уничтожал свои лучшие, ценнейшие, может быть, работы... Но вот прошло двадцать лет — и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу... Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, — теперь, конечно, — разве вы что-нибудь чувствуете?

— Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно, почти ничего...

Пароход шел; с шипением возникала впереди волна за волной, с плеском пронесилась мимо, по бортам, однообразно шумела и кипела бледно-снежная дорога, тянувшаяся за кормой. Дул сладкий ветер, звездный узор неподвижно стоял в вышине, над черной трубой, над снастями, над тонким острием передней мачты...

— Но знаете что? — внезапно сказал первый, как бы очнувшись.— Знаете, что главное? Это то, что я никак не мог связать ее, умершую, с той другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак. Совершенно никак. Та, другая, была совсем особо. И сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той, другой,— ложь. Так что я неточно говорил. Совсем не то и не так.

Второй подумал.

— Ну и что же? — спросил он.

— А то, что почти весь наш разговор идет на смарку.

— Ох, на смарку ли? — сказал пассажир с прямыми плечами.— Та, другая, как вы выражаетесь, есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько.

— Вы думаете? — Не знаю. Может быть... Да, может быть...

— Да и долго ли вы волновались и самим-то собой? Десять минут. Ну, полчаса. Ну, день, наконец.

— Да, да. Ужасно, но, кажется, вы правы. И где она теперь? Вот там, в этом прелестном небе?

— Один аллах ведает, друг мой. Скорее всего, что нигде.

— Вы думаете? Да, да... Скорее всего, что так...

Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И, затерянный в этой круглой чернеющей равнине, маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно кипящая, бледно-млечная дорога — туда, в даль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт, в силу противоположности с этой млечностью, казался темным, печальным. И крутилась, крутилась бичева лага и печально и таинственно что-то отмечал, отсекал порою тонкий звон: дзи-инь...

Помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу:

— Покойной ночи.

— Покойной ночи.

Приморские Альпы. 1923

ОГНЬ ПОЖИРАЮЩИЙ

Это была высокая красивая женщина с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, здоровая, всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятливы мне ее блестящие ореховые волосы, ее открытый и приветливый взгляд, чистый звук голоса, благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее крупном сложении, и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, отороченная соболем! С каким удовольствием входил я всегда во двор ее старинного особняка в Сен-Жерменском предместье! И вот как-то за чаем, на который она приглашала нас каждую среду, среди оживленного и беспредметного разговора, кто-то почему-то вспомнил старика В., известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, «быть тотчас же после смерти ввергнутым в печь огненную, в огонь пожирающий, без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса». Народу в гостиной было довольно много, и почти все при этом воспоминании возмутились. Неприятный был человек, неприятное остроумие! Дамы зябко содрогнулись в своих мехах, мужчины с усмешкой покачали головами. Хозяин сказал:

— Да, это очень чисто и скоро, эта печь огненная, но все-таки не желал бы я попасть в нее. Уж очень жарко. Мне даже и участь Феникса не кажется завидной.

Все засмеялись, кто-то прибавил:

— Так же, как мне участь тех трех отроков, что в печи огненной пели хвалы господу!

А еще кто-то подхватил:

— Тем более, что вы уже далеко не в отроческом возрасте...

И вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла с неожиданной отчетливостью:

— А я как нельзя более понимаю В., хотя тоже не одобряю острот в его завещании, и пользуюсь случаем заявить при всех здесь присутствующих свою непреклонную посмертную волю, которая, как известно, священна и неоспорима: после моей смерти я тоже должна быть сожжена. Да, сожжена.

И настойчиво повторила, отстраняя попытки перевести разговор опять на шутки:

— Нет, я еще раз и совершенно серьезно говорю, отлично понимая всю неуместность подобных бесед в гостиной: я этого требую, это должно быть исполнено во что бы то ни стало, не взирая ни на какие могущие быть протесты со стороны моих родных и близких.

— Да что с тобой? — сказал хозяин. — Из всей твоей речи мне понравилось только твое замечание насчет странности такой гостиной беседы. Что с тобой?

— Только то, что я воспользовалась случаем, тем, что заговорили об этом, — ответила она. — Сколько уже раз собиралась я завещать это письменно и все как-то забываю, откладывая. А мало ли что может быть? Представь себе, что я нынче внезапно умру, — что тут невероятного?

А ровно через неделю после того именно это и случилось — она умерла перед самым выездом в театр: уже шла по вестибюлю к выходу и вдруг со странной улыбкой схватилась за руку сопровождавшего ее лакея — и тот едва успел поддержать ее. Я узнал эту совершенно дикую по неожиданности новость от знакомого на улице и почему-то с необыкновенной поспешностью пошел домой, простясь с ним. Мне показалось, что тотчас же надо сделать что-то решительное, чем-то резко проявить себя. Но дома моей изобретательности хватило только на то, чтобы торопливо набить трубку, торопливо закурить, сесть в кресло... Была весна, конец марта, Париж празднично сиял, кипел жизнью. У нас в Пасси цвели и зеленели сады. По потолку надо мной топали, бегали дети, кто-то все начинал играть на пианино что-то шутливое, милое. В открытое окно входила весенняя свежесть и глядела верхушка старого черного дерева, широко раскинувшего узор своей мелкой изумрудно-яркой зелени, особенно прелестной в силу противоположности с черной сетью сучьев. Там, за окном, сыпали веселым треском воробьи, поминутно заливалась сладкими трелями какая-то птичка, а наверху топали и играли, и все это сливалось с непрерывным смутным шумом города, с дальним гулом трамваев, с рожками автомобилей, со всем тем, чем так беззаботно при всей своей озабоченности жил весенний Париж... А на другой день, в третьем часу, автомобиль мчал

меня через весь город уже на кладбище Пер-Лашез: волю покойной не решились нарушить, тело ее должны были сжечь.

Едучи, я думал все тоже: какая изумительная случайность! Точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены. И нужно же было кому-то ни с того ни с сего вспомнить этого старого циника! И как представить себе, как поверить в то, что через какой-нибудь час ее случайное и ужасное завещание все-таки осуществится и не останется ровно ничего даже от ее тела? И я не представлял, не верил, я смотрел по сторонам, и меня быстро уносило вперед, навстречу весеннему ветру и солнцу. Но, смотря, все думал: да, вот весенний ветер, а ее уже нет! Вот солнечный блеск и Сена, а она этого уже не видит и не увидит никогда! Вот я с какой-то кощунственно-веселой быстротой мчусь по ее родному и любимому городу и втайне все-таки наслаждаюсь, а она из этого города да и вообще из всего нашего мира уже исчезла! Потом вдруг вспоминал, что там нельзя будет курить, и поспешно закуривал и опять думал свои путанные думы, странно согласованные с быстрым бегом автомобиля и мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа.

И вот этот бег кончился. Предо мной были ворота и стены другого города, поднятого на возвышенность, как бы некая крепость, ярко и мертво глядящая из-за стен целыми полчищами мраморных и железных крестов, мавзолеев, часовен, статуй, ангелов, гениев. Я вышел из машины и вошел в эти роковые ворота. Подъехали мы не с той стороны, с какой было нужно, и мне пришлось пересечь все кладбище из конца в конец, пройти многочисленные проспекты и аллеи, целые бульвары и улицы. Тут мысли мои опять спасительно отвлеклись на некоторое время от ужасной цели моей поездки. Я шел и смотрел: какая музейная чистота в этом городе, какой порядок! И что за день, что за красота! Сколько ослепительной белизны, во всяческих видах сверкающей в небесной сини, среди еще сквозной черноты деревьев, осыпанной изумрудными мушками! Сколько пышных живых цветов на куртинах, у подножия крестов и бюстов, на мраморных и гранитных плитах и у входа склепов! И каким-то особым родом людей кажутся здесь все встречные, все эти мужчины и женщины, то стоящие у могил с поникшими головами, то просто мирно гуляющие. Все сдержанны, все как-то по-иному, чем в будничной жизни, скромны и просты, как-то иначе раскланиваются с знакомыми... Это город великой печали и великого отчаяния,— подумать только, какие миллионы уже легли здесь и еще лягут! Но удивительно,— какая-то благостная, душу умиротворяющая радость все-таки витает здесь надо всем. Радость чего? Весны, неба, пер-

вой зелени, мрамора? Вечной молодости мира, вечно воскресающей жизни? Или же и впрямь той жизни небесной, в которую сердце невольно и наивно верит или жаждет верить здесь?

И вдруг я поднял глаза: на широкой площади, внезапно открывшейся передо мной, высилось нечто вроде храма или, вернее, капища с круглым куполом, две высоких заводских трубы, — именно заводских, голых, кирпичных, — поднимались в небо по сторонам этого купола — и из одной черными клубами валил дым. Уже! Я опоздал, ее уже жгли! Это из той адской подземной печи, куда, верно, уже вдвинули гроб с ее телом, валил этот страшный, молчаливый дым, такой особенный, такой не похожий ни на один дым в мире!

Странно, — меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, спокойная беспощадность, с которой валил дым. И такое же глубокое молчание царило и внутри этого капища. Как окаменелые, сидели мы в его большой полукруглой зале на длинных деревянных скамьях. Народу было мало — у одних не хватало духу присутствовать при таком необычном и жутком обряде, другие были возмущены покойной, может быть, и нечаянно, невольно, но все же дерзко поправшей уставы того общества, к которому она принадлежала по своему древнему и благочестивому роду. На передней скамье сидели муж и несколько самых близких родных — мужчины все в черном и с креповыми цилиндрами на коленях, женщины в глубоком трауре. Мы, просто знакомые, несмело поместились на скамье задней. И спины всех сидящих перед нами были согнуты, как бы подавлены той невыразимой тишиной, в которой длилось наше ожидание ужасных итогов этой ужаснейшей в мире церемонии. Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены. И зачем-то между его сдвинутыми черными полотнищами торчало бутафорское подобие золоченого гроба. А на мраморных колоннах по сторонам этих полотнищ пучили глаза изваянные совы. Кроме траурного занавеса, гроба и сов, ничто иное не обозначало зловещего назначения этой пустой залы с окнами чуть не во всю стену. Помню, — окна справа были сверху донизу залиты солнечным светом. И мертвая тишина, в которой мы сидели и ждали, казалась от этого света еще более гнетущей.

Сколько времени мы сидели? По крайней мере час, которому, казалось, конца не будет. И что это такое было то, где сидели мы? Храм, театр? Нечто вроде присутственного места или какого-то верховного судилища, где совершается что-то самое последнее и самое жестокое над человеком? Какая-то особенно важная научная лаборатория или какой-то адский притон? Мы не знали, что это такое, мы покорно сидели, затаив дыхание, не

решаясь шевельнуться. Бога здесь не было, и существование и символы его здесь отрицались. Совы пучили слепые глаза только с бессмысленным удивлением, траур занавеса говорил только о смерти. А я сидел и мысленно видел этот густой черный дым, медленно валивший из трубы в небо над нами, и в небе мне все-таки грезился Некто безмерный, широко простирающий длани и молчаливо приемлющий и обоняющий жертву, приносимую ему. И так прошло двадцать, тридцать, сорок минут... Зачем-то заглядывал во входную дверь какой-то сутулый старик в траурной ливрее, очень серьезно осматривал нас и опять осторожно притворял дверь... Потом дверь снова распахнулась, и быстро, но тихо вошел щеголеватый молодой человек в траурном галстуке бантиком, быстро, но на цыпочках прошел через залу, легонько вбежал по ступенькам к занавесу и, раздвинув его черные полотнища, скрылся за ними... И опять мы сидели и, не шевелясь, ждали, ждали... Где ее жгли? Там, где-то за занавесом, где-то в глубоком подземелье, где слепила и полыхала с невообразимой силой и яростью истинно геена огненная. Эта геена, этот огонь пожирающий должен действовать с быстротой всесокрушающей. Но почему же все это длится так нестерпимо долго? — И вдруг за занавесом послышались громкие, как бы наконец все разрешающие шаги, занавес раздвинулся — и молодой человек, появившийся на сцене, молча сделал нам широкий пригласительный жест.

Зачем я пошел! А я все-таки пошел. Мгновенно все во мне крепко подтянулось, и я быстро и мужественно встал, прошел между скамьями, поднялся на сцену и, следуя за другими, повернул в дверь налево, в какую-то большую комнату с голыми стенами и без окон, освещенную откуда-то электричеством. В глубине ее был какой-то железный куб с дверцами, теперь широко открытыми. Из внутренней этого куба, — он был бездонный, — тянулись в комнату две рельсы. И по этим рельсам два сторожа в траурных мундирах, два приземистых человека из той отпетой породы, что определяют себя на мрачное и низкое существование при моргах и анатомических театрах, тащили железными крюками как бы крышку стола, прямоугольник из асбеста, насквозь розовый, насквозь светящийся, раскаленный до прозрачности. И те прозрачно-розовые, инде горящие ярко-синим огоньком известковые бугры и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, это и были скудные останки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера жившего всей полнотой и силой жизни. Больше ничего! Чувствуя на лицах и руках палящий зной от этой адской сковороды, мы стояли и тупо глядели. Асбест рдел, змеился лазурными огоньками... Потом стал медленно бледнеть, блекнуть, приобретать светло-песочный цвет... И тогда я среди его неровно-

стей различил то, что осталось от головы, от наиболее крупных костей, от таза... и еще раз весь содрогнулся от грубости и жестокости всего этого дела и, главное, от кошунственного бесстыдства, с которым мне показали что-то такое, чего никому в мире не должно видеть...

А затем все было кончено в пять минут: быстро соскребли железными лопаточками эти неровности, кое-что похватали щипцами, побросали все собранное в мраморный ящичек, замазали его крышку цементом и, положив на небольшие носилки и прикрыв траурным покрывалом, быстро понесли вон. Мы, с опущенными и обнаженными головами, последовали за носилками, видели, как быстро вдвинули ящичек в нишу той высокой стены, которая с трех сторон окружает крематорий, как затем эту нишу замуровали, запечатали... Несчастный муж смотрел на всю эту работу с необыкновенной пристальностью. Потом, резко побледнев и приняв театральнo-торжественный вид, отступил в сторону для приема того последнего рукопожатия, которое он, по французскому обычаю, должен был принять поочередно ото всех своих друзей. И, быстро и молча исполнив этот обычай, мы тотчас же почти разбежались в разные стороны, разлетелись по разным направлениям в вечеряющий, залитый уже зеленовато-золотистым солнцем океан Парижа...

Мой шофер, человек грузный и короткорукый, был пьян, его лицо было густо налито лиловой кровью. И теперь он мчался уже совсем бешено, и его автомобиль поминутно ревел на бегу с какой-то свирепой наглостью и угрозой.

Приморские Альпы. 1.10.23

МИТИНА ЛЮБОВЬ

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

— Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

— Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто

помешались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

— Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? — спросила Катя.

— Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, — ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. — Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

— Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, — сказала Катя. — Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, — сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, — может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? — негромко и настойчиво спросила она, уже с деланной обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:

Меж нами дремлющая тайна,
Душа душе дала кольцо...

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, — Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это, как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрябина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

— Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то еще ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама — ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто попрежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом, — когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, — морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) омущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая — подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой. И все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так

Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали — то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее: внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: «ты гордость моей школы» — он всем своим ученицам говорил ты,— и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней постом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходиться в голову, что теперь директор имеет виды на Катю, которая, хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

— Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. И из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

— А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

— Нет, мама,— сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова,— ревность это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят,— сказала она, нарочно не глядя на Митю.

— А по-моему,— возразила мать,— ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь,

в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противостественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось,— все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и прежде всего именно ее, а не воображаемого соперника.

III

В день экзамена Кати, который состоялся наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правда Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пушей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

— Поменьше читки,— говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью.— Не играй, а переживай,— говорил он отдельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслили своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая

была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. — «Девушка пела в церковном хоре», — с деланной, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, — как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, — и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила:

— Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала-то так хорошо только для тебя одного!

Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

— Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?

Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности.

— Ты любишь только мое тело, а не душу! — горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при всей их вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно-неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще — любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душой потрясающей покорностью, бесстыдностью чистой невинности?

IV

Она все больше менялась.

Успех на экзамене много значил. И все-таки были на то и какие-то другие причины.

Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала,— теперь она не приходила, а всегда приезжала,— когда она, шурша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидания, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе.

— Понимаешь, франтим напропалую! — говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома,— опять надо к кому-то с мамой! — она неизменно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его «глупые», как она выражалась, мучения: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шопотом:

— Ну, целуй же меня!

V

И в конце апреля Митя, наконец, решил дать себе отдых и уехать в деревню.

Он совершенно замучал и себя, и Катю, и мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее: что в самом деле случилось, в чем виновата Катя? И однажды Катя, с твердостью отчаяния, сказала ему:

— Да, уезжай, уезжай, я больше не в силах! Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неожиданно вернулось все прежнее. Ведь он все-таки страстно не хотел верить ничему тому ужасному, что ни днем, ни ночью не дава-

ло ему покоя. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. А Катя опять стала нежна и страстна уже без всякого притворства,— он чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых натур,— и опять стал он сидеть у нее до двух часов ночи, и опять было о чем говорить, и чем ближе становился отъезд, тем все нелепее казалась разлука, надобность «выяснить отношения». Раз Катя даже заплакала,— а она никогда не плакала,— и эти слезы вдруг сделали ее страшно родною ему, пронзили его чувством острой жалости и как будто какой-то вины перед ней.

Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре, Митя тоже должен был приехать в Мисхор.

И он собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве в том странном опьянении, которое бывает, когда человек еще бодро держится на ногах, но уже болен какой-то тяжелой болезнью. Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати, ее заботливостью к нему,— она даже ходила с ним покупать дорожные ремни, точно она была его невеста или жена,— и вообще возвратом почти всего того, что напоминало первое время их любви. И так же воспринимал он и все окружающее,— дома, улицы, идущих и едущих по ним, погоду, все время по-весеннему хмурившуюся, запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится (хотя он и не знал, что именно все).

В день отъезда зашел проститься Протасов. Среди гимназистов старших классов, среди студентов нередко встречаются юноши, усвоившие себе манеру держаться с добродушно-угрюмой насмешливостью, с видом человека, который старше, опытнее всех на свете. Таков был и Протасов, один из ближайших приятелей Мити, единственный настоящий друг его, знавший, несмотря на всю скрытность, молчаливость Мити, все тайны его любви. Он глядел, как Митя завязывал чемодан, видел, как тряслись его руки, потом с грустной мудростью ухмыльнулся и сказал:

— Чистые вы дети, прости господи! А за всем тем, любезный мой Вертер из Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнейшее женское естество, и что сам полицеймейстер ничего с этим не подделает. Ты, естество мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстинкта продолжения рода, и, конечно, все сие совершенно законно, даже в некотором смысле священо.

Тело твое есть высший разум, как справедливо заметил герр Ницше. Но законно и то, что ты на этом священном пути можешь сломать себе шею. Есть же особи в мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собственного существования за свой первый и последний любовный акт. Но так как для тебя этот штат, вероятно, не совсем уж обязателен, то смотри в оба, поберегай себя. Вообще, не спеши. «Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!» Свет не лыком шит, не клином на Кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен, что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошенный совет — и да хранит тебя Никола угодник со всеми присными его!

А когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел, Митя, затягивая в ремни подушку и одеяло, услышал в свое открытое во двор окно, как загремел, пробуя голос, студент, живший напротив, учившийся пению и упражнявшийся с утра до вечера, — запел «Азру». Тогда Митя заспешил с ремнями, застегнул их как попало, схватил картуз и пошел на Кисловку, — проститься с матерью Кати. Мотив и слова песни, которую запел студент, так настойчиво звучали и повторялись в нем, что он не видел ни улиц, ни встречных, шел еще пьянее, чем ходил все последние дни. В самом деле было похоже на то, что свет клином сошелся, что юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться! Ну, что ж, сошелся так сошелся, думал он и опять возвращался к песне о том, как, гуляя по саду и «красой своей сияя», встречала дочь султана в саду черного невольника, который стоял у фонтана «бледнее смерти», как однажды спросила она его, кто он и откуда, и как ответил он ей, начав зловеще, но смиренно, с угрюмой простотой:

Зовусь Магометом я...—

и кончив восторженно-трагическим воплем:

— Я из рода бедных Азров,
Полюбив, мы умираем!

Катя одевалась, чтобы ехать на вокзал провожать его, ласково крикнула ему из своей комнаты, — из комнаты, где он провел столько незабвенных часов! — что она придет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно посмотрела на него, — она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась. Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную и дряблую руку, по-сыновьи склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила:

— Эх, милый,— с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова,— живите-ка смеясь! Ну, Христос с вами, поезжайте, поезжайте...

VI

Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кривую извозчичью пролетку при помощи коридорного, он наконец неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде,— кончен (и навсегда) известный срок жизни! — и вместе с тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конец, прощай Москва и все, что пережито в ней! Накрапывало, хмурилось, в переулках было пусто, булыжник был темен и блестел, как железный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью и то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона, а все же была весна, весенний запах воздуха. Но вот наконец доехали, и Митя бегом кинулся за носильщиком по людному вокзалу на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков, с грохотом и предупреждающими покрякиваниями кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидал то, что, «красой своей сияя», одиноко стояло вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок,— на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его, она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты:

— Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!

А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьего-классного вагона, уже битком набитого и вонючего. Все в ней было прелестно,— ее милое, хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью, ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность, и даже ее темно-серый костюм, в котором Митя с обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки. Он стоял худой, нескладный, на дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. И все-таки Катя смотрела на него непритворно любящим и грустным взглядом. Третий

звонок так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона как безумный и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад, в вагон, сквозь слезы замахал ей карточкой с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла все быстрее, ветер все сильнее трепал волосы высунувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей,— и вдруг точно сорвало и ее и конец платформы...

VII

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле,— в полях весна была еще ранняя,— шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя в фонари свечи, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшийся на его губах, все еще весь пылал острым огнем последнего мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет,— есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки — разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях — все любовь, все душа и все мука и все несказанная радость.

Утром был Орел, пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридцатое царство, центром которого была Катя, теперь такая как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно! Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевой дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее... Поезд из Орла шел не спеша, Митя не спеша ел тульский печатный пряник, сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и умотал, усыпил его.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять

задремал,— глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотанье поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле, а вдаль уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора,— особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу,— и поезд со стуком стал переходить на другой путь... Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, ждущий барчука на платформе!

Сумерки и тучи все сгущались, пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие,— с Благовещенья добрые люди не вздувают огня,— и как хорошо в этом темном и теплом степном мире! Тарантас нырял по ухабам, по грязи, дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из древности мужик: босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах... И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно — Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки...

VIII

В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готово к новому расцвету.

Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни,— жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница гимна-

зистка, и брат Костя, подросток кадет, были еще в Орле, учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик,— староста, как называли его на дворе,— часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты,— она была окнами в сад, на восток,— и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балконе, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеющим, как бы далеким, отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки:

— Идите кушайте чай, мамаша еще до свету уехали на станцию со старостой, вы небось и не слышали...

И тотчас же Катя властно напомнила о себе: Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра.

И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее, по мере того как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту, обыкновенную, Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.

IX

Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде, а главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего втайне ждало все его существо с детства, с отрочества.

Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в нём нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть, тоже весной, в саду, возле кустов сирени,— запомнился острый запах шпанских мух — он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной,— вероятно, с своей нянькой,— и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом,— не то лицо ее, не то сарафан на полной груди,— и что-то горячей волной прошло, взыграло в нём, истинно как дитя во чреве матери... Но то было как во сне. Как во сне было и все, что было потом,— в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его детские праздники, тайное жадное любопытство к каждому движению этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было (это уже позднее, в губернском городе) длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерам на дереве за забором соседнего сада: ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик — все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера, грустил, порою даже плакал, неутолимо что-то желая от нее. Потом и это как-то само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие,— и опять-таки сокровенные,— восхищения, были острые радости и горести внезапной влюбленности на гимназических балах... были какие-то томления в теле, в сердце же смутные предчувствия, ожидания чего-то...

Он родился и вырос в деревне, но гимназистом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда он, приехав в деревню на масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел: вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи... вот послеобеденный час на другой день: солнце за домом, с другой его стороны, а в окне уже до голубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев... а вот, еще через день, в облачном небе такие яркие прогалины и на коре деревьев такой мокрый блеск и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не нагладишься... После пошли теплые туманы, дожди, снег распустило и съело в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обна-

жаться и в саду и на дворе земля... И надолго запомнился Мите один день в конце марта, когда он в первый раз поехал верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светило в бледных, в бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дики и рыжи, а там, где пахали,— уже пахали под овес,— маслянисто, с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жнивьям и взметам к лесу и издалека видел его в чистом воздухе,— голый, маленький, видный из конца в конец,— потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, палеовой, местами мокрой, коричневой, переехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смугло-золотые вальдшнепы... Чем была для него вся эта весна и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, одолевавшая насыщенные влагой жнивья и черные пашни, так шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок в мире. Но каким далеким казалось ему это время теперь! Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный, простосердечный, бедный своими скромными печальми, радостями и мечтаниями! Сном или скорее воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая.

Х

Только раз в это первое время напомнила о себе Катя зловеще.

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырým полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдаль что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно,— то, что так неожиданно и страшно огласило сад? Сыч, лесной пугач, совершающий свою любовь, и больше ничего, думал он, а весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину

душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллей, затрещало, зашумело — и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением, стал взвизгивать и закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истонным воплем, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождав возобновления этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой — и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.

Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале... Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда... Потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, — и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллей, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых сладко заливающихся птиц — и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не попрежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, — все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна

стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался — или мнился — в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Такое же наваждение, — только совсем другого порядка, — испытывал Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преобразен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, — дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.

XI

Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой: еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они только ранней весной, орала грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду, и еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью... Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, прозрачен, — только зеленели поляны, все испешренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллеи и бледно белел, мелко цвел один вишеник в ложине, в южной, нижней части сада... Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшие полевые дороги... И все это была нагота молодости, поры ожидания — и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки поденщицы, делающие то то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой (рослым, грубым отставным солдатом) в поле на беговых дрожках...

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна поте-

ряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахло серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевиной листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, — участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.

XII

И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу — уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей, — и ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, — так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» — читал и перечитывал он — и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: — над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов — и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам...

Домой он шел медленно — чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.

Сад разнообразно одевался.

Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, — оделся свежей, густой зеленью.

Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядой.

А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого благоуханного сливочного цвета.

И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллей, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лошине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, — кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, — все поражало своей густотой, свежестью и новизной.

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей — по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкапами из ясени вдоль стен. И везде в комнате празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.

Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку... Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла, — он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкапах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, — о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он

по целым часам неподвижно сидел в кресле возле раскрытого шкапа и мучил себя, читая и перечитывая:

Люди спят, мой друг, пойдем в тенистый сад!
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят...

Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными, обращены были теперь как будто только к одной, к той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно:

Над зеркальными водами
Машут лебеди крылами —
И колышется река:
О приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут
И находят облака...

Он, закрывая глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом, — и горько качал головой. Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в чужом и далеком московском мире! — И опять отливала от сердца нежность — опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклинающее:

— О приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут
И находят облака...

XIV

Однажды, подремав после обеда, — обедали в полдень, — Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними, — это уже входило в привычку.

День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллей и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши, и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее и слаще. И все душистое тепло этого весеннего рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей,

зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая, по-дневному, то там, то здесь цокал то один, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со середины аллеи на них, — нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала.

— Ой, хозяин идет! — закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате.

Другая девка, Глашка, сделала, напротив, вид, что совсем не замечает Митю, и, не спеша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкую чуну из черного войлока, за которую набилась белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом: «Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь!» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, с деланной развязностью и веселостью спросила:

— Ай только встали? Смотрите, дела не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила что попало, всегда однако намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил и уходил, не простая. Она подозревала, что Митя живет с Парашей или, по крайней мере, домогается этого, она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко, глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Мите странное удовольствие. Письма не было и не было, он теперь не жил, а только изо дня на день существовал в непрерывном ожидании, все более томясь этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны: ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит, отчасти близка ему, что делало ее как бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась

его тайны: «Смотрите, дела не проспите!» Он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаша ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепно синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь светлая от солнца, всюду проникавшего ее, составляла по всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожки, на поляны; жаркий и душистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым, сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя, против воли улыбаясь, спросил Соньку:

— Какое же дело я могу prospать? То-то и горе, что у меня и дел-то никаких негу.

— Молчите уж, не божитесь, и так поверю! — крикнула Сонька в ответ весело и грубо, опять своим недоверием к отсуствию у Мити любовных дел доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего, с белой курчавой шерстью на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади и стал жевать оборку ее ситцевого платья:

— Ах, омок тебя возьми! Вот еще сыночка бог послал!

— Правда, говорят, за тебя сватаются? — сказал Митя, не зная, что сказать, а желая продолжать разговор.— Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься...

— Богат, да дурковат, в голове рано смеркается,— бойко ответила Сонька, несколько польщенная.— У меня, может, об другом об ком думки идут...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

— Уж и несешь ты, девка, и с Дону, и с моря! — не громко сказала она.— Ты тут брешешь что попало, а по селу слава пойдет...

— Молчи, не кудахтай! — крикнула Сонька.— Авось я не ворона, есть оборона!

— А о ком же это о другом у тебя думки идут? — спросил Митя.

— Так и призналась! — сказала Сонька.— Вон в вашего деда пастуха влюбилась. Увижу, так до пят горячо! Я, не хуже вашего, все на старых лошадях езжу,— сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилетнюю Парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно бросив лопату, со смелостью, на которую она как будто имела некоторое право вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых грубых полусапожках и в шерстяных пегих чулках и беспомощно уронила руки.

— Ох, ничего не делала, а уморилась! — крикнула она, смеясь.— Сапоги мои худые,— пронзительно запела она,—

Сапоги мои худые,
Носки лаковые —

и опять закричала, смеясь:

— Пойдемте со мной в салаш отдыхать, я на все согласная!

Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее — он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни:

Вижу, роза,— счастья сила
Яркий свиток свой раскрыла
И увлажила росой —
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной...

— Не трожьте меня! — закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и отбросить его голову.— А то так закричу, все волки в лесу завоют! У меня ничего для вас нету, горело, да потухло!

Митя закрыл глаза и молчал. Солнце, дробясь через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы,— «чисто у лошади!» — крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги,— самое страшное в мире, женские ноги! — касался им ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей; томное цоканье соловьев вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потом гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» — и так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка, а желание Кати и желание, требование, чтобы она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье, охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.

Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной явственностью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится, и что он погиб, пропал!

В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. «Она права,— подумал он,— глаза у меня, если и не византийские, то во всяком случае сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?»

Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся:

— Верно, влюбились, все в зеркало смотрите,— с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон.

— Вас мама искала,— прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол, и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Все знают, все догадываются!» — подумал Митя и через силу спросил:

— А где она?

— У себя в комнате.

Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты бересклета под ними блестели тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, сиял скатертью. Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не менее других понимает его положение, и чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжелых тайн на душе, Митя пошел из зала в коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя. В коридоре было сумрачно, в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами, на запущенном цветнике перед входом в главную аллею, лежала широкая тень, за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад. Не глядя на весь этот давно привычный вид, опустив глаза в очках на вязане, Ольга Петровна, крупная и сухошавая, черная и серьезная сорокалетняя женщина, сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крючком.

— Ты спрашивала меня, мама? — сказал Митя, входя и останавливаясь у порога.

— Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя, — ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно, не в меру спокойно.

Митя вспомнил, как девятого марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнил тайное очаровательное значение, которое, несомненно, было в ее словах... Он неловко пробормотал:

— Но ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?

— Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то заскучал последние дни, — сказала Ольга Петровна. — Может, проехался бы куда-нибудь... к Мещерским, например... Полон дом невест, — прибавила она, улыбаясь, — и вообще, по-моему, очень милая и радушная семья.

— Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу, — с трудом ответил Митя. — Но пойдем чай пить, там так хорошо на балконе... Там и поговорим, — сказал он, отлично зная, что мама, по своему пронизательному уму и по своей сдержанности, не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.

На балконе они просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте, — у Ани опять передержка в августе! Митя слушал, порою отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы, — что опять он как будто пьян от какой-то тяжелой болезни.

А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат, слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над ней; на этой синеве картинно рисовались зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду. А он шагал и шагал, уже совсем не заботясь о том, как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли в голове.

XVI

С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему. Катя стала уже истинным наваждением; Катя была теперь во всем и за

всем уже до нелепости, а так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити, уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти, отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему; Мите, то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно.

По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо, тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости песен, в их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная луна низко стояла над садом, и неизменно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз, как он открывал глаза и взглядывал на луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый: — «Катя!» — и с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, напомнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным! А порою он просто ничего не видел: желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил бога — и, увы, всегда напрасно! — увидеть ее вместе с собой, вот на этой постели, хоть во сне. Однажды зимой он был с ней в Большом театре на «Фаусте» с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющиеся далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные: «Жил, был в Фуле добрый король...» Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.

А днем он спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие. Перепадали дожди, пробежали грозы и ливни, и опять сияло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спешную работу в садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато

продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зеленые недра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей — их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов. И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях.

Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную.

Раз, перед вечером, он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоящую в старом парке, который сливался с окружающим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно-мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом, — только одни соловьи гремели из конца в конец парка, — так сладко пахло и елями и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом, и такое великое — чье-то чужое, давнее — счастье почувствовалось Мите во всем этом и так страшно явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе, среди кустов жасмина, Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух, на всю аллею:

— Если через неделю письма не будет, — застрелюсь!

XVII

На другой день он встал очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые печатью, и тупо думал:

— Ехать или нет на почту?

Было жарко, белые бабочки парами вились друг за другом над горячей травой, над стеклянно блестящим бересклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя:

— Ехать, или разом оборвать эти постыдные поездки?

Из-под горы, в воротах, показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал:

— Доброго утра! Все читаете?

И усмехнулся, оглянулся кругом.

— Мамаша спят? — спросил он негромко.

— Думаю, что спит, — ответил Митя. — А что?

Староста помолчал и вдруг серьезно сказал:

— Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живете? Ай мало баб, девок?

Митя не отозвался и опустил глаза на книгу.

— Ты где был? — спросил он, не глядя.

— Был на почте, — сказал староста. — И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.

— Почему же «конечно»?

— Потому, что, значит, еще пишут, не дописали, — ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. — Пожалуйте получить, — сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.

— Застрелюсь! — подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.

XVIII

Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там — Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы — и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, сплящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья...

Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непосильно — то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного.

Вот он просыпался утром, и первое, что ударяло ему в гла-

за, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви — там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор — и где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?

В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услышал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-то тройку, — в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: Катя! Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки — с цветом ее вуали... А когда он, при заходящем солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный белый запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечеряющей тени, он вдруг увидел Катю, сходящую, во всем

расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно утратил он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, — в этот же вечер ее преобразование достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.

XIX

И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унижительные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, — с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание, — и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих «более счастливых соперников» от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадется, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без усталости твердить себе: все равно, пусть будет что будет!

И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди, — он правил, — а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то на прыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть цыгарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал:

— Вот вы тогда, барчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянках, да ведь она не уйдет, на все время надо знать.

Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой:

— Да никого что-то нету на примете...

— Как так? — сказал староста. — Сколько баб, девок!

— Девки только манят, — ответил Митя, стараясь говорить в тон старосте. — На девок надежда плохая.

— Не манят, а обращения вы не знаете, — сказал староста уже наставительно. — И опять же скупитесь. А сухая ложка рот дерет.

— Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное, — ответил вдруг Митя бесстыдно.

— А не станете, все и будет в лучшем виде, — сказал староста, закуривая, и продолжал как бы несколько обиженно:— Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствия вам сделать. Гляну, гляну: скучает барчук! Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слышал. Другим, к примеру, что барская скотина? Сыта — хорошо, нет — чорт с ней. А у меня того нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам говорю: мне как хотите, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже стал думать, что староста выпивши, но староста вдруг бросил обиженно-задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо:

— Да вот чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молоденькая, муж на шахтах... Только и ей, конечно, надо какой-нибудь пустяк сунуть. Ну, истратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощенье, два — на руки. Ну, мне на табачишко сколько-нибудь...

— За этим дело не станет, — ответил Митя, опять против воли. — Только про какую Аленку ты говоришь?

— Понятно, про лесникову, — сказал староста. — Да ай вы ее не знаете? Невестка нового лесника. Вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели... Я тогда прямо же подумал: вот бы нашему барчуку в самый раз! Всего второй год замужем, ходит чисто...

— Ну и что же, — ответил Митя, усмехаясь, — ну вот и устрой.

— Тогда я, значит, буду стараться, — сказал староста, берясь за вожжи.— Я, значит, на днях попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду оправлять будет, вот вы и приходите в сад... А книжка эта никогда не уйдет, авось еще в Москве начитается...

И тронул лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали. Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то дико неожиданное, нелепое и вместе с тем такое, отчего по всему телу проходило знобящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечернем солнце с детства знакомая колокольня.

Девки за худобу звали Митю борзым, он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода, — курчавится только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странно и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо.

В одиннадцатом часу он медленно, стараясь придать себе немного скупающий, от нечего делать гуляющий вид, пошел в сад.

Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, под крышами каретного сарая и скотного двора и над той частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, в воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом, с юго-востока, дуло слабым горячим ветром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки.

Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным, приятно-вонючим навозом, который работники от время до времени подвозили со скотного двора через аллею, — аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девок было штук шесть. Соньки уже не было, — ее таки просватали, и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще жиденьких девчонок, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая как будто еще суровее и мужественнее, — и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его, как молния, поразило неожиданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было, — или только почудилось ему, — в Аленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел. Потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее глаз.

Она была тоже невелика, подвижна. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой (белой с красными крапинками) ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом, в такой же юбке, в розовом шелковом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых (или, вернее, во всей ее маленькой легкой ноге) было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешан-

ное с чем-то детским. И головка у нее была невелика и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих, стояла на валу, поставив правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке с рваной подкладкой и курил. Митя подошел — он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке.

— Садитесь, Митрий Палыч, закурьте, — сказал он дружески и небрежно.

Митя бегло, исподтишка глянул на Аленку, — очень хорошо освещал ее лицо ее розовый платочек, — сел и, опустив глаза, стал закуривать (он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурил). Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены.

— Ну, да тебя не перебрешешь, — сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы в виду его надоевшей бесполезности. — Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хотят слово сказать.

Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места.

— Иди, говорю, дура! — сказал староста.

И, подумав мгновенье, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила:

— А правда вы, барчук, с бабами не живёте? Как дьячок какой?

— А ты почем знаешь, что не живут? — спросил староста.

— Да уж знаю, — сказала Аленка. — Слышала. Нет, они не могут. У них в Москве есть, — вдруг заиграв глазами, сказала она.

— Подходящих для них нету, вот и не живут, — ответил староста. — Много ты понимаешь в их деле!

— Как нету? — сказала Аленка, смеясь. — Сколько баб, девок! Вон Анютка, — чего лучше? Анютк, поди сюда, дело есть! — крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая в спине, короткоорукая, обернулась,— лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная,— что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пище.

— Говорят тебе, поди! — еще звончей повторила Аленка.

— Нечего мне ходить, не заучена я этим делам, — пропела Анютка радостно.

— Нам Анютка не нужна, нам надо почище, поблагороднее, — наставительно сказал староста. — Мы сами знаем, кого нам надо.

И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела.

— Нет, нет, нет, — ответила она, скрывая смущение улыбкой,— лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку,— Настьку, она тоже чисто ходит, в городе жила...

— Ну будет, молчи, — неожиданно грубо сказал староста.— Занимайся своим делом, побрехала и будет. Меня и так барыня ругают, говорят, они у тебя только ахальничают...

Аленка вскочила — и опять с необыкновенной легкостью — взялась за вилы. Но работник, сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: «завтракать!» — и, задергав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком.

— Завтракать, завтракать! — на разные голоса закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками и сбегаясь под ельник к своим узелкам.

Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

— Ну, завтракать, так завтракать...

Девки, пестрея под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к Анютке, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, с силой оттолкнула ее (Аленка, давясь смехом, повалилась головой к себе на колени) и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом:

— Дура! Чего гогочешь без дела? Какая радость?

— Пойдемте от греха, Митрий Палыч, — сказал староста, — ишь, их черти разбирают!

На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.

Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.

Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. «Мама уж ушли,—ласково упрекнула его Параша, — а вы как татарин какой...»

В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном, налево. Митя пошел через сад.

Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестящее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевиные черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнородных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.

— В самом деле, поеду к Мещерским, — подумал вдруг Митя.

Но тут он поднял глаза — и в двадцати шагах от себя увидел как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья.

Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо.

XXII

Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму — Аня и Костя извещали, что будут завтра, вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.

После обеда он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, закрыв глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух. Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо: согласна ли она, и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь терять?

— Барчук! — раздался вдруг негромкий голос возле балкона. — Барчук, вы спите?

Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубаше, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное.

— Барчук, едемте скорей в лес, — зашептал он. — Я барыне сказал, что мне нужно повидаться с Трифоном насчет пчел. Едемте скорей, пока они почивают, а то ну-ка проснутся и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите скорей, я уж запрег...

Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий жеребчик.

XXIII

Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту остановились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая что делать Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул ей что-то и с хмельным, бессмысленным и злым удальством крепко передернул вожжами, хлестнул ими по крупу жеребчика. Жеребчик еще надал.

Митя, сидя и подскакивая, держался изо всех сил. В затылок ему приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром,

пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...

Через четверть часа были уже в лесу и все так же быстро, стучаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Мигтю поразил горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.

Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.

В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь, — утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сели и стали закуривать.

— А где ж Трифон? — спросил староста.

— Отдыхает в клети, — сказала Федосья, — я сейчас пойду его поклечу.

— Идет дело! — шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.

Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко, — казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: «Что я делаю? Я с ума схожу!» Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосья. Но вместе с тем была и другая мысль: «А где же она спит? Вот на этих нарах или в клети?» Конечно, в клети, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клети без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной шопот, а она спит...

Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона придти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию, — и немедленно вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье, — она с удовольствием вытянула чашку до доньшка, — и наконец налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.

Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжело отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта — рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, — Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.

— Сейчас, сейчас, успеется! — хмуро и нагло отозвался староста. — Мне еще надо вам словечко по секрету сказать.

— Ну вот дорогой и скажешь, — сказал сдержанно, но еще строже Митя. — Едем.

Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:

— А я вам говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мне на минутку...

И, тяжело поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы.

Митя вышел за ним.

— Ну, в чем дело?

— Молчите! — таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

— Об чем молчать?

— Молчите!

— Я тебя не понимаю.

— Молчите! Наша будет! Верное слово!

Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?

В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червоинное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.

— Ау! — протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами. — Ау!

Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес спускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глядела на него удивленными глазами.

— Что ты тут делаешь? — спросил Митя негромко.

— Маруську нашу с коровой ищут. А что? — ответила она тоже негромко.

— Что ж, придешь, что ли?

— Что ж мне даром ходить? — сказала она.

— Кто ж тебе сказал, что даром? — спросил Митя уже почти шопотом. — Об этом не беспокойся.

— А когда? — спросила Аленка.

— Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

— Я завтра пойду к матери овцу стричь, — сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей. — Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хотите, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите, — даром я не согласна... Это вам не Москва, — сказала она, засмеявшись глазами глядя на него снизу, — там, говорят, бабы сами плотят...

XXV

Возвращались безобразно.

Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не усакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те

дальние, мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло одно: завтра вечером!

Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся, — приедут, побегут вечером в сад, могут побежать к шалашу, в лощину... Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...

— Ты поедешь встречать? — спросила Ольга Петровна.

Он почувствовал, что бледнеет.

— Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...

— Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...

— Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас по крайней мере не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрела на него.

— Ты здоров?

— Совершенно, — сказал Митя почти грубо. — Я только спать очень хочу...

И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.

Ночью он услышал отдаленную, медлительную музыку и увидел себя висящим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистой, все ярче, все многолюднее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней: «Жил, был в Фуле добрый король»... Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул.

XXVI

День казался бесконечным.

Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный, летний, атласный шум солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей старинной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уж бесконечно далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катинной, что он повернулся

и быстро пошел назад. «К чорту! — подумал он с раздражением. — К чорту весь этот поэтический трагизм любви!»

Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но попрежнему он ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Алёнке, весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе, — уже запрягали тарантас на станцию, — все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая, даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» — послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса... «Ах, да когда же все это кончится!» — пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покотившегося под гору экипажа, стали глохнуть...

Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В зале было пусто и светло от ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет растворенных молчаливых комнат — в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом заглянул в лакейскую, нет ли там Параша. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз, пробежал назад, в свою комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и сирени.

XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же показалось, что он еще никогда в жизни, — за исключением, может быть, раннего детства, — не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все пахло — кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльник, цветы, трава, земля...

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: «а вдруг она обманет, не придет?» — теперь казалось, что вся жизнь за-

висит от того, придет или не придет Аленка, — уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в лощину, но не к шалашу, — к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь, то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.

Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет. Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно — как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце однако билось страшно. А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно — его биение. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло — и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу — и увидал, что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение — и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканной шерсти, и он увидал ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку. Под рубахой стояли ее девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава — округлые руки. И все в ней, от небольшой головки, покрытой желтым платочком, и до маленьких босых ног, женских и вместе с тем детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до сих пор только наряженной, впервые

увидавший ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнул.

— Ну, скорее что ли, — весело и воровски прошептала она и, оглянувшись, нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.

Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук, поспешил залузить руку в карман — ноги его были напряжены, тверды, как железо, — и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял ее за шею, не зная, что делать, — надо ли целовать или нет. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, — все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно смеясь, она поймала ее и потянула вниз.

— Никак нельзя, — сказала она не то в шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цепко держала ее своей маленькой рукой, глаза ее смотрели в треугольную раму шалаша на ветви яблонь, на уже потемневшее синее небо за этими ветвями и неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую в нем. Что выражали эти глаза? Что надо было делать? Поцеловать в шею, в губы? Вдруг она поспешно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

— Ну, скорей что ли...

Когда они поднялись, — Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованием, — она, перекрывая платок, поправляя волосы, спросила оживленным шопотом, — уже как близкий человек, как любовница:

— Вы, говорят, в Субботино ездили. Там поп дешево пороят продает. Правда ай нет? Вы не слышали?

XXVIII

На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра.

Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно.

И весь день Митя без усталости ходил по саду и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.

Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать, потом чай пить — он не откликался.

Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетающий от времени до времени ветер свергал с деревьев еще и другой ливень — целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания. Его белый картуз обвис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был страшен.

Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллея, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш, натываясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в лощину, лежал на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно-бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив ногу на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером, — привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней, — и опять, в сто первый раз, жадно пожирает его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решила, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете, с кем... Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, — это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты — это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал: бесполезно! Все кончено и кончено навеки!

Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесyтеренной силой и с неожиданными ударами грома, погнав его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не попадая зуб на зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из-под деревьев и,

убедившись, что его никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял раму, — рама была старинная, с подъемной половиной, — и, вскочив в комнату, запер дверь на ключ и бросился на кровать.

И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду, — и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный, — в саду один, возле дома, под непрерывное журчание и плеск желобов, ливших воду в лужи, — другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то другое предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие чего-то.

Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемера, но вместе с тем уже шел по какому-то чужому дому след за уходившей от него молодой нянькой, и его охватывал необъяснимый, все растущий ужас, смешанный однако с вождением, с предчувствием близости кого-то с кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в которой он и сам как-то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел заглянуть ей в лицо, — не Аленка ли это, — но неожиданно очутился в сумрачной гимназической класной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть, — он вдруг стал невидим. Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в туфельках на высоких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что сейчас будет. Она уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув косу через плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отражалось ее припудренное личико, обнаженные плечи и млечно-голубые, с розовыми сосками, маленькие груди. Дверь распахнулась — и, бодро и жутко оглядываясь, вошел господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, с черными и короткими курчавыми волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на плечо, подняла голые руки... Он снисходительно обнял ее за талию — и она охватила его шею, показывая свои темные подмышки, прильнула к нему, спрятала лицо на его груди...

И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от озноба. Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее равнодушием, беспощадностью к нему...

— Катя! — сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. — Катя, что же это такое! — сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. — Ах, все равно, Катя, — прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она попрежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, — спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но прошептал: «Ах, все равно, Катя!» — он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.

Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.

Приморские Альпы. 14.9.1924

СКАРАБЕИ

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал: «Еще один великий царь...»

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло — священный аромат мумий, как бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившие по звонким коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников.

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и сухое благовоние, древнее, священное! Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его!

А рядом — скарабей Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабей, — триста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпантина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариетт собрал их — и выставил на удивление всему человечеству:

— Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет.

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге — игрушечная коллекция камешков! И камешки эти — символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться?

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том вовеки неистребимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, — с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет — не пройдет только эта вера!

10.5.24

СОСЕД

Одна из вечерних прогулок...

Ясный апрельский закат, еще не набитый серый проселок, весенняя нагота полей, впереди еще голый зеленоватый лес. Еду на него, спокойно и распушенно сидя в седле.

От перекрестка беру к лесу целиком, по широкой меже, по грани среди жнивья. Она вся зеленая, но еще по-весеннему мягкая,— чувствуется, как вдавливается в нее копыто. А возле леса, на жнивье под опушкой, еще тянется длинный островок нечистого и затвердевшего снега. И ярко-голубые подснежники,— самый прелестный, самый милый в мире цветок,— пробиваются из коричневой, внизу гниющей, влажной, а сверху сухой листвы, густо покрывающей опушку. Листва шумно шуршит под копытами, когда я въезжаю в лес, и нет ничего радостнее этого напоминания о прошлой осени в соединении с чувством весны.

Шуршит и лесная дорога,— она тоже вся под листвой,— и далеко слышно это шуршанье по лесу, еще сквозному, раскрытому, а все-таки уже не зимнему. Лес молчит, но это молчание не прежнее, а живое, ждущее. Солнце село, но вечер светлый, долгий. И Тамара чувствует всю эту весеннюю красоту не меньше меня,— она идет особенно легко, подняв шею и глядя вперед, в далеко видную и еще просторную сероватую чашу стволов, идущих нам навстречу, выглядывающих друг из-за друга. Внезапно, как кол, свалилась со старой осины мохнатая совка, плавно метнулась и с размаху села на березовый пень,— просыпаясь, дернула ушастой головкой и уже зрячим оком глянула кругом: здравствуй, мол, лес, здравствуй, вечер, даже и я теперь не та, что прежде, готова к весне и любви! И как бы одобряя ее, на весь лес раскатился где-то близко торжествующим цоканьем и треском соловей. А под старыми березами,

сквозящими своей кружевной наготой на сероватом, но легком и глубоко вечернем небе, уже торчат тугие и острые глянцеви́то-темнозеленые трубки ландышей.

Переезжая низы, смотрю вбок, вдоль оврага, густо заросшего грифельным безлиственным осинником,— там за лесом нежно, слабо разлился погожий закат. По дну оврага, среди темной чащи, среди подседа орешников, падает с уступа на уступ, журчит и холодно булькает еще не иссякший паводок. Самый вальдшнепиный притон этот овраг! Потом, все так же шумно нарушая весеннюю тишину леса шуршанием копыт в листве, поднимаюсь по лесной дороге в гору, по глубоким глинистым колеям, промытым половодьем. Потом еду по широким полянам, где стоят, красуются, в отдаленье друг от друга, вековые ветвистые дубы.

Широчайшая плотина лежит между двумя великолепными прудами, молчаливо отражающими в своих зеркалах эти дубы и вечернее небо. А за прудами начинается огромное пепелище Дубровки,— запущенные остатки фруктового сада, разрушенных служб, от которых местами уцелели только груды кирпичей, заросших бурьяном,— и наполовину вырубленная аллея столетних тополей ведет на обширный двор. Прежде каждого едущего по этой аллее издали встречал страшный, гремящий по всему окрестному лесу лай знаменитых дубровских овчарок. Теперь я еду в мертвой тишине. Направо и налево — все яблони и яблони, старые, раскидистые, приземистые. Венера на светлом западе так великолепна, что на земле под яблонями от нее серебрится. И белеет впереди, на пустынном дворе, небольшой домик под тесовой крышей: это прежняя господская контора, в которой и живет теперь наследник Дубровки.

Двор перед конторой переходит прямо в поле, сливается с равниной, за которой прозрачно алеет на горизонте луна. И хозяин стоит на крыльце, курит и исподлобья смотрит на нее. Приподняв картуз, я хочу повернуть в поле, но, увидев меня, он поднимает руку:

— Halte! ¹ Штраф за проезд через чужие владения! Стакан чаю!

Делать нечего,— притворно улыбаясь, придерживаю Тамару, от чаю отказываюсь, но все-таки слезаю с седла, и Тамара идет по двору к водопойному корыту, а мы направляемся навстречу друг другу.

— Bonsoir, mon cher voisin, comment allez vous? ²— говорит хозяин.— Une petite promenade? ³ Вот и я тоже,— стою и

¹ Стойте! (нем.)

² Добрый вечер, мой дорогой сосед, как вы себя чувствуете? (франц.)

³ Маленькая прогулка? (франц.)

любуюсь красотами природы, как Марий на развалинах Карфагена...

Ему лет тридцать, он худ, темен лицом, давно небрит, у него стоячие агатовые глаза и черная (коротко стриженная) голова под военным картузом без кокарды. Он в старых валенках, в рейтузах и в длинном сером пиджаке поверх грязной косоворотки. И он крепко жмет мне руку и ведет меня в дом, говоря, что самовар все равно готов и что он сейчас прикажет дать корму Тамаре.

— А вы хоть папиросу выкурите,— говорит он,— я, откровенно сказать, погибаю от скуки... *Je ne sais pas comment je ne suis pas mort encore*¹ среди этой пастушеской идиллии...

Темные сени отделяют бывшую контору от кухни. Дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лет пятнадцати, с двумя светлыми жидкими косами на спине, в легком ситцевом халатике и стоптанных мужских туфлях, надевает трубу на самовар, из которого и валит этот дым необыкновенно густыми клубами.

— *Vite, vite, Berthe!*² — кричит хозяин и вводит меня в комнаты, без умолку продолжая говорить:

— *C'est la fille de ma femme...*³ то есть бывшей, конечно... Вы у меня тысячу лет не были, но, разумеется, всю эту историю от досужих соседей уже слышали... Эту девицу моя благоверная прикинула мне в наследство... *Dame!*⁴ Я ничуть не в претензии,— прекрасной компенсацией служит то, что мудрый немецкий бог надоумил-таки ее наконец сбегать от меня. Вы ведь знаете, более нелепой женитьбы, чем моя, сам Мефистофель не мог бы придумать... Чорт знает, где — в каком-то Ревеле, чорт знает, почему... *Vrai, je ne sais pas comment cela m'est arrivé...*⁵ Попал в цирк, увидел рыжую наездницу,— и, заметьте, далеко не первой молодости,— и через неделю женат... Глупо до восхищения, до *pas plus ultra!*⁶

Комнат всего две,— «*salon*» и «*chambre à coucher*»⁷, как иронически говорит хозяин, вводя меня и извиняясь за их «лирический беспорядок». «Салон» разделен деревянной перегородкой, за которой живет барышня. В спальне большая, не по комнате, кровать красного дерева, покрытая мещанским одеялом из разноцветных лоскутов, на одеяле валяется балалайка.

¹ Не знаю, как еще не умер (франц.)

² Живо, живо, Берта! (франц.)

³ Это дочь моей жены... (франц.)

⁴ Господи! (франц.)

⁵ Право, я не знаю, как это со мной случилось... (франц.)

⁶ До крайности! (лат.)

⁷ «Спальня» (франц.)

В «салоне» стопудовый кожаный диван, из которого торчат клоки мочалы и горбами выпирают пружины, в простенке овальное зеркало, а под зеркалом — грузный письменный стол, на зеленом сукне которого стоит недопитый стакан молока и лежат огрызки серых лепешек, махорка в надорванном пакетике и ржавая конская подкова. В комнатах сумерки, — окна их глядят на восток, в поле. Входим, садимся, — хозяин в кресло возле стола, а я на диван, — и принимаемся вертеть папиросы. Выдумывать разговора не надо, — хозяин ни на минуту не прекращает своей отрывистой скороговорки:

— Не хотите ли свернуть из моего антрацита? Впрочем, не неволю, это, знаете, действительно, на любителя! *C'est affreux*¹, но что же делать? А я, как видите, во всей усадьбе соло. «Распустил кабинет». Остался один работник, — анекдотический болван! Вообразил себя моим загадочным другом и по сему случаю пьянствует без просыпу. Вот и сейчас дрыхнет и угадывает, где? Вот за этой перегородкой! Терплю, — времена демократические! А все-таки и его придется прогнать. И вообще — ох уж мне эти милые поселяне! Право, они только в оперетках хороши. Я с ними рос, я сам, можно сказать, наполовину хам, полукровок, — ведь, как изволите знать, *та раувге теге*² была всего-навсего беглая дворовая девка, — но, позвольте спросить, что у меня с ними общего? Хозяйство? Но какое к чорту хозяйство при таком бамбуковом положении? Кроме того лично для меня это совершенно сто двадцать пять букв китайской грамоты! Вы скажете, зачем же я в таком случае сижу на этом Чортовом Острове, почему не продолжаю служить? Но как служить, не имея средств? Быть в полку парием? — Да, но позвольте! Про лошадь-то вашу мы совсем забыли! Надо приказать дать ей корму...

Я знаю, что корму нет, — есть только гнилая солома, которую Тамара все равно не станет есть, — и мне уже очень хочется уехать. Я благодарю хозяина за радушие и прошу прощения, говорю, что, к сожалению, должен сейчас проститься, что не стоит беспокоиться, что я дал слово быть к ужину дома. Но он не слушает, просит выкурить еще одну папиросу и, забыв о корме, опять пускается в беседу. И я опять курю и опять слушаю, как вдруг он снова тревожно вспоминает о Тамаре:

— Да нет, как хотите, а ей надо хоть клок соломы бросить! Митька! Ты тут? — кричит он, оборачиваясь к перегородке.

¹ Это ужасно (франц.).

² Моя бедная матушка (франц.).

Из-за перегородки слышен сонный, медлительный голос:

— Ту-га. Я ля-жу.

— Вставай, поди убери лошадь,— гость приехал.

— Я пьян-най...

— Я тебе говорю вставай!

— Вин-ца прежде да-ай...

— Каково ископаемое? — говорит хозяин с торжествующей усмешкой и кричит в сени, в открытую дверь:

— Berthe, дай Митьке стакан водки! А вас, mon cher voisin, покорнейше прошу полюбоваться на это животное!

И он встает и широко открывает створчатые двери перегородки. Я заглядываю: за перегородкой светлее, там окошечко выходит на запад, и хорошо видно лежащего вниз лицом на железной кровати малого с белыми волосами, с большим мягким задом, в розовой смятой рубашке.

— Полюбуйтесь! — говорит хозяин.— Какого вам еще больше равенства?

А по «салону», нагнув голову, не глядя на меня, быстро проходит к шкапчику барышня, очевидно, за водкой. Тогда я говорю хозяину уже совсем решительно:

— Нет, дорогой, оставьте его в покое. Я все равно должен сейчас ехать. Простите, пожалуйста, приеду, если позволите, в другой раз.

И хозяин наконец сдается:

— Allons bon! ¹ Не хочу разыгрывать демьянову уху! Но пройдемся хоть по саду. Скука в эти бесконечные вечера, повторяю, адова!

И мы выходим из дому, обходим его и идем по широкой дорожке между яблонями на тонкий свет позеленевшего заката и на низкую, играющую розовым огнем Венеру. Хозяин разглядывает мой висок и усмехается:

— Однако мы с вами конкурируем в седине! Ну да не беда, седые бобры дороже! Вот разве женский вопрос... Впрочем, тут Елен Прекрасных мало. Какая-нибудь «идейная» сельская учительница? Сбитые каблуки, потные от застенчивости руки... Вообще, не выношу провинциальных девиц! И фразы-то у них у всех графаретные: «Ну как вам нравится наш город? Видели наши достопримечательности?» — Есть, впрочем, здесь одна в моем жанре — и, вообразите, кто? — дочь станового! Ножка узенькая, прелестные сильные икры, в глазах этакое кашэ... Je lui plais, j'en suis certain... je parie qu'elle tomberait volontiers dans mes bras ², если, конеч-

¹ Ладно! (франц.)

² Я ей нравлюсь, я в этом уверен... бьюсь об заклад, что она охотно упала бы в мои объятия (франц.)

но, повести правильную осаду... C'est une affaire de huit jours...¹. Я вам покажу ее, если скорострительно не сбегу в Петербург, заложив чорту хотя бы душу. На меня нападает здесь форменный страх смерти, а ведь вы знаете, что у меня порок сердца, острая неврастения и прочая, прочая... В Петербурге, если и подохнешь внезапно, все легче. Я уже завещал похоронить меня непременно на Балтийском вокзале. Если бы вы знали, сколько воспоминаний связано у меня с этим вокзалом!

Темнеет. Венера переливается на горизонте за темной равниной уже пурпурным огнем. Слабо обозначаются тени под яблонями,— луна за домом уже светит,— и уже совсем свежо пахнет весенней землей. Вдали стонет пустошка,— стонет грустно, нежно и звонко,— хорошо ей в свежести и тишине апрельской ночи в этом старом фруктовом саду, выходящем прямо в поле! А хозяин говорит, говорит:

— Теперь единственная радость моей жизни — мой еще не законченный роман, начавшийся год тому назад в Царском Селе... Ах, если бы вы знали, что это за женщина! Она замужем за нашим полковым командиром... Такой милый старикан, прелесть! Недавно переведен в Литовский полк, в Нарву... Она мне часто говорит: «Ah! si mon mari mourait! Que j'aimerais passer avec toi toute une nuit, m'endormir dans tes bras et me reveiller le lendemain sous tes baisers!»² — Я знал еще ее отца, действительный статский советник, но не симпатичный, сухой человек! Мы с ней переписываемся. Достаточно одной телеграммы — и она мгновенно будет тут. Но вы сами понимаете — могу ли я вызывать ее сюда, в эту хижину дяди Тома!

Мы возвращаемся во двор и медленно идем к Тамаре. Уже лунная ночь, уже луна поднялась над полем, и Тамара в ее свете стоит вдали черным силуэтом, а подушка седла, торчащего на Тамаре, блестит.

— Сколько она крови мне перепортила, ужас! — говорит хозяин с восторгом.— Но зато сколько блаженных минут! Отдалась безумно, дерзко. Однажды, понимаете, у них званный вечер, я приезжаю раньше всех, даже еще и мужа нет, она одна в пустой гостиной — и... Elle ne songeait même pas qu'elle était en toilette qui risquait de se froisser...³ Сразу понимаете: «Je t'aime! Fais de moi ce que tu veux! Je me moque de tout!»⁴. Вообще, чорт

¹ Это дело какой-нибудь недели... (франц.)

² Ах! Если бы мой муж умер! Как бы я хотела провести с тобою ночь, уснуть в твоих объятьях и проснуться завтра от твоих поцелуев! (франц.)

³ Она даже не думала о том, что она была в вечернем платье, которое могло измяться... (франц.)

⁴ Я тебя люблю! Делай со мной, что хочешь! Мне наплевать на все! (франц.)

знает что, звериная страсть! А потом, конечно, сцены: «Tu ne m'estimes plus, je me suis donnée à toi trop spontanément!»¹ — и бешеная ревность, хватанье за руки: «Tu es à moi, n'est-ce pas, n'est-ce pas?»².

Тамара повернула голову при нашем приближении и тихонько радостно заржала, — очень соскучилась. Я пожал хозяйину руку, сел и, обернувшись, помахал ему картузом. Он порывисто, поспешно затряс поднятой рукой. И Тамара сразу взяла полной рысью, прямо на луну, на светлое поле, четко дробя копытами в чистом, свежем воздухе...

Приморские Альпы. 13.6.24

¹ Ты меня не ценишь, я слишком быстро тебе отдалась! (франц.)

² Ты мой, не так ли, не так ли? (франц.)

ЛАПТИ

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами,— от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть...

Стукнуло в прихожей,— Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:

— Ну что, барыня, как? Не полегчало?

— Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит...

— Лапти? Что за лапти такие?

— А господь его знает. Бредит, весь огнем горит...

Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки — все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо:

— Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.

— Как добывать?

— В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином не хитрое дело.

— Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас идти!

Еще подумал.

— Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...

И, приотворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утлая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.

Пообедали, стало смеркаться, смерклось — Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую пору не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени и била себя в грудь:

— Господи, помоги! Господи, защити!

А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно.

Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело,— белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгрести снег, подняли тело — оказывается, знакомый человек...

Тем только и спаслись — поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье...

За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.

РУСАК

Непроглядная метель, стекла окон залеплены свежим, белым снегом, в доме белый, снежный свет; и все время однообразно шумит за стенами, однообразно, через известные промежутки, скрипит и стонет сук старого дерева в палисаднике, задевающий крышу. Как всегда в метель, с особой отрадой чувствую старину, уют дома.

Вот в прихожей хлопнула дверь, слышно, как Петя, вернувшись с охоты, топает валенками, отряхивается от снега, затем мягкими шагами проходит через залу к себе. Я встаю и иду в прихожую. С полем или нет?

С полем.

На лавке в прихожей, растянувшись, выкинув передние лапки вперед, а задние назад, лежит уже выбелившийся русак. Гляжу на него, трогаю его и с изумлением и с восторгом.

Он лобастый, с большими и выпученными, глядящими назад стекловидными глазами, золотистыми внутри и ничуть еще не померкшими,— все такими же бессмысленно блестящими, как и при жизни.

Но вся его тяжелая тушка уже каменно тверда и холодна.

Каменные туго вытянутые лапки в жесткой шерстке. Туго завернут серо-коричневый мохор хвостика. И на торчащих кошачьих усах, на раздвоенной верхней губе — запекшаяся кровь.

Чудо, дивное чудо!

Час тому назад, всего час тому назад, шевеля этими усами, прижав вот эти длинные уши и чутко, зорко кося за спину стеклом глаз, золотистых внутри, он лежал в мерзлой ямке под сугробом в поле, наполняя эту ямку своим жарким теплом, блаженствуя в буйном дыму выюги, которая со всех сторон

дула, заносила его снегом. Внезапно открытый и поднятый собакой, он дал от нее такого стрекача, головокружительную красоту которого не выразить никаким человеческим словом. И как жарко и дико колотилось его обезумевшее, оглушенное выстрелом сердце, когда порывисто оборвался его бег, а Петя крепко поймал его за уши, и каким пронзительным, младенческим воплем ответил он на то последнее, что вдруг ощутил он,— острый огонь кинжала, глубоко пронзивший ему горло...

Нет слов выразить то непонятное наслаждение, с которым я чувствую и эту гладкую шкурку, и закаменевшую тушку, и самого себя, и холодное окно прихожей, занесенное, залепленное свежим, белым снегом, и весь этот вьюжный, бледный свет, разлитый в доме.

19.8.24

КНИГА

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалью, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовою! И как теперь разобратся среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, — особенно к югу, — еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая

железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, — для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что не даром, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем непременно роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

20.8.24

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом,— все было прелестно в этой маленькой женщине,— и сказала:

— Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно... Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежания под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:

— Сойдем...

— Куда? — спросила она удивленно.

— На этой пристани.

— Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.

— Сумасшествие...

— Сойдем,— повторил он тупо.— Умоляю вас...

— А, да делайте, как хотите,— сказала она, отворачиваясь.

Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и

с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчицью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необоженными свечами на подзеркальнике,— и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. Попржнему была проста, весела и — уже рассудительна.

— Нет, нет, милый,— сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе: — нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...

И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он донес ее до пристани,— как раз к отходу розового Самолета,— при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако, что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею — и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским

одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

— Странное приключение! — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. — «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать...» И уже уехала...

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому «дорожному приключению»! Уехала — и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор... И просты, и уже навсегда, навеки... Потому что где же они теперь могут встретиться? — «Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того, ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!» — И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.

«Что за чорт! — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. — Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?»

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство — то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затеяв вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь! — «А главное, подумал он,

ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый паром!»

Нужно было спастись, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цыгарку. Поручик взглянул на него растеряннo и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? — «Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе», — подумал он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему: — «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» — Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом... Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость; даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один, нынешний день, — провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее... Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал, зачем, но это было необходимее жизни.

— Совсем разгулялись нервы! — сказал он, наливая пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться — он это чувствовал слишком живо — было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: «Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила:

— А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?

На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых полетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами... Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, — да, поражено, он теперь понимал это, — этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных — молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, — перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень... Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы.

— Куда идти? Что делать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу, настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, — только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном

столик! Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его, — обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, — имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, — и наконец заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи... И вчерашний день и нынешнее утро вспоминались так, точно они были десять лет тому назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей.

— А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! — весело сказал извозчик, берясь за вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода.

— В аккурат доставил! — сказал извозчик заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань... Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода... И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, иплыли иплыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.

ИДА

Однажды на святках завтракали мы вчетвером, — три старых приятеля и некто Георгий Иванович, — в Большом Московском.

По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа, — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. — Раскиньте же нам, служающий, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете.

— Как не знать, пора наузить выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся...

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским... Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился:

— Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?

Георгий Иванович, имевший единственное и престранное за-

нятие — быть другом известных писателей, художников, артистов, — человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел, — он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, — и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью:

— Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!

И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами: «Дай боже!» и, дую себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:

— Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день рождества...

— История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, — сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой.

Композитор покосился на него.

— Амурная? — сказал он холодно и насмешливо. — Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. «Je veux un trésor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»¹ — поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам:

— Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве, ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но мало состоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха — и больше ничего...

— Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она — он к ней: «А-а, Ида, дорогая! Здравствуйте, здравствуйте, душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой плато-

¹ «Я хочу сокровище, которое вмещает в себе всё, я хочу молодости!» (франц.)

чек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» — «Дома, дома, милости просим...» — «Можно к ней?» — И спокойно идет через столовую к дверям Маши: «Маша, к тебе можно?» — Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее: свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза... затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений... Было и лицо у нее редкое, — на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядишься — залюбуешься: тон кожи ровный, теплый, — тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, — цвет фиалковых глаз живой, полный...

— Да, приглядишься — залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» — увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку — и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, чорт бы его побрал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумывался об той самой Иде мало-мальски серьезно — и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она, в одно прекрасное время, исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту — и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой... Как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край...

— Дело было на самое рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, нужно заметить, со значительным опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать». — «Как, негодяй? Ты шутишь? Что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху!» — «Мой грех, мой грех, отвечает носильщик, да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...

— На станции же оказалось весьмалюдно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к чорту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью», — с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской шукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услышал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, «порывисто» обернулся — и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду!

— От радости и удивления, первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на нее. А она — что значит, друзья мои, женщина! — даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, говорит, какими судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем, совсем не с такой манерой, как говорила когда-то, главное же... чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаким хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета: большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка... Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо, небрежно сказала: «Познакомьтесь кстати с моим мужем» — и тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному, представил студент.

— Ах, наглец! — воскликнул Георгий Иванович. — Обыкновенный студент?

— Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, — сказал композитор с невеселой усмеш-

кой.— Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того самого тонкого светлосерого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темнозеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке,— в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно,— быстро обнажил другую руку, тонкую, бледнолазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» — еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду — и мгновенно понял по взгляду, которыми она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб однако не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью.— «Очень, очень рад познакомиться! — от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился.— «И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», — сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит: «Помолчи, Петрик, не конфузь меня», — сказала Ида поспешно и обратилась к господину: — «Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем, походим по платформе...» И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и — неожиданно изъяснилась там в любви к нему...

— То есть как в любви? — в один голос спросили мы.

Композитор вместо ответа опять набрал воздуха в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись и стараясь скрыть смущение, он выпил бокал до дна, затянул было под машину: «Laisse moi, laisse moi contempler ton visage!»¹, но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал:

¹ «Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!» (франц.)

— Да, то есть так в любви... И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но — факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их именье под Витебском... Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших всё и вся вокруг,— все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях... смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос: знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес:

— Да, вот что сказала она ему... А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшей вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинная соболя муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей? Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное,

главное: что же можно было ответить на это сногшибательное по неожиданности, ужасу и счастьем признание, на выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и искажившегося (от смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:

— Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-а, только и всего: поцеловала — и ушла. И тем вся эта история и кончилась... И вообще довольно об этом, — вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: — И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пушу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. — Услужайший! — закричал он на всю залу. — Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами!

Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра — в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью, необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

— Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!

МОРДОВСКИЙ САРАФАН

Зачем иду я к ней, к этой странной и вдобавок беременной женщине? Зачем завязал и поддерживаю это ненужное и даже противное знакомство? Встретились вчера в Леонтьевском и опять — радостная улыбка, минута несвязного, неловкого разговора, а затем крепкое рукопожатие и просьба:

— Заходите как-нибудь на огонек! Буду сердечно рада. Заходите, когда вздумается, я всегда дома. Заходите завтра, я вам покажу мой новый мордовский сарафан...

И вот опять иду и даже спешу почему-то.

Навстречу дует сырой мартовский ветер. Над Москвой черная весенняя ночь. Впереди чисто блестят фонари. В вышине, в черно-синем небе, белеют пухлые облака, снизу освещенные городом. В них теряются таинственно мерцающие старой позолотой церковные маковки. И отовсюду красновато глядят бесчисленные глаза домов, кажущихся в темноте огромными.

Опять, вероятно, ждала весь день, готовилась, — ходила покупать фрукты и печенья, принарядилась... Она вообще вообразила, кажется, будто жизнь ее вдруг приобрела какой-то радостный интерес, будто нашелся какой-то «чуткий» человек, который наконец оценит ее неоцененную мужем душу. — При мысли обо всем этом так стыдно, что хочется повернуть и бежать назад...

Однако вот и подъезд. Вхожу и без отдыха поднимаюсь по узкой лестнице, устланной затоптанным ковриком. Ух, чорт, как высоко и как вообще все это нелепо! Но все равно — уже позвонил. Поспешные шаги за дверью — и дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой.

Опять радостная и, как всегда, почему-то удивленная улыбка, миг обоюдного смущения — и торопливые, видимо, заранее приготовленные фразы:

— Ах, как мило, что сдержали обещание, забрели на огонек! А я совсем в одиночестве, даже прислугу отпустила, у них ведь, знаете, настоящее помешательство, этот кинематограф... Ну-с, разоблачайтесь и идем чай пить...

Дался ей этот «огонек»! А в придачу «разоблачайтесь» и бестактный поцелуй в висок, когда я поцеловал ее руку, и заявление об отсутствии прислуги. Стыдно уже нестерпимо, однако вхожу в гостиную бодро, как ни в чем не бывало, развязно протирая очки платком. И, протирая, думаю: да, и волосы убраны очень хорошо, видимо, у парикмахера,— значит, я был прав, ждала, готовилась,— и потом это болотно-зеленое бархатное платье, приоткрывающее полные груди, и жемчуг между ними, и чулки из серого шелка, и атласные туфельки... — Присаживайтесь, милый Петр Петрович, я сию минуту...

И быстро уходит.— Очень возбуждена и, надо правду сказать, очень не плоха. Какая-то особенная красота беремености, чудесный расцвет всего тела. Губы уже слегка воспалены, припухшие, но зато великолепно темны и блестящи глаза.

Со вздохом падаю всей своей тушей на диван. Обстановочка, конечно, обычная: раскрытое черное пианино, над ним портрет грозного широкоскулого Бетховена, возле большая лампа на высокой подставке под огромным розовым абажуром, перед диваном столик, спиртовка для чайника, пирожные, фрукты, золотые ножички; а на креслах в изломанных и беспомощных позах лежат куклы: баба в желто-красном сарафане, добрый молодец в жаровой рубашке, в плисовой безрукавке и в круглой шляпке с павлиньими перьями, маркиза в белом парике из ваты, арлекин, Коломбина...

— Ну-с, вот и я.

Ставит чайник на спиртовку, зажигает ее, собирает с кресел игрушки и с улыбкой валит их мне на колени:

— Мои новые шедевры. Любуйтеесь и критикуйте.

Любуюсь: для видимости интереса, внимания и беспристрастности выдумываю маленькие придирки, пересыпая их лестью. Она наливает чай,— «ведь вам покрепче, не правда ли?»— и с улыбкой подает мне чашку, оставив мизинец. И начинается беседа, если только это можно назвать беседой, так как говорит, по обыкновению, только она. О чем? О том же, о чем и всегда. Сперва об игрушках, которых я терпеть не могу, но которые я продолжаю рассматривать и среди разговора, так как это «ее страсть, то единственное, на чем она отводит душу, созданную в сущности только для искусства», затем о муже, которого я и до сих пор ни разу не видал и о котором она говорит с фальшивой веселостью,— «спит до десяти, едет на службу, обедает, снова спит и снова уезжает!»—

и, наконец, о своем первом, умершем ребенке. Говорит она только о себе. Обо мне, хотя бы из приличия, никогда ни единого словечка,— до сих пор не знает и не проявляет ни малейшего намерения узнать, кто я, что я, где служу, женат или холост...

Возбуждена она нынче особенно. И возбуждена и как будто очень весела. Говорит без умолку, с необыкновенной выразительностью и с такой требовательностью внимания, что я вскоре начинаю шалеть, цепенеть и только бессмысленно и растерянно улыбаюсь. Внезапно она вскакивает,— «ах, главное-то я и забыла!»— на мгновение скрывается в соседней комнате и возвращается с торжествующей улыбкой:

— *Voilà!*¹ И все собственноручно! Правда, хорошо?

В руках у нее что-то странное и страшное: длинный балахон из суровой крестьянской холстины с нашивками и вышивками на плечах, на рукавах, на груди и на подоле темно-коричневыми и кубовыми шелками. Она всячески показывает мне его, прикидывает к себе, к своим полным грудям и округляющемуся животу, и вопросительно и радостно смотрит на меня. Я встаю и опять с притворным вниманием осматриваю, восхищаюсь, а меж тем мне уже просто не могу: что-то мрачное, древнее и как будто гробовое есть в этом балахоне, что-то жуткое и очень неприятное вызывает он во мне в связи с ее беременностью и трагической веселостью. Вероятно, умрет родами...

Бросив сарафан на пианино, садится рядом со мною и, не спуская с меня расширенных глаз, начинает говорить о своих чувствах к своему будущему ребенку. Они необыкновенны, невыразимы, эти чувства. Она «с ужасом и восторгом чует в себе новое бытие и уже полна такой любовью, перед которой всякая любовь, и особенно к мужчине,— кощунство, пошлость». Если бог отнимет у нее эту любовь, она покончит с собой, не задумываясь ни на минуту,— это она уже твердо решила... Или же уйдет в монастырь... Мысль о монастыре — ее давняя, заветная мысль. О, если бы не замужество, не дети! Она дня не стала бы медлить! Уже хотя бы по одному тому, что для чего, для кого медлить, для чего и для кого жертвовать собой?

— Скажите, родной, для кого? — горячо спрашивает она, уставясь на меня.— Уж не для него ли, который вряд ли и подозревает, что у меня есть своя личная жизнь, свои личные радости и горести, которыми мне во всем мире не с кем поделиться?

Не спуская с меня глаз, она пытается смеяться,— ведь,

¹ Вот! (франц.)

право же, ее муж даже не человек как будто, а нечто дикое в своей приверженности спать при малейшей возможности! Она то откидывается к спинке кресла, то подается вперед, кладя руку на мою, и я слышу все ее запахи — дыхания, волос, тела, платья. Щеки ее теперь пылают, глаза прямо великолепны, движенья резки, и на груди, на пальцах, в ушах сверкают драгоценные камешки. А я все смотрю на ее круглящийся под бархатом живот, на то, как она перекидывает нога на ногу, высоко показывая свой серый не туго натянутый чулок... И вдруг, поняв, что настала наконец именно та минута, тайная надежда на которую и вела меня к ней и не оставляла весь вечер, беру ее руку и, бормоча: — «Полно, дорогая, успокойтесь!» — тяну ее к себе. А она вдруг закусывает нижнюю губу, быстро подносит к губам платок, пересаживается на диван и со слезами падает головой на мою грудь...

Возвращаюсь я во втором часу ночи. На улицах ни души, ветер переменился, усилился и пахнет морем, в лицо мне иногда попадают капли дождя. Облака уже не белеют вверху, густая чернота висит над Москвой. И я быстро иду вперед.

— Бежать, бежать, завтра же! — неотступно стоит у меня в голове.— В Киев, в Варшаву, в Крым,— куда глаза глядят!

Приморские Альпы. 1925

ДЕЛО КОРНЕТА ЕЛАГИНА

I

Ужасное дело это — дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны оно очень просто, а с другой очень сложно, похоже на бульварный роман, — так все и называли его в нашем городе, — и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения... Вообще справедливо сказал на суде защитник.

— В этом деле, — сказал он в начале своей речи, — нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения: ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем, в этой зале присутствующим, не достойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так, все это только одна видимость: спорить есть о чем, поводов для спора и размышлений очень много...

И далее:

— Допустим, что моя цель — добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немного. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему, он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину, будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке: сознательную злую волю. Однако, даже и в этом случае,

могли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее, как «уголовным волком»? Во всяком деле все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему, на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии: «все так, да не так!» — должен каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнее, так это то, что «все не так» в самой сути дела...

Ужасно и началось оно, это дело.

Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более, что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней комнате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошиц, а еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая, но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осторожно и легко, босиком, пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос:

— Дома?

С тем же намеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо: перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин, человек маленький, шуплый, рыжеватый и веснушчатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутый с тем шегольством, которое было, как он любил говорить, его «главной» слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову.

— Постой, постой,— пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами: — откуда ты, что с тобой?

— Я убил Маню,— сказал Елагин.

— Ты пьян? Какую Маню? — спросил ротмистр.

— Артистку Марию Иосифовну Сосновскую.

Ротмистр спустил ноги с дивана:

— Да ты что, шутишь?

— Увы, к сожалению, а может, и к счастью, ничуть.

— Кто это там? Что случилось? — крикнул граф из гостиной.

Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее.

— Не ори,— сказал он.— Это я, Елагин. Я застрелил Маню.

— Что? — сказал граф и, мгновение помолчав, вдруг захохотал.— А, вот оно что! — закричал он весело.— Ну, черт с тобой, на этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали, вчера опять до трех забавлялись.

— Даю тебе слово, что убил,— настойчиво повторил Елагин.

— Врешь, братец, врешь! — закричал и хозяин, берясь за носки.— А я уже было испугался, не случилось ли чего на самом деле... Ефрем, чаю!

Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и, через плечо ловко бросив его на стол, сказал:

— Ступайте, посмотрите сами...

На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил «сверхъестественной», как он выразился, бледности Елагина и чего-то «нечеловеческого» в его глазах, а затем был «просто поражен и тем и другим»...

II

Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года.

Через полчаса граф Кошиц и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток.

Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил и за дверями была тишина. Потеряв терпение, быстро пошли во двор, стали искать дворника. Дворник побежал с черного хода на кухню и, возвращаясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала,— уехала еще с вечера, захватив с собой какой-то сверток. Граф и корнет опешили: что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позвонили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон:

— Этот идиот, над которым я уже реветь готов, забыл ска-

зять, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон: Староградская, 14. Слышите? Староградская, 14. Нечто вроде парижской гарсоньерки, вход прямо с улицы...

Поскакали на Староградскую.

Дворник сидел на козлах, околоточный, со сдержанной независимостью, сел в пролетку, против офицеров. Было жарко, улицы были людны и шумны, и не верилось, что в такое солнечное и оживленное утро кто-то может лежать где-то мертвым, и втупик ставила мысль, что это сделал двадцатидвухлетний Сашка Елагин. Как он мог на это решиться? За что он ее убил, почему и как убил? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались без всякого ответа.

Когда, наконец, остановились возле старого и неприветливого двухэтажного дома на Староградской, граф и корнет, по их словам, «совсем пали духом». Неужели это здесь и неужели это нужно видеть, хотя и тянет видеть и так неодолимо тянет? Зато околоточный сразу почувствовал себя строгим, бодрым и уверенным.

— Позвольте ключ,— сухо и твердо сказал он, и офицеры заторопились отдать ему ключ с той же робостью, как сделал бы это дворник.

Посредине дома были ворота, за воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или казалась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворот и находилась та самая таинственная дверь, выходившая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вот околоточный, нахмурившись, всунул ключ, и дверь отворилась, и граф с корнетом увидели что-то вроде совершенно темного коридора. Околоточный, точно чутьем угадав, где надо искать, протянул вперед руку, шаркнул ею по стене и осветил узкое и мрачное помещение, в глубине которого, между двух кресел, стоял столик, а на нем тарелки с остатками дичи и фруктов. Но еще мрачнее было то, что представилось глазам вошедших далее. В правой стене коридора оказался небольшой вход в соседнюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под потолком, под громадным зонтом из черного шелка. Чем-то черным были затянуты сверху донизу и все стены этой комнаты, совсем глухой, лишенной окон. Тут, тоже в глубине, стоял большой и низкий турецкий диван, а на нем, в одной сорочке, с полуоткрытыми глазами и губами, с поникшей на грудь головой, с вытянутыми конечностями, с немного раздвинутыми ногами, лежала, белела молоденькая женщина редкой красоты.

И вошедшие остановились и на мгновение оцепенели от страха и удивления.

Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хороших женщин. Тут было все, что полагается: прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская, простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы... И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее были в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся, полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья.

В общем картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее.

Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитных карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови. Околоточный удержал его от этого незаконного поступка.

— Ах, конечно, конечно,— шопотом пробормотал граф,— трогать, конечно, пока ничего нельзя. Но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление?

— Имейте терпение,— наставительно сказал околоточный,— подождем следователя и доктора. Но, несомненно, по коже и на отравление...

И точно, было похоже. Крови нигде не было — ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле, возле дивана, лежали женские панталоны и пеньюар, под ними голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван как попало, но тоже не замазано ни одной каплей крови. Мысль об отравлении подтверждало еще то, что оказалось на выступе стены над диваном: на этом выступе, среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги,

стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка, на белом ярлыке которой зловеще чернело: «Op. Pulv».

Но как раз в ту минуту, когда околоточный, граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду: Сосновская, в самом деле, была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было. Но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посредине пятна круглую, с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка...

Что еще установила врачебная экспертиза? Немногое: то, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза; что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу; что борьбы между убийцей и его жертвой не было; что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое (недостаточное для отравления) количество опия; и, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной...

Но почему, за что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос: потому, что оба они — и он сам, и Сосновская — были в «трагическом положении», что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитных карточки, исписанных ее рукой по-польски (и, кстати сказать, довольно безграмотно). На одной стояло:

— Генералу Коновницину, председателю правления театра. Приятель мой! Благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет... Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы...

На другой:

— Человек этот поступил справедливо, убивая меня... Мать, бедная, несчастная! Не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле... Мать! Мы увидимся... там, наверху... Чувствую — это последний момент...

На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательным образом изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее:

— Человек этот требует моей и своей смерти... Живой мне не выйти...

— Итак, настал мой последний час... Боже, не оставь меня... Последняя моя мысль — матери и святому искусству...

— Бездна, бездна! Человек этот мой рок... Боже, спаси, помоги...

И, наконец, самое загадочное:

— Quand même pour toujours...¹

Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только «как будто». Почему были не изорваны те две визитных карточки, что лежали на груди Сосновской и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам (потому что кто же иной мог это сделать?) положил их на самое видное место. Он не изорвал их впопыхах? Впопыхах он, конечно, мог забыть изорвать их. Но как же он мог впопыхах положить на грудь покойной столь опасные для него записки? И был ли он вообще впопыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался... Нет, тут прокурор был прав: это делалось не впопыхах.

IV

Прокурор говорил:

— Есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяние которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения, научно называемого «коротким безумием». И, во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают, по злому и преднамеренному умыслу: это прирожденные враги общества и общественного порядка, это — уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он несомненно уголовный волк, он совершил преступление потому, что озверел от праздной и разнузданной жизни.

Эта тирада необыкновенно странна (хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина), и странна тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душу раздирающей робостью и печалью. И, однако, был прокурор и прав: на скамье подсудимых сидел преступник никак не обычный и пораженный вовсе не «коротким безумием».

Прокурор поставил два вопроса: во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения, и, во-вторых, было ли оно только невольным пособни-

¹ И все же навсегда... (франц.)

чеством к убийству,— и ответил на оба вопроса с полной уверенностью: нет и нет.

— Нет,— сказал он, отвечая на первый вопрос,— ни о каком аффекте не может быть и речи, и прежде всего потому, что аффекты не длятся по несколько часов. Да и что могло вызвать аффект Елагина?

Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов и тотчас же отвергал или даже высмеивал их. Он говорил:

— Не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил, в этот же день не больше обыкновенного.

— Здоровый ли человек был и есть подсудимый? Присоединяюсь к мнению врачей, его исследовавших: вполне здоровый; но совершенно не привыкший себя обуздывать.

— Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем: подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака.

И далее:

— Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде.

— Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве с Сосновской, о разрыве, который явится следствием отъезда? Опять нет, потому что о разрыве они говорили и до этой ночи тысячу раз. А если так, что же наконец? Разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты, ее, так сказать, наваждение, ее гнет, равно как и вообще гнет всей этой болезненной и жуткой ночи? Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина: эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрестанно и, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими: ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой... Елагин ел, пил, отправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы очинить карандаш...

И прокурор заключил так:

— Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится: у нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама просила убить ее,— и совершенно роковая для него записка Сосновской: «Умираю не по собственной воле»...

Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. «Подсудимый человек вполне здоровый...» Но где граница здоровья и нездоровья, нормальности или ненормальности? «Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака...» Но ведь, во-первых, не предпринял он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бессцельности их; а во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом, и Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской? Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?

Но все это, повторяю, частности. А в основном прокурор был прав: аффекта не было.

Он говорил:

— Врачебная экспертиза пришла к заключению, что Елагин был «скорее» в спокойном, чем в аффективном состоянии; а я утверждаю, что не только в спокойном, но удивительно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление и где Елагин оставался еще долго после него. Затем — показание свидетеля Ярошенко, видевшего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской и как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И, наконец, — поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его «опомниться», вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама? Он сказал: «Нет, брат, я все *отлично* помню!» — и тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будберга «даже неприятно поразил Елагин — он, после своего признания, хладнокровно пил чай». А свидетель Фохт был поражен еще более: «Господин штаб-ротмистр, — иронически сказал ему Елагин, — я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения. — Это было так страшно, — говорит Фохт, — что корнет Севский не выдержал и зарыдал»... Правда, была минута, когда зарыдал и Елагин: это когда ротмистр вернулся от командира полка, к которому он ходил за приказаниями насчет Елагина, и когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он, в сущности, больше уже не офицер. Вот в это-то время он и зарыдал, — закончил прокурор, — только в это время!

Конечно, последняя фраза опять очень странна. Кому неизвестно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастьи от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего поло-

жения? А ведь Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное. Ведь он как бы и родился офицером,— десять поколений его предков служили. И вот он уж не офицер. И мало того, что не офицер,— не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам, сам сделал это чудовищное дело!

Впрочем, это тоже только подробности. Главное же то, что «короткого безумия» действительно не было. Но тогда что же было? Прокурор признал, что «в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений». И он твердо заявил:

— Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие...

Так ли это? Вот в этом-то и весь вопрос: так ли это?

VI

О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему двадцать два года: возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни — первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милого существа: переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола. И вот, будь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения и еще на то, что перед нами сидел человек совсем незаурядный в этом смысле. «Молодой гусар, ошалелый прожигатель жизни», — говорил прокурор, повторяя общее мнение, и в доказательство правоты своих слов передал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского: о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты сходились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня от него!» Я ее заслонил, рассказывал Лисовский, и этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел — стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая: куда же это делась Сосновская?

Вот именно так: ошалелый человек. Но только от чего ошалелый: ужели от «праздной, разнузданной жизни»?

Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи, матери

(которая была, заметьте, натурой весьма экзальтированной) он лишился очень рано, от отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал:

— Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашивает; перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрсыми усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица, в своем черном сюртучке весьма мало напоминающий Отелло, то есть личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне не храбрый в одних случаях,— как, например, в отношении к отцу,— и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами в других, то есть тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность...

Что же, в этой грубой характеристике было много правды. Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а, во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да, рос Елагин в трепете перед отцом. Но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувство всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его натуры: взглядитесь, сказал бы я прокурору, попристальнее в этого рыжеватого, сутулого и тонконового человека, и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми (избегающими глядеть на вас) глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу: в день убийства он был на учении,— с раннего утра, конечно,— и выпил за завтраком шесть рюмок водки, бутылку шампанского, две рюмки коньяку и остался при этом почти совершенно трезвым!

VII

В большом противоречии с общим низким мнением об Елагине стояли и показания многих его полковых товарищей. Все они отзывались о нем самым лучшим образом. Вот каково, например, было мнение о нем эскадронного командира:

— Вступив в полк, Елагин замечательно хорошо поставил себя среди офицеров и всегда был чрезвычайно добр, заботлив,

справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним: неровностью, которая выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых перепадах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы...

Затем — мнение ротмистра Лихарева:

— Елагин всегда был добрым и хорошим товарищем, только со странностями: то бывал он скромен и застенчиво скрытен, то впадал как бы в некоторую бесшабашность, бравладу... После того, как он пришел ко мне с признанием в убийстве Сосновской и Севский с Кошицем поскакали на Староградскую, он то страстно плакал, то едко и буйно смеялся, а когда его арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье...

Затем — графа Кошица:

— Елагин был человек в общем нрава веселого и нежно, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившая его до слез; да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть не на всех инструментах...

Приблизительно то же сказали и все прочие свидетели:

— Человек очень увлекающийся, но как будто всегда ожидавший чего-то настоящего, необыкновенного...

— На товарищеских пирушках чаще всего бывал весел и как-то мило надоедлив, шампанского требовал больше всех и угощал им кого попало... Вступив в связь с Сосновской, чувства к которой он всегда чрезвычайно старался скрыть от всех, очень изменился: часто бывал задумчив, печален, говорил, что утверждается в намерении покончить с собой...

Таковы сведения об Елагине, исходившие от лиц, живших с ним в наибольшей близости. Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные краски для его портрета? Или у него есть сведения какие-нибудь другие? Нет, у него их нет. И остается предположить, что к этим черным краскам побудили его общие представления о «золотой молодежи» и то, что он узнал из единственного имевшегося в распоряжении суда письма Елагина к одному своему другу в Кишинев. Тут Елагин с большой развязностью говорил о своей жизни:

— Дошел я, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава богу, а что завтра будет, — наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе...

Такая самооценка как будто связывалась с красноречием прокурора, говорившего, что, «во имя животной борьбы за наслаждения, Елагин поставил женщину, все ему отдавшую, на

суд общества и лишил ее не только жизни, но даже последней чести — христианского погребения...» Но связывалась ли на самом деле? Нет, прокурор взял из этого письма только несколько строк. Полностью же оно было таково:

— Дорогой Сергей. Письмо твое получил и хотя поздно отвечаю, но что ж делать? Наверное ты, читая мое письмо, будешь думать: «Вот каракули, точно муха, попавшая в чернила, напознала!» Ну, что ж, почерк, как говорят, есть, если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и был, а если хочешь, даже хуже, так как два года самостоятельной жизни и еще кое-что наложили свою печать. Есть, брат, кое-что, чего и сам Соломон премудрый не выразит! А потому не удивляйся, если в один прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнул. Я дошел, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава богу, а что завтра будет, наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе. А, вместе с тем, поверишь ли? Чувствую иногда в душе такую силу и муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, чорт его знает, к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность: так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный: иногда зимой, ночью, в метель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городских, которые привыкли ничему не удивляться, — и заметь, вполне трезвый и не с перепою. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, а его все нет и нет! Что ж, тебе-то признаюсь: я влюбился и совсем, совсем не в такую, какими полон весь город... Впрочем, довольно об этом. Пиши мне, пожалуйста, адрес ты мой знаешь. Помнишь, как ты говорил? «Россия, корнету Елагину...»

Поразительно: как можно было после прочтения хотя бы одного этого письма говорить, что «сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие»!

VIII

Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина, — ей было двадцать восемь лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего три года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж, и опять за мелкого чиновника, и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка, — откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж,

конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и в свободное время много читала. И, читая, порою выписывала из книг мысли и изречения, ей нравившиеся,— конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою,— и вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до которых она не дотрагивалась иногда по целым месяцам и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи и прочее в этом роде. Что же именно выписывала она?

— «Не родиться — первое счастье, второе же поскорее возвратиться к небытию». Чудная мысль!

— Свет скучен, смертельно скучен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному...

— «Люди понимают только те страдания, от которых умирают». Мюссе.

— Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в том богом и смертью...

— Только любовь или смерть.— Но где же во вселенной найдется такой, чтобы я полюбила? Такого нет, не может быть! А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь?

— Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле...

— Мать говорит, например, чтобы я вышла из-за денег. Я, я, из-за денег! Какое неземное слово любовь, сколько ада и прелести в нем, хоть я и никогда не любила!

— Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце...

— «Быть человеком не стоит. Ангелом — тоже. И ангелы возроптали и восстали на бога. Стоит быть богом или ничтожеством». Красинский.

— «Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души?» Мюссе.

Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успела внушить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной.

Восемнадцати лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты: и на сцену попала без всяких затруднений, и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном мире настолько серьезную,

что на третий год службы получила приглашение в наш город. Однако и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше:

— «Об ней все говорят, над ней плачут и смеются, но кто же знает ее?» Мюссе.

— Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание...

— Когда я выеду куда-нибудь за город, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать... полюбить и умереть...

— Я избираю себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно!

И дальше:

— Все, все требуют моего тела, а не души...

— Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару...

— «Знает ли человек, чего он хочет? Уверен ли в том, что он думает?» Красинский.

И, наконец:

— Негодяй!

Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так не трудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть. «Уже во Львове, — сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновской, — она не одевалась, а скорее раздевалась для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пеньюаре, с голыми ногами. Красота их повергала всех и особенно новичков в восторженное изумление. А она говорила: «Вы не удивляйтесь, это мои собственные» — и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, — часто со слезами, — что нет никого достойного ее любви и что ее единственная надежда — смерть»...

И вот явился «негодяй», с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил свидетель Вольский, знавший Сосновскую с детства:

— Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя, как надо артистке и обывательнице нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому!

Именно об этом «кабане» рассказывала Сосновская Елаги-

ну в своей предсмертной беседе. Тут она, роняя слова, жаловалась ему:

— Я росла одиноко, за мной никто не смотрел. Я была в своей семье, да и во всем мире, всем чужая... Одна женщина, — да будет проклято ее потомство! — развращала меня, доверчивую, чистую девочку... А во Львове я искренно полюбила одного человека, как отца, который оказался такой негодяй, такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса! И он приучил меня к гашишу, к вину, он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем, он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня, подлый, низкий человек...

IX

У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцех.

— Еще во Львове, — говорил свидетель Мешков, — многим предлагала она умереть за одну ночь с ней и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце. А сама постоянно говорила: «Моя главная цель — жить и пользоваться жизнью. Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами». И так она и поступала, — говорил Мешков. — Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. «Деньги, — говорила она, — пустяки. Я жадна, порою скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное — слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже только с этой целью: заставить говорить о себе...

То же самое, что и во Львове, продолжалось и в нашем городе. И почти такие же писались заметки:

— Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось!

— Как-то вечером я была на кладбище: там было так прекрасно! Мне казалось... но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда...

И опять:

— Вчера я была на кладбище в десять часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов.

Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мне было очень хорошо...

А познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее «потрясающе-восторженное впечатление».

Жажда славы, людского внимания перешла у нее в это время просто в исступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была в общем не оригинальна, и все-таки было в ней какое-то особое, редкое, не обычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности с звериным лукавством, а кроме того, смесь постоянной игры с искренностью: посмотрите на ее портреты, обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий,— взгляд всегда немножко исподлобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках, взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями, звуком голоса и живостью движений, смехом или слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных гостей, одну из своих комнат отвела, как она выражалась, специально для самоубийства,— там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами,— а постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того: часто, беседа о всяческих способах лишить себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок, приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее, поцелуйте меня или я сию минуту выстрелю!»,— а не то брала в рот пилюлю со стрихнином и заявляла, что если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те, всех волнующие, слухи, которых она так хотела...

— Вообще она сама собой почти никогда не бывала,— говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший.— Играть, дразнить— это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежными загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом беззащитного ребенка— на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным: Она то распалаяла его, то обдавала холодной водой... Хотела ли она умереть? Но она

плотоядно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно. Вообще было в ее натуре очень много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей. А она всех забыла, — в такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что позавидовал бы любой акробат... Очаровательная была женщина!

Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Серошевский, знавший ее десять лет и лечивший ее еще до ее отъезда во Львов, — у нее начиналась тогда чахотка, — тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством, потерей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От этого же расстройства лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью (и у которого она однажды взяла два тома Шопенгауэра, «очень внимательно прочитанных и, что всего удивительней, прекрасно понятых, как оказалось потом»). А врач Недзельский дал такое показание:

— Странная была женщина! Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива; но случалось — вдруг ни с того ни с сего умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол... а не то начнет бросать, бить об пол стаканы, рюмки... В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее: ну, еще, еще, — и она тотчас же прекращала это занятие.

И вот с этой-то «странной и очаровательной женщиной» и встретился наконец корнет Александр Михайлович Елагин.

Х

Как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом дважды рассказал сам Елагин: первый раз, кратко и отрывочно, через несколько часов после убийства, — следовательно; второй раз — на допросах, происходивших три недели спустя после первого допроса.

— Да, — говорил он, — я виновен в лишении жизни Сосновской, *но по ее воле...*

— Я познакомился с ней полтора года тому назад, в кассе театра, через поручика Будберга. Я горячо полюбил ее и думал, что и она разделяет мои чувства. Но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой — наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился жестокой

ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение, а что-то другое, чего я не умею выразить... Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности...

— Я, говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года, в театре, возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще двух раз в месяц и то всегда днем. В октябре признался ей в своей любви, и она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ездили ужинать в загородный ресторан, возвращались же оттуда только вдвоем, и, хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетские ночи», сказала: а вы решились бы отдать жизнь за одну ночь с любимой женщиной? И когда я поспешил ответить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви все чаще, говорил, что чувствую, что гибну... уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество никогда не простило бы открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, от ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимностью...

— Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылал ей букеты в театр, посылал цветы на квартиру, делал подарки... Подарил две мандолины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку, с надписью по-французски: «Quand t'êте pour toujours!»

— 26 марта этого года я получил от нее приглашение на ужин. После ужина она впервые отдалась мне... в комнате, которую она называла японской. В этой же комнате происходили и наши дальнейшие свидания; служанку она отсылала после ужина спать. А потом она дала мне ключ от своей спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лестницу... В память 26 марта мы заказали себе обручальные кольца, на внутренней стороне которых были вырезаны, по ее желанию, наши инициалы и дата нашей близости...

— В одну из наших поездок за город мы подошли в де-

ревне к кресту возле костела, и я поклялся ей перед этим крестом в своей вечной любви, сказал, что она моя жена перед богом и что я до могилы не изменю ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потом сказала просто и твердо: «И я люблю тебя. Quand même pour toujours!»

— В начале мая, когда однажды я ужинал у нее, она достала опий в порошок и сказала: «Как легко умереть! Стоит только подсыпать немного и готово!» И, высыпав порошок в бокал с шампанским, поднесла бокал ко рту. Я вырвал его у нее из рук, выплеснул вино в камин, а бокал разбил о шпору. На другой день она сказала мне: «Вместо трагедии вчера вышла комедия!» И прибавила: «Что ж мне делать, сама я не решаюсь, ты тоже не можешь, не смеешь... Какой позор!»

— И после этого мы стали видаться реже: она сказала, что принимать меня у себя по вечерам больше не может. Почему? Я сходил с ума, мучился ужасно. Но, кроме того, она изменилась ко мне, стала холодна и насмешлива, принимала меня иногда так, точно мы были едва знакомы, и все издевалась над отсутствием у меня характера... И вдруг опять все изменилось. Она стала заезжать за мной для прогулок, стала заигрывать со мной,— может быть, потому, что и я начал усваивать себе холодную сдержанность в обращении с нею... Наконец, она сказала, чтобы я нанял отдельную квартиру для наших свиданий, но такую, чтобы она была на глухой улице, в каком-нибудь сумрачном, старом доме, была бы совершенно темной и отделана так, как она мне прикажет... Вы знаете, как именно была убрана эта квартира...

— И вот, 16 июня я зашел к ней в четыре часа и сказал, что квартира готова, и передал ей один из ключей. Она улыбнулась и, возвращая мне ключ, ответила: «Поговорим об этом после». В то время раздался звонок, пришел некто Шкляревич. Я поспешно спрятал ключ в карман и заговорил о пустяках. Когда же мы уходили вместе со Шкляревичем, она в прихожей громко сказала ему: «приходите в понедельник» — мне же шепнула: «приходи завтра, в четыре» — и шепнула так, что у меня закружилась голова...

— На другой день я был у нее ровно в четыре часа. Каково же было мое удивление, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мне, что Сосновская не может меня принять, и передала мне ее письмо! Она писала, что чувствует себя нездоровой, что она едет к матери на дачу, что «теперь уж поздно». Вне себя, я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и написал ей ужасное письмо, прося объяснить, что значит слово поздно, и отправил это письмо с посыльным. Но посыльный принес мне мое письмо обратно — ее не оказалось дома. Тогда я решил, что она хочет окончательно порвать со мной, и, воз-

вратясь домой, написал ей новое письмо, резко упрекая ее за всю ее игру со мной и прося возвратить мне обручальное кольцо, которое для нее, вероятно, только шутка, а для меня самое дорогое в жизни, то, что должно лечь со мной в могилу: я хотел этим сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мне остается только смерть. Вместе с этим письмом я возвратил ей ее портрет, все ее письма и вещи, хранившиеся у меня: перчатки, шпильки, шляпку... Денщик вернулся и сказал: что ее нет дома и что он оставил письмо и посылку у дворника...

— Вечером я поехал в цирк, встретил там Шкляревича, человека мне мало знакомого, и, боясь быть один, пил с ним шампанское. Вдруг Шкляревич сказал: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Поверьте мне, что она не стоит того. Мы все прошли через это, она всех нас водила за нос»... Мне хотелось выхватить шашку и разрубить ему голову, но я был в таком состоянии, что не только не сделал ничего подобного и не прервал этого разговора, а даже был втайне рад ему, рад возможности хоть в ком-нибудь найти сочувствие. И не знаю, что со мной случилось: я, конечно, ни слова не проронил в ответ ему, ни слова не сказал о Сосновской, но повез его на Староградскую и показал ему квартиру, которую я с такой любовью выбирал для наших свиданий. Мне было так горько, так стыдно, что я так одурачен с этой квартирой...

— Оттуда я погнал извозчика в ресторан Невяровского; шел небольшой дождь, извозчик летел, и мне даже от этого дождя и от огней впереди было больно и страшно. В час ночи я вернулся с Шкляревичем из ресторана домой и уже стал раздеваться, как вдруг денщик подал мне записку: она ждала меня на улице, просила немедленно спуститься. Она приехала с горничной в карете и сказала мне, что она так испугалась за меня, что не могла даже ехать одна, взяла горничную. Я приказал денщику проводить горничную домой, а сам сел к ней в карету, и мы поехали на Староградскую. Дорогой я упрекал ее, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела, — квартира ей очень понравилась. Я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил возвратить ей портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры, и я всегда в конце концов чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. В три часа ночи я повез ее домой. Дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой, я не видел ее лица, чувствовал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса:

«Ты не мужчина,—говорила она,— у тебя нет никакого характера, я могу, когда угодно, и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчиной, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки!» Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо!» — и насильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить, говорила: «Нет, ты придешь, придешь... на Староградскую...» И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя придти, я скоро уеду за границу, я хочу видеть тебя в последний раз, главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь — ты говоришь, что ты меня любишь, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь меня видеть в последний раз...» Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда мы расстались у ее подъезда, под дождем, у меня сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отвращением застал у себя спящего Шкляевича...

— Утром в понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что я свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской...»

XI

Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка, Ванда Линевиц, показали, что в субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе чолку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, обрасывая, срывая его с себя,— вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила:

— Вот посмотрите, это к большой беде...

Милая, несчастная женщина! Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое, что мы о ней всегда слышали и чего мы наслушались и в обществе и на суде со времени ее гибели, а главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал по-настоящему,— равно как и Елагина,— невзирая на весь интерес, который к ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которым конца не было за последний год.

Вообще еще раз скажу: изумительно убожество челове-

ческих суждений! Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в каком-нибудь даже мало-мальски значительном событии: обнаружилось, что люди глядят и не видят, слушают и не слышат. Нужно же было вопреки всякой очевидности, словно нарочито, исказить до такой степени и Елагина, и Соосновскую, и все, что было между ними! Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить: он — гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни...

— Отдельные кабинеты, вино, кокотки, дебош,— говорили про него.— Бряцание сабли заглушало в нем все высшие чувства...

Высшие чувства, вино! А что такое вино для такой природы, как Елагин? «Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, чорт его знает, к чему, что грудь ломит... Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет...» А вот во хмелю-то дышится легче и шире, во хмелю неуловимый напев звучит явственнее, ближе. И что с того, что и хмель, и музыка, и любовь в конце концов обманчивы, только усугубляют это несказанное в своей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жизни?

— Она не любила его,— говорили про нее.— Она только боялась его,— ведь он постоянно грозил ей, что убьет себя, то есть не только отяготит ее душу своей смертью, но и сделает ее героиней большого скандала. Есть свидетельства, что она испытывала к нему «даже некоторое отвращение». Она все-таки принадлежала ему? Но разве это меняет дело? Мало ли кому она принадлежала! Однако Елагин захотел превратить в драму одну из тех многочисленных любовных комедий, которые она любила играть...

И еще:

— Она ужаснулась той страшной, безмерной ревности, которую он начал проявлять все более и более. Раз, при нем, был у нее в гостях артист Стракун. Он сидел сперва спокойно, только бледнел от ревности. И вдруг встал и быстро вышел в соседнюю комнату. Она кинулась за ним вслед и, увидев в его руках револьвер, упала перед ним на колени, умоляя его сжалиться над собой и над ней. И таких сцен разыгрывалось, вероятно, не мало. Не понятно ли после этого, что она наконец решила избавиться от него, отправиться в заграничную поездку, к которой она была уже совсем готова накануне своей смерти? Он принес ей ключ от квартиры на Староградской, от квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь затем, чтобы иметь предлог не принимать его у себя до отъезда. Она этого

ключа не взяла. Он стал ей навязывать его. Она заявила: теперь уже поздно,— то есть теперь мне не к чему брать его, я уезжаю. Но он закатил ей такое письмо, что, получив его, она ночью поскакала к нему, вне себя от страха, что может застать его уже мертвым...

Пусть все это так (хотя все эти рассуждения совершенно противоречат исповеди Елагина). Но почему же все-таки Елагин так «страшно», «безмерно» ревновал и захотел превратить комедию в драму? На что нужно было это ему? Отчего просто не застрелил он ее в один из припадков ревности? Отчего «борьбы между убийцей и его жертвой не было»? И затем: «Она чувствовала к нему порой даже некоторое отвращение... Она при посторонних иногда издевалась над ним, давала ему обидные прозвища, называла его, например, кривоногим щенком...» Но, бог мой, ведь в этом вся Сосновская! Ведь еще в ее львовских заметках есть запись про отвращение к кому-то: «Так он еще любит меня! А я? Что чувствую я к нему? И любовь и отвращение!» Она оскорбляла Елагина? Да, однажды, поссорившись с ним,— у них это бывало весьма часто,— она позвала горничную и, бросив свое обручальное кольцо на пол, крикнула: «Возьми эту гадость себе!» Но что она сделала перед этим? Перед этим она выбежала в кухню и сказала:

— Я сейчас позову тебя, брошу вот это кольцо на пол и скажу, чтобы ты взяла его себе. Но помни — это будет только комедия, ты должна нынче же возвратить мне его, потому что этим кольцом я с ним, с этим дураком, обручилась, и оно для меня дороже всего на свете...

Ее совсем недаром называли женщиной «легкого поведения» и недаром католическая церковь отказала ей в христианском погребении, «как личности дурной и распутной».

Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натуры? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего? И заметьте, что всегда происходит: мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам — и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступности таких женщин? Конечно, нет, тысячу раз нет. Нет уже хотя бы потому, что ведь такие мужчины очень хорошо и чувствуют и

видят, насколько всегда мучительна, порою истинно страшна и гибельна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам,— неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему?

— Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертные записочки, внушая себе, будто и впрямь настал ее последний час. И ничуть не убеждают в противном никакие ее дневники,— кстати сказать, весьма банальные и наивные,— и никакие посещения кладбищ...

Наивность ее дневников и театральность прогулок на кладбища никто не отрицает, равно как и того, что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее: красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонников, и всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе. Но отчего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? Оттого, что все это столь обычно среди женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству? Но отчего же это столь обычно? Отчего?

XII

Утром в воскресенье настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в восьмом часу: она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколаду и раздвинула занавески. Она сидела на постели и, по своему обыкновению, исподлобья, с полуоткрытыми губками, задумчиво и рассеянно, следила за ней. Потом сказала:

— А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же после доктора. Ой, мать божия, как я испугалась! А только он приехал, мне стало так хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени на постели и целый час молилась... Ты подумай, какова бы я была, если бы меня всю обожгло! Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть... Все лицо закрыли бы ватой...

До шоколаду она долго не притрагивалась и все сидела, что-то думая. Потом выпила шоколад и, приняв ванну, в купальном халатике и с распущенными волосами, написала за своим маленьким письменным столиком несколько писем на бумаге в траурной рамке: она уже давно заказала себе такую

бумагу. Одевшись и позавтракав, она уехала: была на даче у матери, а вернулась только в двенадцатом часу ночи с актером Стракуном, который «всегда был у нее свой человек».

— Они приехали оба веселые,— рассказывала горничная.— Встретив их в прихожей, я сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствие прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: «Спрячь скорее, чтобы не видал Стракун!» — потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Стракун сидел в гостиной: «Ради бога, беги одним духом за каретой!» — Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, мать божия, только бы застать его в живых!»

В понедельник она с утра уехала на реку, в купальни. Обедали у нее в этот день Стракун и англичанка (которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала). После обеда англичанка ушла, а Стракун оставался еще часа полтора: курил, лежа на диване, положив голову на колени хозяйки, которая «была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу». Наконец Стракун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его придти «нынче же в десять часов вечера».

— Не часто ли будет? — сказал Стракун, смеясь и отыскивая в прихожей палку.

— Ой, нет, пожалуйста! — сказала она.— А если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись...

А затем долго жгла в камине какие-то письма и бумаги. Она напевала, шутила с горничной:

— Все теперь сожгу, раз сама не сгорела! А хорошо, кабы сгорела! Только уж вся, дотла...

Потом сказала:

— Скажи Ванде, чтобы ужин был к десяти вечера. А сейчас я уезжаю...

Она уехала в шестом часу, захватив с собой «что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер».

Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, «была в милом и веселом духе». Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской, среди девушек мастериц, все говорила: «Ой, мать божия, как я опоздала, пора мне уходить, ангелочки!» — и все не уходила. Наконец решительно поднялась и со вздохом, но весело сказала:

— Прощайте, пани Лещинская. Прощайте, сестрички,

ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами!

И, еще раз с улыбкой покивав с порога головой, вышла...

Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится. «Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу»,— сказал прокурор и добавил:

— Так отправилась она на роковое, но не заведомо роковое для нее свидание. В семь часов она была в доме № 14 по Староградской, в квартире № 1,— и вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром 19 июня. Что там происходило ночью? Об этом рассказать нам некому, кроме Елагина. Послушаем же его еще раз.

XIII

И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в нашей памяти и которыми кончался рассказ Елагина:

— В понедельник 18 июня я послал ей записку, что свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской».

— В шесть без четверти я был на месте и привез с собой закусок, две бутылки шампанского, две бутылки портеру, два стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго: она приехала только в семь...

— Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой, на диван.— «Выйди,— сказала она мне по-французски,— я хочу раздеться».— Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствуя, что все кончено, кончается... Впрочем и обстановка была странная: я сидел при огне, как ночью, а меж тем я знал и чувствовал, что на дворе, за стенами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер... Она долго не звала меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец она крикнула: «Иди, теперь можно...»

— Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидел свой револьвер. Я спросил: «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу: «Так... Ведь я уезжаю... Ты лучше держи его здесь, а не дома...» У меня

мелькнула страшная мысль: «Нет, это неспроста!» — но я ничего не сказал...

— И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго с принуждением, холодно. Я втайне страшно волновался,— все хотел сообразить что-то, все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное,— ведь я понимал, что это, может быть, последнее наше свидание или, во всяком случае, разлука надолго,— и все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала: «Кури, если хочешь...» — «Но ведь ты не любишь»,— ответил я.— «Нет, *теперь* все равно,— сказала она.— И дай мне шампанского...» Я так этому обрадовался, точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку, я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила: «Да, да... Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой... Всё и все против нас, только, может, один бог за нас... Я люблю твою душу, люблю твою *фантазию*...» Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт и сказал: «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо!» В ответ она только грустно улыбнулась...

— Часов в десять она сказала, что ей хочется есть. Мы перешли в переднюю комнату. Но ела она мало, я тоже,— мы больше пили. Вдруг она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, блязень, сколько опять купил! В следующий раз не смей больше этого делать». — «Но когда же будет теперь этот следующий раз?» — спросил я. Она странно посмотрела на меня, потом уронила голову и закатила глаза под лоб. «Иисус, Мария,— прошептала она,— что ж нам делать? Ой, я хочу тебя безумно! Пойдем скорей».

— Через некоторое время я взглянул на часы, был уже второй час. «Ой, как поздно,— сказала она.— Надо сию же минуту ехать домой». Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уезжать как можно скорее, а не могу двинуться с места. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, божья воля...» И этого я не мог понять. Вероятно, она хотела сказать что-то общее с тем, что написала потом: «Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою беззащитность передо мной. А по-моему, она хотела сказать другое: что наша несчастная встреча с ней — рок, божья воля, что она умирает не по своей, а по божьей воле. Впрочем я не придал тогда особого значения ее словам, я давно привык к ее странностям. Потом она внезапно сказала: «Есть у тебя карандаш?» Я опять был удивлен: зачем ей карандаш? Однако поспешил подать,— он был у меня в записной книжечке. Она попросила

дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказал: «Но послушай, неудобно на моей визитной карточке писать записки». — «Нет, это так, заметки для себя», — ответила она. — Оставь меня подумать и подремать». — И, положив исписанную карточку себе на грудь, закрыла глаза. Стало так тихо, что я впал в какое-то оцепенение...

— Так прошло, должно быть, не меньше получаса. Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, — я пришла возратить тебе твое кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить». И, приподнявшись, бросила кольцо на выступ стены: — «Разве ты меня любишь? — почти крикнула она. — Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить! Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти, — боюсь страданий, но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой». — И тут я еще больше, с страшной ясностью понял весь ужас, безысходность нашего положения, и что оно должно наконец разрешиться чем-нибудь. Но убить ее — нет, я чувствовал, что этого я не могу. Я чувствовал другое: настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. «Как? Только себя? — воскликнула она, вскакивая. — Нет, клянусь Иисусом, ни за что!» — И выхватила револьвер у меня из рук...

— И опять настало это мучительное молчание. Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг невнятно, про себя, сказала что-то по-польски и затем ко мне: «Дай сюда мое кольцо». Я подал. «И свое!» — сказала она. Я поспешил исполнить и это. Она надела на палец свое, а мне приказала надеть мое и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, но уж таков мой характер и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и принеси портю...» Я подал ей юбку и пошел за портю, а когда вернулся, увидел, что возле нее стоит скляночка с опиумом. «Слушай, — сказала она твердо. — Теперь уже конец комедиям. Ты можешь жить без меня?» Я ответил, что нет. — «Да, — сказала она, — я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не поколеблешься убить себя? А если так, возьми и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, убивши меня, ты умрешь с сознанием, что я наконец уже вся твоя — и навеки. А теперь слушай мою жизнь...» И она опять легла и, помолчав минуту и успокоившись, не спеша стала мне рассказывать всю свою жизнь с самого детства... Я почти ничего не помню из этого рассказа...

XIV

— Не помню и того, кто из нас стал раньше писать... Я переломил карандашик пополам... Мы стали писать и писали все время молча. Я написал, кажется, прежде всего отцу... Вы

спрашиваете, почему я упрекал его, что он «не хотел моего счастья», когда я даже и не пытался ни разу просить его согласия на мой брак с ней? Не знаю... Ведь он все равно не согласился бы... Потом я писал однополчанам, прощался с ними... Потом, кому еще? Командиру полка, о том, чтобы меня прилично похоронили. Вы говорите: значит, у меня была уверенность, что я покончу с собой? Конечно. Но как же все-таки я не сделал этого? Не знаю...

— А она, помню, писала медленно, останавливаясь и обдумывая что-то; напишет слово и исподлобья глядит в стену... Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда попало... Мне кажется, что и в могиле не будет так страшно, как когда мы в этот поздний час, в этой тишине, под этим фонарем, писали все эти ненужные записки... Это была ее воля писать их. Я вообще беспрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мне в эту ночь, вплоть до самого последнего момента...

— Вдруг она сказала: «Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благослови, мать божия!» — Я налил стакан портеру, и она, приподнявшись, решительно бросила в него щепотку порошку. Выпив больше половины, она остальное велела допить мне. Я выпил. Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей меня! Убей ради нашей любви!»

— Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял ее левой рукой, — да, конечно, левой — и прильнул к ее губам. Она говорила: «Прощай, прощай... Или нет; здравствуй, и теперь уже навсегда... Если не удалось здесь, то там, наверху...» Я прижался к ней и держал палец на спуске револьвера... Помню, я чувствовал, как дергалось все мое тело... А потом как-то сам собой дернулся палец... Она успела сказать по-польски: «Александр, мой возлюбленный!»

— В котором часу это было? Думаю, что в три. Что я делал после того еще два часа? Но я с час шел до Лихарева. А остальное время я сидел возле нее, потом зачем-то приводил все в порядок...

— Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире. Я сидел и только смотрел на нее. Потом, в таком же диком бессознании, стал прибираться и комнату... Я не мог бы не сдержать слова, которое я дал ей, что после нее я убью себя, но мной овладело полное безразличие... Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, что живу. Но я не могу примириться с тем, что думают, будто я палач. Нет, нет! Может быть, я виноват перед людским законом, виноват перед богом, но не перед ней!

В САДУ

Вечером приехал Иван Василич Чеботарев, липецкий мещанин, снявший в усадьбе сад.

Это небольшой старичок в теплом глубоком картузе и в голубой, слинявшей от времени чуйке («двадцать осьмой год с плеч не спускаю!»). Всегда горбится — наиграл себе эту манеру в каком-то большом соответствии со всем своим характером. Сколь стар, определить невозможно: «я его таким спокон веку помню», говорят про него в Липецке, но вынослив, неугомим на редкость и горбится притворно, играя роль старика, а не от старости, хотя и любит пожаловаться на нее и вообще на свои недуги. Наблюдателен поразительно, жизненный опыт имеет громадный. Курчавится серая жесткая бородка, курчавы черно-серые брови и волосы на носу. Смотрит чаще всего в землю, взглядывает исподлобья. В живых черных глазах и в губах постоянная снисходительная усмешка.

Мужик, привезший его на барский двор со станции, неловко, нелепо остановил телегу как раз посреди двора. Иван Василич легонько покрутил головой на его глупость, не без труда (или притворяясь, что ему трудно) слез, откинул полу чуйки, отвернулся и, еще больше сгорбившись, вытащил из кармана шаровар очень большой и очень засаленный кошелек. Мужик тупо глядел на серые волосы, курчавившиеся на его шее. Он же не спеша отсчитал медяками восемь гривен и, подумав, прибавил еще две копейки, на могарыч:

— Держи, любезный. С прибавочкой за старанье.

Потом, запахнувшись, пошел, слегка шаркая, в сад, прошел по аллее к шалашу, к караульщикам, которых он прислал из-под Липецка еще в конце мая:

— Здорово, братушки. Ради, не ради, принимайте хозяина.

Караульщики, умиленно улыбаясь, низко, подобострастно раскланялись:

— Милости просим, доброго здоровьяца, Иван Василич. В аккурат к самоварчику!

Самоварчик дымил по всей аллее густым дымом и уже кипел. Иван Василич сел на лавку возле шалаша, снял картуз, положил его возле себя, предварительно сдунув с лавки, пригладил серые курчавые волосы, оглянулся:

— Ну, как? Все в порядке?

— Пока плохого нету, Иван Василич. Караулим, стараемся...

Чай подали ему (тоже осторожно, почтительно) в толстой чашке с синими разводами, сахар в жестянке из-под килек. Он выпил две чашки и стал вертеть цыгарку, усмехаясь и глядя в землю.

— Ну, и слава богу, что пока все хорошо,— сказал он, закуривая и распространяя сладкий запах «отборной» махорки.— Ну, и слава создастелю... А я, братушки, к вам денька на два вырвался. Приехал с большим удовольствием на душе. У вас тут рай. А у меня — избавь бог. В доме ремонт, со штукутурами скандал бесконечный... несродного я характеру с нынешним народом! Ни совести, ни чести, хоть плюй в глаза, все божья роса. В голове один обман да орленый штоф. А сами живем, как цыгане, сбились всей семьей в одной горнице, а я этого не могу. На столе весь день русская картина: самовар не убран, возле самовара тарелка с заваренной горчицей. Бабушка трет ее шербатой ложкой и, понятно, в три ручья плачет от ней. Ух, говорит, и крепка же будет! А на кой ляд мне эта крепость, с похмелья я что ли, позвольте спросить? А под ногами, на полу, внуки, куча поганых игрушек. А жена наседкой вкоччет, все больна чем-то, а дочь скучает, божий свет не мил, а почему — неизвестно: горе от ума Грибоедова, видимое дело. А я этого не могу, я человек эластичный, у меня от этого шум в ушах делается.

— Уж чего хуже! — сочувственно подтвердили караульщики.— От этого шуму, говорят, вошь на человека кидается.

Иван Василич помолчал; потом поднялся и пошел за шалаш.

— Вошь, не вошь, а не радость,— сказал он, возвращаясь оттуда, застегивая штаны, поплеывая на кончики пальцев и опять садясь.— За весь день ни покоя тебе, ни удовольствия. А ночью сны одолевают и, что ни увидишь, все будто, по бабушке, не к добру выходит: я, мол, нынче во сне лисицу видел, а она и привяжется: ох, нехорошо, ох, это к обману, к неприятности. А позвольте спросить, что у нее к приятности? Я, говорит, в соннике читала: видеть во сне автомата к неблагополучию. Но позвольте, бабушка, при чем тут автомат? А вот при том-то, говорит. Да, но никакого автомата я не видал, да и где они, эти

автоматы, у нас в Липецке? Все равно, говорит. И пойдет строчить: видеть во сне ельник — к неприятности, очки надевать — к неприятности, сидеть под балдахин — к горести, пить теплую воду — к печали, пить деревянное масло — к смерти, есть блины — к смерти, есть воронье мясо — к пожару, есть драчёну — к разлуке, брить бороду — к убытку, петь томным голосом — к зубной боли, еврея видеть — к вредному знакомству... Одно слово, гидай моя голова!

И он даже легонько рукой махнул.

— Выходит, по ее, что одно хорошо: видеть во сне, что декохт пьешь,— это будто к успеху. А с прислугой какая мука? — Нанял девку: так не то что стготовить,— свиньям дерьма с хоботьем не замесит и опять же как профан глупа. Морда сиськой, сама как мясopotам какой. А тут еще сосед тронулся — лавочник Шуринов, знаете, небось?

— Как не знать,— сказали караульщики.— С чего ж это он? По его достатку только жить бы да жить!

— А вот подите ж,— сказал Иван Василич.— В отделку спятил. Как ни заглянешь — сидит за прилавком в жилетке, голову на руку пристроил и читает. На стене картину прибил: лес зеленый, дремучий, ели лохматые, избушка под ними, а на лавочке под ней угодник, а перед угодником — медведь, ручку ему лижет. Ой, говорю, Николай Иваныч, зачитаешься — в кармане не досчитаешься, печалиться — хвост замочалится. А он в ответ на это чуть не в слезы: эх, Иван Василич, не об кармане, говорит, нам с вами думать надобно.— А об чем же, мол?—А об том, говорит, что нонче ты с друзьями, а завтра с червями, нынче в порфире, а завтра в могиле: жизнь наша яко цвет травный мимо идет. Что такое, к примеру, вампир впивающий? А между тем это есть смерть. Вот, говорит, гляньте, что тут написано: «Горе тебе, человеце, прошли дни твоей юности в неразумии, а также и лета мужества протек ты в нерадении. Видишь ли, какой я есть страшный могильный скелет? Но я был некогда, как ты теперь, и, подобно тебе же, расширял свои владения, пока непреклонная смерть не заключила меня в свои железные объятия. Зри место вечного покоя, жилище тихое мертвецов, для гражданина и героя, для всех адамовых сынов!»

— Понимаете,— сказал Иван Василич, поднимая голову:— любому скорбному старчику не уступит, а глянешь на него — даже жуть берет: ну, прямо буйвол дикий, а не человек, Миклуха Маклай!— Ах, не ладна наша земля, братушки,— сказал он, крутя головой.— Сумасходный мы народ, с жиру бесимся. Теперь, говорят, его уж под опеку хотяг взять да в Тамбов в желтый дом наладить. Да и что ж с ним иначе делать? Теперь, говорят, одно твердит: амигдал да онагрь, велбуд да тля, скимен да вретисше... А чего ему не доставало, чем он недоволен?

И все мы вот так-то: все не по-нашему, все не хорошо да недостаточно. Амигдал! Еду давеча по селу со станции, а впереди — здо-оровый болван: рубаха распояской, голова взлохмачена, разодрал гармонью на три версты и орет на всю округу: «Ох, разорю усе именье, сам заруюсь у каменя!» — Шутки шутками, а думаю, что не спроста мы так-то шутим: дошутимся!

— Ну, а что ж в городе говорят? — спросил один из караульщиков. — Когда ж эта война кончится? Правда, будто и французский царь на нашего колебается?

— Этого не слыхал, — сказал Иван Василич. — Врать не хочу. Этого не слыхал. Да там, говорят, и царя-то никакого нету. Опять же они и союзники наши, эти самые французы. Правда, поумнее нас чуточку будут, — все нороят под немца не свою, а нашу дурацкую башку подставить, мол, помри ты нынче, а я завтра, ну, а все-таки союзники.

— Колебайся, не колебайся, — с притворной развязностью и, видимо, желая угодить Ивану Василичу, сказал другой караульщик, — колебайся, не колебайся, все равно им, этим царям, теперь шабаш. Куда ж им против нашего, против нашей державы? Вон вчера приходил один какой-то сволочь со станции, — я, говорит, по своим делам мимо вас в Ростов пробираюсь... А после того и зачал меня настрачивать: будто царица у нас очень больна, а больна потому, что ей Вильгельма очень жалко, и будто завелся там какой-то мужик, страшный распутный будто бы... Ну, завелся и завелся, говорю, — на здоровье. Да народ, говорит, из-за этого очень волнуется. Опять брешешь, говорю, это, может, господа волнуются, а мне чего волноваться? Нам это даже лестно очень. Да и послал его куда подале, где он у матери был, и балакать с ним больше не стал. Не может того быть; чтобы наша не взяла!

— Не знаю, не знаю, — сказал Иван Василич, глядя в землю. — Не знаю, а верить не верю. Верю, как говорится, только зверю, собаке да ежу, а прочему погожу. Думаю, что навряд, братушки, навряд наше возьмет. Победит один тот, у кого *невры* хорошие. А наш брат что? Спервоначалу ух как горячо берем, а потом и в кусты, ну его, мол, к чорту, надоело. Это как горшок базарный, из паршивой глины: нагревается в один секунд, да в один секунд и стынет. — Нет, ихний солдат с ссображением, со смекалкой. У него в ранце карты, планы всякие, прейскуранты, какие надо, и фляжка с ромом, — он знает, по какой местности идет! А, главное, он обо всем рассудить может и про отечество понимает, а у нашего что в голове? У нашего в голове мухи кипят и настроить его на всякий скандал трынки не стоит. — Нет, мы не можем, — решительно сказал Иван Василич. — И никакого согласия у нас нет и отроду не было. Я вон нынче приехал на вокзал, а там безобразие. Станции начальник кри-

чит и пассажир кричит. Тот ему: «Да вы кто такой, позвольте спросить? Можете вы тут кричать?» А пассажир на него: «А я вас в свою очередь прошу не кричать! Я — грузоотправитель!»— Ну, думаю, и вышел дурак. Подумаешь, чин какой: я грузоотправитель, я вас *в свою очередь* прошу! А какая такая очередь? Спроси его, что это значит, а он и сам не понимает.— Нет,— сказал Иван Василич, поднимаясь,— быть у нас большому чорту в стуле!

— Это обязательно,— подтвердили караульщики в один голос.— Такая пойдет, что праху не останется!

— Ну, значит, и давайте, пока что, на боковую,— сказал Иван Василич.— Сбегайте-ка на барское гумно, украдьте соломки да постелите мне в салашу помягче, пожалейте хозяйскую старость...

Приморские Альпы. 1926

БОЖЬЕ ДРЕВО

14 июня.

Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомолов. Сте-
речь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.

Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в
главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его суще-
ствовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и ви-
дим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на
него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе — му-
жик шутиливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытяги-
вается:

— Господам дворянам почтение!

Мы приостановились:

— Доброго здоровья. Караульщик?

Он снял шапку и уже без всякой шутиливости, низко, истово
поклонился:

— Так точно. Буду караулить, вам и хозяину угодать.

— Так... Надевай шапку-то.

— Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог
лесу, и то не сравнял.

— А откуда ты и как величать тебя?

— Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца
Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно —
поговору. Возраста неопределенного, — лет под пятьдесят, дол-
жно быть, хотя можно дать и меньше, — наружности довольно
обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие
же портки, на ногах лапти, — все не новое, поношенное, но
опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные,
умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соот-

ветствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:

— Вот чаек сабе налаживаю. Самоварчика, признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугуника попьем...

Мы заглянули в шалаш, — там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек...

— Домок, как у зайца тяремок, — еще раз пошутил он. — Милости просим гостями быть...

В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:

— А как думаешь, будет дождь?

Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:

— Кабыть так. Маяго кобелька нынче чтой-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожджу, она, мышь-крыса усякая, перед дождем сильнее пах-ня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем...

Говор старинный, косолапый, крупный. Он говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, таперь, но все как-то так, что слушать его большое удовольствие. Иногда, конечно, сбивается на обычный народный язык наших мест.

Когда мы отошли и пошли по аллее дальше, он стал собирать в траве сухую листву и сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негромко напевать (вернее, приговаривать):

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?

Мы невольно засмеялись — так ловко у него это выходило — и опять приостановились:

— Как, как?

— А вы разве ня знаять? — ответил он, тоже засмеявшись. И тотчас же без всякого смущения, с видимой охотой, слегка поднял свой грудной голос:

Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?

И стал пошевеливать плечами, покачивать головой:

Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не спознал,

Спознали два луны,
Спознали два друга:
— Ты приветь мне, луны,
Пооди замуж за мене!

— А она, значит, не жалае, не хоча,— сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:

А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась —
Кверху ногою,
Об пень головою...
Ах, що ж это в лесе?
Каго это беся?

15 июня.

Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:

— А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?

— Я-то? — сказал он.— А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Мая душа прямая, все примая, и мед, и тот прет. На гуляньках и покурить ни плохо.

— А насчет водочки как?

— А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Кто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный — отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Понурая голова и с рублем пропадае!

Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродится нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает. Между прочим, спросил:

— А вы що ж, господа, только лето тут, а то все в Москве?

И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями — и рассказал целую историю о том, как будто бы приехал однажды в деревню некий московский «обуватель», то есть обыватель, как он: ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нудой за избу: сел там да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему «причинное место» оторвали:

— Он как вскоча: ах, що ж мне, мол, таперь делать, да за ними,— не успел и штанов подхватить,— а они по деревне да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карогод...

Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями,— бросился, значит, бежать,— и сонулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками:

— Ах, батюшки, да шо ж эта такое, вот срам-то, девки!

— А ты был когда-нибудь в Москве? — спросили мы.

— А на шо она мне?—сказал он с веселой небрежностью.— Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодержство, усе норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что ни есть ухамить... А вы, я слышал, на степь ездили?

— Да,— ответили мы.— Да это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету.

— Эта правда, у вас тут буераков много,— сказал он.— А вот как выедешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется, конца краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там! И овсы, и ячменя, и твяты (цветы) усякие, и ковыль белый, седатый... Я так полагаю, лучше нашей державы во всем свете нету!

Потом рассказал, где, в каких «странах» он бывал — «за самый Царицын подавался»,— какие «народности» видел, и я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, древних даже, почти всеми забытых: изнугряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взгнетать вместо зажигать... Нагайцев он назвал кумане,— древнее название половцев,— конину маханиной. Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так:

— Он любит *воять* в темные ночи.

16 июня.

Нынче жарко, парит, на дворе тепло, пахнет разогретой муравой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака.

Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающих в солнечном саду, а впереди Яков: тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубашке и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю:

— Что, Яков Демидыч, не весел?

Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли:

— Чем не весел?

— Да как же,— шапка на лоб, идешь грустный.

— Чем грузный?

— Да не грузный, а грустный, скучный.

— Скушный? Никак нет. По чем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не по чем, я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе, сейчас кашку себе совосто́жу... Я люблю по садам сидеть, люблю, кода ветвей много, а у вас этого вволю, сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек.— Я, господа хорошие,— сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку со лба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами,— я живу, как бог вялит, я, как говорится, божья древо: куды ветер, туда и она...

Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными зевоподобными главами вставали из-за столетних берез на валу, за ложиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. Во фруктовом саду, с блаженной беззаботностью, игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга... Отчего так особенно прекрасно все старинное, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно услышал? Яков, спиной ко мне, сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в яркороранжевый огонь, распаленный в ней, чугунчик с водой и опять пел,— вполголоса, нежно и жалобно:

Мой стон и грусти люты

Вообрази себе

И вспомни те минуты,

Как был я люб тебе...

И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями:

Ах, сыпья, горох,

На двенадцать дорог,

Кода буду помирать,

Тода буду подбирать!

— Яков Демидыч,— сказал я, подходя,— где ты мог эту песню слышать?

— Какую? — спросил он, оборачиваясь.

— А вот эту, про стон и грусти люты? Теперь таких песен не поют, эта песня старинная и к тому же господская.

— Это правда,— ответил он,— эта песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть: «Я не помню в оный час твоея досады», а еще «От несклонности твоей дух во мне метется», а еще «Мне припятства ни по чем, не спасусь любви». Могу и про девок: «Есть ли девки все метрессы, бросим мудрости и мы...» Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже, бают, господа были. Над нами барские и теперь еще смеются: ты, мол, гáлман, чьих господ барин?

— Кстати,— сказал я,— что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство, что ты зимой делаешь?

— Да ведь вы мне про то не спрашивали,— ответил он. — А сам я не насмелился. А ну-ка вам эта безо всякой надобности? А семьи у mine нету, первая жена померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить, соскучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел, сапожничает, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало... Пстойте-ка, вас никак к столу кличут?

— Ну, видно, до вечера,— сказал я и пошел в дом.
Божье древо — это очень не плохо сказано.

17 июня.

Жить, говорит Яков, надо так, как жили деды, прадеды. Новшество, однако, не отвергает:

— Вот, скажем, таперь молотилки пошли. Шо ж, эта не бяда. Бывалыча, как станем гужом, в двадцать цепов, да как вдарим враз — заслушаешься, до чего ладно выговаривая! Ну, а в сырую погоду, знамо дело, молотилка куда удобней.

Царя ни в чем дурном не винит:

— Министры виноваты. Вроде как господские бурмистры в прежнее время...

Богатым он не желал бы быть: объешься, обопьешься, будешь по перинам валяться, а пух человеку вреден, имеет будто бы свойство «притягивать». Но жить в достатке, конечно, не прочь бы.

Смерти не боится,—по крайней мере утверждает так. Сказал с нарочитой развязностью:

— Вона, чаго ее бояться! Все равно, никто жалеть не будя. Лес по дереву не тужит!

Беседуя, он все время пристально работал: делал себе лозниковую дудку, я, говорит, люблю эти дудки и жилейки, буду вам играть «Во лузях», лучше этой песни во всем свете нету: «Расцвяли твяты лазоревые, понеслись духи малиновые...».

Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты, подоконники горят на солнце. На подоконниках насыпаны и сохнут, сладко пахнут

лепестки роз. В саду — радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро. И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека.

18 июня.

Едем в Субботино, на станцию, встречать городских гостей.

Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, хотя поезд приходит четверть пятого. Впрочем, запрягали, как всегда, часа два: покуда тарантас выкатили из каретного, покуда его подмазали, покуда сбрую собрали, покуда лошадей вычистили и напоили...

Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже два раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день. Зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке. Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартука пахнет необыкновенно приятно... Яков с узелком подмышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам.

— Ай в город? — спросил он, с усмешкой шурясь от солнца и приостанавливаясь. — Вот иду на речку по своему вдовьему делу, постирушечка есть кое-какая... А вы в город? Шо ж вы в такой вар, в самую жару средидневную? — сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от этой жары и обилия света.

Я ответил, что едем гостей встречать, на станцию.

Он засмеялся:

— Ну, эта еще вволю на станции насидитесь! Она беспрерменно опоздает, машина-то. Ведь она как идет? Я так-то, кода еду по ней, захочу соскочу, земляники наемся и опять ее догоню... А гостечки, это ничаго, хорошо. Я, прежнее время, эта любил, — погостевать, попить у хорошего соседа. У нас в старину село богатая была, сходка, бывало, соберется — все тузья, бояре, угошшали радушно, на полный рот. Бывало, не выдерешься с этого пиру, беседы: только поднялся, — ну, мол, спасибо, соседушка, сладок мед, да не по две ложки в рот, ко двору пора! — опять силком на лавку валят: стой, сват, давай еще по единой, по стремянной выпьем!

— Это что же за стремянная такая? — насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с дугой.

— Вот и вышел Ивац, — сказал Яков. — Как же ты не знаешь? Эта, значит, по самой последней, когда уж в стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на пиру обносят, ложкой кормят, стеблом глаза колят, каждый стаканчик считают...

19 июня.

Погоду сглазили, нынче весь день льет.

Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись во-время, к ужину (проездивши даром, гости обманули). Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых мотающихся ветвей. Месяц был странный — совсем оранжевый. В небе над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах, с надеждой на чудесную погоду, — так сладко успокоилось все к полночи и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно-тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра.

После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями, всюду все пересыщено водой, — трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не на столько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полубубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову:

— Вона, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости господи. Мой кобелек и тот не вытерпел: забился в салас, весь день pochивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила.

— Какая Аниска?

— А ваша, стряпухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегается, накачается по двору — и под водовозку, либо под крыльцо: обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно.

— Умильно-то умильно, — сказали мы, — а вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше, — во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится.

— Нет, я ночевал смирно, — ответил Яков. — Она протекать-то как следует стало только нонче. А дожжок, это для хлебов

таперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все славу богу. Вы вчера поехали, а я думаю: ой, прихватит моих господ к вечеру! Ну, и правда, и грозу же разыграл господь! Как полыхнет, полыхнет — хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у сотского двух ребят убило, у князя в саду самое толстоветное дерево повалило...

— Ну, вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы.

— А как же быть-то? — возразил он. — Убило — значит, не подвертывайся. Що, значит, кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный, один богатый, другой побирушка, он помер нонче, а я завтра...

Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не протерто ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий:

— У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело — стали делиться, ну и уничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да що ж, я не жадный. Я своей скудости не стыжусь: чем девочка виновата, что юпчонка маловата? Одна беда — детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их — баба, правда, отменная была. Я с ней осемнадцать годов отжил и девять человек наплодил.

— Значит, любишь это дело? — пошутили мы.

Он тотчас же, в угоду нам, подхватил шутку.

— Баб-то? А кто ж их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай какую хочешь. При старости при такой не гребуют никакой, у чужом у краю и с рябой как в раю. Вон, бают, господа какие-то ярусные капли пьют, чтобы, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь: старая кобыла борозды не испортит! А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех бог по одному прибрал, мне и стало посвободнее. А как и жана померла, я семь годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. Ан суседки зачали сбивать, что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать... Жанись да жанись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе...

— Постой, как убили? Кто убил?

Он мотнул головой и засмеялся:

— Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные жадные, аредные, черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал — приловчился у них в отарах овечек поворовывать, а они и поймай его. Схоронились так-то в яруге, в балке, а как завидели, что он ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да по чем попадать глушить... Так до смерти и засекли. Ну, а я в тую пору и жанился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, ду-

маю, за меня за такого пойдет, за старого да вдового? Ан все случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной, а там нищенка, дурочка сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и спрашиваю, смеху ради: «Что ж ты, дескать, шатаешься, побирушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. Авось, мол, ума большого там с тебя не спросят». — «Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы». — Ишь ты, мол, какая шустрая! За хорошую! При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примеру, хорошая голова, — дескать я, — пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость: стар пестрец, да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада радехонька. Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, побирушка, а красотой так даже я перед ней король. Повенчались наране Успенья, а она пожила осень да зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала: ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты кобель, у тебя нету ничего... Понятно, обykle шататься, работой скучает, ну и ушла, слава богу...

— Так ты теперь и живешь один? — спросили мы.

— Так вот и живу, — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. — Так и живу, бояре хорошие, — сказал он, легонько вздыхая. — Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по соседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету.

— Ну, а дети твои? Они дома живут?

— Дети у меня никуда, — сказал он. — Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромым, пьяница, сапожник... Сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит! А как у самого нужда — сейчас к отцу: «Батя, помоги!» Ну, и помогаю по силе-мóчи...

21 июня.

И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросно ярка зелень сада.

Яков вчера отсыпался на печке в людской, — «прозяб маленько!» Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой... Яков, конечно, не унывает:

— Ничего! Авось не первая волку зима! Мы этих бурей не боимся!

И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая, в одной грязной рубашонке, опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе.

— Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается... А, вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай помазком себе голые ноги холить! Явилась в избу — мать так и ахнула...

Перед вечером проглянуло с запада солнце. По низу аллеи, между стволами, стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили, — теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за «чайкём».

— А ты, Яков Демидыч, сказки разные, стихи, былины знаешь?

— Это как побирушки-то на ярмарках кричат? Это я много знаю. Я три лета при свечной лавке жил, ездил торговал с прижидками по селам, по престольным праздникам, — нас семь подвод было. Они страсть как кричат, эти калеки переходные. Как поднимут, поднимут «разжалкие папашечки...»

— А ты можешь по-ихнему кричать?

— Вона, еще бы табел!

И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос, на разные голоса вопить:

— Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте Лазарю убогому, безногому! Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не можа, смальства страдая! Ваша подающая рука, которая подавает, та во век не оскудевает! Ваша подающая на огне не горит и в воде не тонет, ее моль не ест, ни ржа не точа! Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения! Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасенью угодите! Разжалкие сестрицы, братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем — ни злата, ни сѣребра, ни богатства, ни имения! Смальства он, Лазарь, не ходил, не служил, согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть! Небесная птица, не можа ее без крыла по воздуху носить, так бедный калека не можа на своих ножках ходить! Разжалкие наши питатели, вы подайте свое верное подаенье ни другу, ни брату, — подайте самому господу богу святу!

Кончив, он открыл глаза, засмеялся и, опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахару, назидательно прибавил:

— Вот они как кричат, народ обманывают. Их всех надо по тюрьмам рассажать, они там сытые и на всем готовом будут.

— Ну, а какие ты сказки знаешь? — спросили мы.

Он подумал, весело глядя в землю:

— Сказки? Про Конькья-горбунья знаю, про младого Ивана Царевича, как он по охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея божьи человеки...

И, опять прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочный лад речи с обыденным:

— У главном городе у Рыме, при первом царю при Онории, при великом князе Претемьяну, жил, значит, князь со княгинею. Он усердно молился, трудился, просил себе детиша у матери госпожи пресвятой богородице. Создай мне, дескать, господи, единую чаду, при младых лет на посмотрение, при старости на призрение. И вскорости, значит, так по его молитве и вышло дело. Алексей божьи человеки скитался и спасался, а мать с отцом его не узнали, за побирушку почитали. И возговорит он тут отцу-матери, состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зяленом саду, где всякий мусор мечут и помои свиньям льют. Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами, иконами, с пресвятой госпожой богородицей и тут, значит, и век свой младой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог и гроб открыл, а он как живой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя: «Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою младость успокоили!»

Когда он кончил и это и, убирая в шалаш чугунчик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить да какой-нибудь закусочки закусить, мы спросили:

— А что ты из закусок больше всего любишь?

— Из закусок-то? — отозвался он. — Да что ж, вот селедочки не плохо закусить, баранки жареной, пирожка с сомовинкой... ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареной... Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в Ельце служил. Там и насчет этого самага щепоточного, насчет баб то есть, было вольно. Ну, только я на это не льстил. Дома дело другое. Там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу какую, ножницы, скажем, поточишь али вялёк, каким на речке белье колотят, вырубешь, вот и расход весь. И самому лестно, и ей удовольствие...

24 июня.

Дождь, дождь и дождь.

С Яковом не видались давно, только немножко поболтали вчера вечером.

Сидит на соломе, ест кулеш из чугунчика. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку, на стене шалаша чер-

неет его большая тень. Снаружи, по шалашу, шуршит ветер с дождем, кругом, в саду, непроглядная чернота... Между прочим, опять попробовали попытать его насчет смерти:

— Вот ты говоришь, тебе пятьдесят седьмой, значит лет через десять, может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом, боишься?

— Нет, не думаю. Двум смертям не быть, одни не миновать. Чаго ж ее бояться!

— Да как же не бояться, ты только представь себе: вот в такую вот ночь да в гробу, в могиле, на кладбище...

Но он опять стал отделяваться шутками,— видно, что разговор этот ему пока (то есть пока он здоров) совершенно неинтересен:

— Да авось туда, в могилу-то, не протечет, мелко не положат...

Разговор о боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен: «А, вон оно что, этот рай! Да какой же это рай? Ни трубочки, ни водочки! Кабы трубочка, да водочка, да кисет с табачкём, вот это иная была бы статья!»

— А нам думается,— сказали мы, пытая его,— ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада.

Но тут он не согласился:

— А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и бога нету? Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру сказать, бог травы, кормов, вся бы скотина поколела...

Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились — «вот как братья на селе делятся»:

— Тебе, говорит Христос, пушай мертвые достанутся,— тебе же лучше будет, мертвых-то ведь больше,— а мне, значит, живые... А потом обдумался да и на попятный: ведь как же, ведь все они, живые-то, тоже когда-нибудь мертвые будут? И, значит, сошлись на том, что которые упасутся — ему, богу, а которые нет — дьяволу...

26 июня.

Дождь. Разговор о цели жизни:

— Яков Демидыч, для чего ты на свете живешь?

— Как для чего? Вот ваш сад караулю

— Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился, для чего на земле существуешь?

— А господь его знает.

— Значит не знаешь?

— А кто ж это знает?

- Да ведь надо знать. Надо думать, додумываться.
- Я и думаю.
- Ну, и что же ты надумал?
- Надумал-то? По совести сказать, не знаю.
- А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить, жить в свое удовольствие?
- Нет, это я бы заскучал.
- Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же?
- А чтоб радость была.
- Радость! А это разве не радость — сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть?
- Это сама собой.
- Значит, не в этом в одном дело?
- Стало быть, что нет.
- А в чем же?

Думает. Потом смеется:

— В чем да в чем! Мы вот так-то возили раз с покойником родителем хлеб с поля, а я и пристань к нему,— что, да как, да зачем,— я тогда еще совсем коростовый был,— а он молчал, молчал да и говорит, наконец: «Вот как пушу тебе, малый, по ушам кнutom, тогда узнаешь, зачем!»

28 июня.

Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется: опять наступили прекрасные дни.

Нынче Яков сказал мне:

— А народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню серничков купить, иду задворками, а на гумне мужик стоит, а по меже ко ржам во весь дух бежит девочка лет семи али восьми... Бежит и навзрыд плача, спешит изоржей телушку выгнать, а он стоит и орет на все поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная — и орет безо всякой совести: «Опять телушка во ржи, так-то твою так? Ты так-то за ней глядишь, распротак твою так?» — Я просто диву дался, до чаго свинья, невежа! Можно разве так-то на свое дитя кричать?

— Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету,— сказал я.

— А що ж? — поспешно и бодро ответил он. — Конечно, нету. Только, конечно, нас учить надо. Кабы подойти к этому самому дураку да дать яму, щоб красные сопли потекли, небось в другой раз не горланил бы так-то! А еще и то сказать: не все ж и у вас подобные. Я вот нынче утром пастуха у вас за гумном видел: ну, до чаго хорош! — сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхищения. — Сядит на меже и портки себе жжет! Скотина по всему полю разбрелась, а ему и го-

рюшки мало! Вынул это стекло жгучее и наводит на портки: как солнце из-за облака выйдет — от порток дым столбом! Що ж, ты, говорю, дурак, делаешь, ай маленький? Ведь тебя жанить давно пора! А у него рот до ушей от радости: да уж больно, говорит, чудно, дяденька!— А где ж ты ее взял, это самое стекло? — А мне брат солдат принес... Нет,— сказал он с удовольствием,— наш народ хороший, обоюдный!

Я сообщил ему, что завтра уезжаю.

— Ну, що ж,— сказал он весело и равнодушно.— Дай бог час. Живы будем, еще, можа, повидаемся... А далеко едете-то?

Я ответил, что на юг, к морю, купаться.

Он весело изумился:

— Как купаться? Да вы бы дома-то, в речке? А какие же там жители? Наши ай немцы?

— Там больше татары,— ответил я.

— А! — сказал он, немножко насмешливо улыбаясь.— Этих я люблю. Они, слух есть, нами сто лет владали. А известно — конь ездока любит. Опять же смирный народ, ласковый. Скажешь ему: здорово, мол, князь, есть платки? — он так и вскинется весь: «Есть бачка, есть!» — «А магометовы портки?» — «Тьфу, не хорошо, грех так-то говорить!» — И больше ничаго. Не то что жидаы — те страшные обидчивые... А скучать вы не скучайте,— прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать,— это всегда так перед отъездом, все будто жалко чего-то, а в дороге, глядь, и разгулялся и забыл всех...

И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями:

Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка!

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕИЧ

Нелепая, неправдоподобная весть: Алексей Алексеич умер!

Всего нелепее то, до чего неожиданно умер он. Ведь еще только вчера, вернее, прошлой ночью, он был с нами, сидел, ужинал и, как всегда, говорил, говорил — то, что он говорил повсюду, за всеми ужинами.

— Как Чацкий, с корабля на бал, — сказал он вчера, входя в столовую.

Он сказал то, что неизменно говорил, приезжая на вечера к знакомым. Вчера откуда именно приехал он? Но, по совести сказать, разве мы знали когда-нибудь, откуда он приезжает? Да и знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним? Знала, может быть, немного больше прочих его старинный друг княгиня. А все прочие знали только то, что днем у Алексея Алексеича служба, дела, деловые завтраки, заседания, что по вечерам он не пропускает ни одной театральной премьеры, ни одного порядочного концерта, — музыку он действительно любил и понимал, — а ночью непременно где-нибудь ужинает — у Кюба, на Островах, у знакомых, — так что все, бывало, дивятся на него: и когда только успевает он спать?

— Как Чацкий, с корабля на бал, — сказал он вчера, входя в людную и светлую столовую, со своим обычным слегка насмешливым выражением лица.

И, как всегда, едва только он показался и сказал это, все встретили его хором радостных восклицаний:

— А! Наконец-то!

И, с безразличной улыбкой пожимая руки, раскланиваясь, он прошел к своему месту за столом, безразлично поцеловал

большую и жилистую руку своей соседки княгини, засунул угол салфетки за открытый жилет, взялся за бутылку и, как всегда, спросил:

— А вам, княгиня, позволите?

Княгиня ответила:

— Пожалуйста. Только немножко.

И он возразил опять-таки так, как всегда возражал в подобных случаях:

— Э, княгиня, что за счеты. Пить умереть и не пить умереть. Уподобимся, государыня моя, стрекошущу кузнецу, в зленем злаке сушу. В меру и во благовремении питание вредить не может. Лишь бы не упиваться до отвратности,— сказал он, не думая ни единой секунды о том, что говорит.— Лишь бы не сравняться с пьяницей богомерзким. Ибо что есть пьяница, по учению мужей мудрых? Оный пьяница аки болван, аки мертвец валяется, многожды бо оскернився, мокр и нальввся, яко мех, до горла, не могий главы своей возвести, смрадом отрыгая от многого локания.

— Не говорите гадостей, я есть не могу,— сказала княгиня.

— Как, это поучения-то святых отцов гадость? — сказал Алексей Алексеич.— А еще в лавру, княгиня, каждый божий день ездите!

— Нет таких поучений, это вы всё сами выдумываете.

— Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже слушать страшно. Истинно, жена прелестная. А ведь, что такое жена прелестная?

— Какая еще такая жена?

— А вообще жена. Что есть жена, сиречь женщина?

— Ох, Алексей Алексеич, и про жену уже тысячу раз слышала.

— Слышали, а каждый раз забываете. Жена, милая княгиня, есть святым обложница, змиино покоише, цвет дьявола, купница бесовская, сковорода подпечающая. И далее: что есть жена? Сеть утворена прельщаючи человеки, светлым лицом и высокими очима намизаючи, ногами играючи.

— Боже, какой вздор. И что это значит — намизаючи?

— А чорт его знает, я и сам не знаю, милая княгиня. Вот «ногами играючи» — это я понимаю.

— Перестаньте говорить глупости.

— А это не я говорю, это бес в человеке говорит. Ибо что есть человек? В человеке, как всем сие ведомо, есть восемь составов...

— И это знаю, и не трудитесь, пожалуйста, перечислять ваши составы.

— Нельзя, милая княгиня, и рад бы не перечислять, да не

могу. От земли у человека тело, и тот человек темен; от моря — кровь, и тот человек прохладен; от огня жар, и тот человек скуп...

— И откуда только берется все это у вас?

— От прилежания, государыня моя, оно же неистощимый, неупываемый кладезь мудрости. Но позвольте кончить. От солнца у человека очи, и тот человек богатыреват...

— Ничего не понимаю. Что это значит — богатыреват? Дайте-ка мне лучше спичку.

— А вы думаете, я понимаю? — ответил Алексей Алексеич, зажигая спичку и помогая княгине закурить. — От ветра у человека дыхание, и тот человек легкоумен, подобно вашему покорному слуге. От облака мысль, и тот человек похотлив. И наконец: от света — свет, и тот человек не мыслит земного, а лишь небесная.

— Вы, конечно, от облака?

— Сиречь, похотлив? Грех вам, княгиня, говорить так, будучи единственной причиной оной похоти. Вы же отлично знаете, что по отношению ко всем прочим прелестницам я мыслю лишь небесная.

Княгиня легонько ударила его по руке. Он вынул маленький портсигар, плетенный из китового уса.

— Разрешите, раз уж вы сами курите? И куренье, конечно, не благо, дорогая моя, ибо который человек начнет дерзати табаку, то у того человека мозг крутится...

Так и в таком роде, без конца и без умолку, говорил Алексей Алексеич за ужином. А за кофе, которое мы пили с ликерами в четвертом часу ночи, он уже слегка осовел, сидел с вялой усмешкой на устах и опять приставал к княгине с тем, что она уже тысячу раз слышала и что, однако, ей ничуть не документало, хотя она и делала вид, что сердится.

— Дитя! — говорил он. — Али не разумеешь, яко вся сия внешняя б... ничто же суть, но токмо прелесть и тма и пагуба?

— Ох, боюсь, Алексей Алексеич, что хозяйка прикажет вас вывести, — сказала княгиня.

— А за что же, позвольте спросить, она прикажет меня вывести? — слегка жалостно возразил Алексей Алексеич. — Ведь это же прекрасное старинное русское слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, но даже и при дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь это слово у самого протоппа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьезный был мужик этот протопп. Мы, сказано там...

— Довольно, довольно, Алексей Алексеич, — сказала княгиня. — Верю и без дальнейших примеров. И перестаньте пить и едем, смотрите, какие у вас мешки под глазами.

— Слушаюсь и повинуюсь,— ответил Алексей Алексеич.— Но повинуюсь не мгновенно, а лишь через четверть часа. Ровно через четверть часа, государыня моя. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, поспешай не торопясь, как советует Кузьма Прутков...

Кончилось тем, что, по обыкновению, вернулся домой и зашнул Алексей Алексеич только в семь часов, когда в его кабинете на Конюшенной уже синел грязный утренний сумрак. А проснулся после полудня, часу во втором, и проснулся, по свидетельству его слуги, как-то внезапно, сразу, раскрыв глаза с испугом. Некоторое время после этого он лежал без всякого движения, глядя в стену перед собою, потом позвонил и приказал подать себе сельтерской воды. А выпив воды, попросил помочь ему одеться, а потом — позвать извозчика и, когда доложили, что извозчик готов, вышел из дому и поехал к Потехину...

Потехин! Потехин-то, конечно, и виноват во всем. Вообще, что такое эти визиты к докторам, сидение у них в приемной, ожидание их расспросов, исследований, решений, рецептов, советов! Какой это вообще ужас быть больным! Вот человек вдруг почувствовал, что дело его что-то не ладно, подозрительно... Он перемогается, тщится уверить себя, что это неладное есть нечто случайное, временное, что не стоит думать о нем, не надо поддаваться ему, а сам меж тем думает все чаще, поддается все больше — и наконец не выдерживает, решает воззвать о помощи к этому волхву, именуемому доктором, и либо с трепетом ждет его у себя на дому или томится у него в приемной... Последнее, по-моему, особенно ужасно!

Да, на дом к вам доктор приезжает всегда с большим опозданием, а если вы едете к нему сами, всегда-то он как нарочно занят с другим больным, требующим долгого и серьезного осмотра, или где-то задержался. И вот вы сидите в этой проклятой приемной, в ее напряженной тишине, где всякий почему-то боится вздохнуть, а если говорит, то шопотом, где так дьявольски медленно, важно, спокойно, дремотно отсчитывают время дорогие мраморные часы на камине, так бесстрастно блещут картины на стенах и черная рояль у стены, возле высокой таинственной двери в докторское святилище, и так безжизненно стоит, каменеет мебель в чехлах вокруг круглого стола посреди комнаты. Вы сидите, измученный нетерпением, вы ждете, подавленный вас окружающим, ждущим молчанием. Вы пытаетесь заняться истрепанными книгами, иллюстрированными журналами и проспектами, картинками санаторий, лежащими на круглом столе. Вы заставляете себя читать, осторожно перелистывая эти журналы и проспекты, разглядывая отели в сосновых и снежных горах, виды их салонов, столовых, каких-то

стеклянных веранд, уставленных лонгшезами... Но, в сущности, вы ровным счетом ничего не видите и не понимаете, читая, перелистывая и разглядывая: вас погружает в транс, в идиотизм, в какое-то подобие летаргии эта тишина, этот сложный и смутный шум обычной, будничной жизни города, которой нет ровно никакого дела до вас, до ваших мук, болезней, смертей, которая течет себе и течет никогда не прерывающимся потоком где-то там, за этими двойными, никогда, верно, не открывающимися окнами...

Бедный Алексей Алексеич тоже должен был пережить не менее часа подобного томления, дожидаясь Потехина, который будто бы был вызван куда-то на консультацию, а на самом деле, вероятно, дрых после завтрака в своих дальних, семейных покоях.

Пожилая и аккуратная, точно какая-нибудь классная дама, горничная бесшумно отворила ему дверь, помогла раздеться и очень сдержанно сказала:

— Пожалуйста обождать в приемной. Доктор экстренно вызван на консилиум...

И Алексей Алексеич вошел в пустую приемную и покорно сел в кресло возле круглого стола ждать решения своей участи.

Что он чувствовал, что он думал, сидя в этом роковом кресле?

Конечно, то же самое, что и все мы, грешные, чувствуем и думаем в подобных случаях. Сидел, цепенел, тупо глядел перед собою, задавал себе разные глупые вопросы... Вот рояль и на ней груды нот,— все, что полагается: и Моцарт, и Бетховен, и Глинка... Но когда и кто играет на этой рояли? Очень возможно, что никто и никогда. Вот люстра в кисейном коконе, подвески которой тихо звенят от продвигающихся по улице ломовых телег, нагруженных чем-то очень тяжким... Зажигается ли когда-нибудь эта люстра? Бывают ли в этой гостиной обыкновенные, а не больные люди, то есть друзья, знакомые доктора, и вообще живет ли доктор когда-нибудь не докторской, а своей личной, простой жизнью? Вот огромная картина в десятипудровой золотой раме, возвышающаяся над роялем: грозно и великолепно синее дикое ущелье, с шумом клубится, несется пенно-зеленый горный поток, сумрачно и величаво дымятся облаками скалистые и снежные вершины гор... Чья это картина, как и зачем она попала к доктору, что общего у него с этим ущельем? Ущелье синее и синее, поток, нагоняя дремоту, шумит и шумит — неужели это так и будет изо дня в день, из году в год, пока будет жить и принимать доктор? Доктор отдыхает от своих вечных приемов и забот о чужих болезнях, верно, только в августе... Где же именно? На Кавказе, в Швей-

царии, то есть опять-таки где-то там, где синие ущелья и пенно-зеленые потоки? Но на кой черт ему они?

И потехинская горничная говорит, что слышала, как Алексей Алексеич будто бы вдруг громко сказал:

— Нам, государь мой, уже давным-давно наплевать на все эти красоты с высокого дерева!

Он, конечно, стучал пальцами по столу, с мукой глядел на часовую стрелку, приближавшуюся к трем, иногда нарочно кашлял, в надежде, что в кабинете что-нибудь скрипнет в ответ на этот кашель,— в консультацию он ни минуты не верил, но высокая дверь кабинета была все так же неподвижна и заповедна, и, конечно, ему уж начинало казаться, что он и вовеки не дожидется той желанной минуты, когда эта дверь внезапно приоткроется и Потехин с нарочитой сухостью и, разумеется, не глядя на пациента, скажет: «Пожалуйте!»

Однако дверь эта (и как раз в ту минуту, когда у Алексея Алексеича лопнуло уже всякое терпение) вдруг приотворилась — и судьба Алексея Алексеича была решена...

Потехин! Боже, как смалодушествовал Алексей Алексеич, допустив себя так по-детски уверовать в эту тупицу? Ибо что такое Потехин? Человек неуклюжий, сутулый, нарочито грубый; с грубыми, простонародными чертами лица, с крупными свинцовыми волосами, с тяжелым и недружелюбным взглядом маленьких глаз; неизменно медлительный и до наглости самоуверенный, хотя вместе с тем никогда не могущий взглянуть вам в лицо прямо, то и дело густо краснеющий от угрюмой семинарской застенчивости... А потом эта манера защищать себя от своего простого происхождения частым и резким упоминанием о нем! Это убеждение, что вследствие такого происхождения он будто бы имеет перед вами какие-то преимущества, какое-то право на высокомерие! Это бахвальство, когда разговор заходит, например, о музыке, о стихах, о живописи, особенно новой!

— Ну, здесь я умываю руки,— грубо говорит он в таких случаях.— Я в этом сущий профан. По-моему, это не картина, а яичница с луком, не стихи, а рубленая проза, которую с одинаковым удобством можно читать и с конца. Но что ж, вам и книги в руки: весьма охотно допускаю, что это гениально, замечательно...

И вот перед таким-то мудрецом и смалодушествовал наш бедный Алексей Алексеич.

Разговор в кабинете Потехина был короткий:

— Здравствуйтесь, Алексей Алексеич. Садитесь, пожалуйста. На что изволите жаловаться?

— Да как вам сказать,— начал Алексей Алексеич, тшетно пытаясь быть тем самым собою, которым он был всю жизнь и

которые в этот день вдруг почему-то точно сквозь землю провалился.— Уже давно замечаю, что как будто не совсем в порядке мои, так сказать, сердечные делишки, а вот нынче утром и совсем сдрейфил: схватило, понимаете ли, так, что душа в пятки ушла. Пустяки, конечно, но все же почел за благо явиться перед ваши пресветлые очи...

— Прекрасно. Годочков-то вам сколько?

Алексей Алексеич ответил, все еще стараясь шутить, что во всяком случае больше, чем «тлидцать тли», потом сказал серьезно, и дело пошло обычным порядком. Наклонив свою свинцово-густоволосую голову и не глядя на Алексея Алексеича, начал Потехин сухо расспрашивать, не спеша записывать, потом сказал еще суше и неприязненной:

— Разденьтесь, пожалуйста...

И Алексей Алексеич покорно, даже как-то угодливо, униженно, торопливо и очень неловко стал трясушимися руками стаскивать с себя пиджак, жилет, развязывать галстук, отстегивать запонки... Потом он то сидел, то стоял, то глубоко дышал, то совсем не дышал, чувствуя, что вот-вот упадет от головокружения, лежал во всяческих позах на скользкой простыне на холодном клеенчатом диванчике... Наконец Потехин и сам измаялся. Помолчал, глядя в потолок, еще немного помял белый живот Алексея Алексеича своими большими мягкими пальцами уже неизвестно зачем, очевидно, только в силу привычки мять животы, потом встал и, еще больше нахмурясь, сел за стол и в мертвой тишине стал писать рецепт, меж тем как Алексей Алексеич, раздавленный столь неожиданно-зловещим поведением Потехина, с постыдной неряшливостью и поспешностью приводил себя в порядок.

— Ну, что же, доктор, что скажете? — спросил он наконец с усмешкой.— Дрянь дело?

И Потехин ответил, не поднимая головы:

— Дрянь, не дрянь, но не скрою — неважно.

— Сердце?

— Оно самое.

— Ну, годик-то еще попрыгаю? — опять сделал попытку пошутить Алексей Алексеич.— Я, откровенно говоря, этой самой любви к жизни, сладкой привычке бытия не весьма привержен, поелику почитаю оное сплошным свиным корытом... Не буруем равным образом и гамлетовскими терзаниями насчет того, что ждет нас там, на противоположных берегах реки, Стиском именуемой. Но все же, знаете, как-то не того... не хочется спешить выправлять подорожную в место злочно и блаженно, иде же несть ни печали, ни въздыхания, а скука зеленая да шесть пород червей, кои будут трапезовать новопреставленным рабом их. Так уж вы скажите мне, дорогой мой, участь мою без

лицеприятия, а то я просто на извозчике околею от неизвестности...

И Потехин, дописав и расчеркнувшись, ответил с истинно хамской беспощадностью:

— Я пророчествами не занимаюсь...

Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге домой, и, конечно, вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот. Вот тебе и «стрекочущу кузнецу», и Кюба, и Острова, и ужины у друзей-приятелей! И ни одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о нем. Даже и на похоронах-то будут думать только об одном: как бы покурить поскорей!

1927

ПОДСНЕЖНИК

Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица — и был гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником.

Была оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было уже много, много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из деревни.

Отец приехал из глухой, занесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и седящий, сильный и моложавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами.

А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не каждому дает бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?

На нем новая длинная шинель, светлосерая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он еще во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, — к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, еще так недавно раскрывшегося на мир божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопрошительного!

Живет Саша «на хлебах», в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, пара запряженных впряжку лохматых деревенских лошадей! С этого дня Саша переселяется в Елецкое подворье.

Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит, а Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец отец ласково будит его, шутя стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голубятне.

Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахара, съедает целый калач и опять шаркает ножкой:

— Мерси, папочка!

Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: пора идти на базар, в трактир, — завтракать. И, одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер раскрытым настежь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнувший праздничным чадом из труб! И какой долгий прекрасный день впереди!

В трактире «чистая» половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и донельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций, — селянку на сковородке, леща в сметане, жареной наваги, — требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых: каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках...

Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут

за некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спокоем только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскрыты лазурные детские глаза!

А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный и будничный вид, пустеет даже базарная площадь — и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает.

Да, проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается. А там, во дворе, уже запрягают лошадей... Последний, самый горький час! Вот сию минуту вдруг войдет коридорный:

— Подано, Николай Николаич!

И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных, выше колен, валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет:

— Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой.

И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам...

А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто — боже, какой родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой. И работник уже стоит в их жозлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в руках... Еще минута — и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из города, в серые снежные поля — и прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя!

— До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.

СУЕТА СУЕТ

Многие ли знают, как умер Вольтер, где похоронен он был первоначально и какова была судьба его сердца и мозга?

Об этом с обычным мастерством и с вечно присущей ему тонкой иронией рассказывает Ленотр.

Вольтер приехал в Париж за три месяца до смерти и поселился в особняке г. де Виллета, на углу улицы Бон и набережной.

Три месяца в этом особняке царили мир и спокойствие. Но вот настает роковой вечер 30 мая 1778 года — и проходящие мимо ворот особняка и заглядывающие в его двор (который, кстати сказать, остался и доньше почти таким же, каким был в те годы) видят, что в доме происходит что-то не совсем обычное: несмотря на поздний час, три окна в первом этаже ярко освещены, за их занавесками мечутся людские тени... Что случилось?

А случилось то, что «великий безбожник» уже отдал богу душу и его семья, г-жа Дени, ее брат аббат Миньо, г. Дормуа, г. де Виллет и кухарка с привратницей энергично хлопочут над трупом, наряжают его: дело в том, что после похорон А. Лекуврер Вольтер был одержим кошмарным страхом, что после его смерти тело его будет брошено, как падаль, что враги его правы, предсказывая огромный скандал, который могут учинить при его погребении религиозные фанатики. Надо, значит, было этот скандал во что бы то ни стало предотвратить.

Вольтер испустил последний вздох в одиннадцать часов. Тотчас же после этого кинулись за хирургом г. Три и за соседом аптекарем г. Митуар, которые, быстро осмотрев тело и запротоколировав смерть, стали наспех, кое-как, бальзамировать его, вынули сердце, мозг, внутренности... Внутренности бросили в помойную яму, мозг погрузили в банку со спиртом, а сердце —

в свинцовую коробку, которая заключена была в серебряный вызолоченный ларчик. Однако это было далеко не все, что нужно было сделать. Главная задача состояла в том, чтобы тайком вывезти тело из Парижа, тайком доставить его в аббатство Сельер, находящееся от Парижа в тридцати лье. Аббат Миньо, племянник покойника, к этому аббатству был причастен и надеялся получить от его настоятеля разрешение на отпевание и погребение Вольтера именно там. Но как доставить его туда? Доставить нужно было не без хитрости, не стесняясь средствами и как можно скорее.

И вот после вскрытия быстро стали наряжать труп: его спеленали свивальниками, которые были надраны на скорую руку из простынь, на него напялили халат, на голову надели ночной колпак, на ноги — ночные туфли. А покончив с этим, потащили ряженные останки великого человека вон из дому, во двор, посадили их в карету, — она была голубая, в звездах, — напротив велели сесть лакею, который должен был держать и не давать покойнику падать, а кучеру приказали гнать лошадей что есть мочи.

Как известно, все это предприятие удалось превосходно. Лакей по прибытии в Сельер был сам близок к смерти от страха, пережитого во время скачки до Сельера в темной карете, лицом к лицу с качавшимся мертвецом. Однако доставлен был мертвец в Сельер в целости и сохранности, весьма быстро, и так же быстро было и доделано дело: Париж даже еще и не знал о кончине Вольтера, как уж тело его лежало под плитами Сельерского собора.

Что до сердца и мозга, то они претерпели гораздо более многочисленные приключения.

Мозг, «который отличался необыкновенным объемом», взял себе аптекарь Митуар. Некоторое время он извлекал из него большие радости для своего тщеславия: показывал его публике — «всем желающим созерцать сии останки г. Вольтера». Будучи, однако, человеком культурным и боясь за судьбу «дивной реликвии», он решил принести ее в дар государству. Но тогда судьба еще более жестоко посмеялась над Вольтером: к несказанному удивлению и ужасу аптекаря государство почему-то смутилось; стало благодарить, кланяться, но взять мозг отказалось. Через полвека после этого сын аптекаря врач Митуар повторил попытку отца сохранить для потомства замечательный мозг — еще раз предложил его Франции. Но... Франция почему-то снова отклонила эту честь. Третий собственник мозга, г. Вердье, навязывал его Академии: авось хоть «бессмертные» согласятся взять мозг своего бывшего сочлена. Но и Академия отказалась: «не нашлось достойного вместилища для столь неожиданного вклада»... И мозг пустился странствовать:

он перешел по наследству к внучке аптекаря, а внучка все путешествовала и всюду возила за собой драгоценный сосуд, «таивший в себе то чудесное, что в свое время вырабатывало столь гениальные мысли». А когда умерла и внучка, сосуд почему-то попал в руки какого-то г. Лаброса, аптекарского помощника, в 1870 году был куплен кем-то на аукционе, при распродаже какой-то обстановки, а затем погрузился во мрак полной неизвестности.

— Может быть,— говорит Ленотр,— он цел и донныне, валяется где-нибудь на чердаке, среди какой-нибудь рухляди? Но где именно? На этот вопрос до сих пор еще никто не отозвался.

Беспокойна, печальна была и участь вольтеровского сердца.

У Вольтера была приемная дочь, «олицетворение Красоты и Доброты», которая была замужем за маркизом де Виллет, домовладельцем на улице Бон, поэтом и страстным поклонником Великого Старца. Он и присвоил себе его сердце и приказал выгравировать на ларчике, вмещавшем это сердце, стих собственного сочинения:

Дух его витает всюду, сердце же покоится здесь.

Впоследствии ларчик с сердцем долго стоял в мавзолее, воздвигнутом для него Виллетом в салоне знаменитого вольтеровского убежища, в славном по всему миру замке, которым Виллет тоже завладел в свое время. Там в честь своего идола он устроил нечто среднее между музеем и капищем, самого же себя провозгласил верховным жрецом вольтеровского культа. Но шли годы, страсть Виллета мало-помалу утихла, и знаменитый замок был сдан им в конце концов в наем какому-то богатому англичанину. Англичанин же, конечно, тотчас же велел мавзолей в салоне разрушить, а «драгоценный» сосуд с сердцем «куда-нибудь вынести»...

Впрочем, сердце оказалось все-таки счастливее мозга. Ларец с ним все же сохранился. Конечно, и он переходил из рук в руки, от наследников к наследникам, был предметом их споров и даже судов, однако уцелел и в свое время был тоже предложен в дар государству, которое на этот раз оказалось уступчивее, чем прежде в деле с мозгом. Сердце Вольтера покоится теперь, как известно, в библиотеке на улице Ришелье, в цоколе, на котором стоит модель знаменитого мрамора Гудона...

Да, Вольтер недаром усмехается так ядовито и донныне. Между прочим, и над самим собой, конечно.

СТАРЫЙ ПОРТ

Отель «Бретань» еще пуст, деревня Старый Порт, близ которой странно высится на голом холме это новое многоэтажное здание, живет пока своей простой рыбацкой жизнью.

Стоит та прекрасная погода, когда солнечный зной, припекающий где-нибудь на склоне холма, обращенного к югу, еще мешается с морской свежестью, которой тянет с севера, как только поднимешься повыше и увидишь вокруг другие холмы, а впереди — голубое море. Стоит та радостная пора, когда еще поют жаворонки и всюду цветут цветы, — не только в полях, но даже на окраинах шоссе и на самых кремнистых косогорах, когда вьются мириады мотыльков над этими цветами и над жесткими кустарниками, тоже цветущими мелким цветом в какой-нибудь бесплодной лощине или вдоль заглохшего проселка с высоким крестом из почерневшего камня на перекрестке... Край пустынный, скудный; но теперь на суглинистые поля и холмы его, покрытые молодой, чистой зеленью хлебов, на меловые дрибжежные скалы и спокойные лазоревые заливы не наглядятся.

И вот появляются в деревне первые иностранцы: старик шотландец с женой и дочерью и какой-то одинокий норвежец. Он приехал с тем же поездом и остановился в той же «Бретани», что и шотландцы; однако он не знаком и даже не ищет знакомства с ними, хотя они заметили, что он преследует их с самого Лондона, где он оказался их случайным сожителем тоже по отелю. Человек он вообще необщительный. На вопрос портъе, сколько он думает пробыть в отеле, он ответил неопределенно:

— Не знаю. Может быть, сутки, двое суток...

Но проходит три, четыре дня, потом неделя — он все живет, и все той же одинокой жизнью.

Он рано ложится и рано встает. Раньше всех пьет кофе в большой пустой столовой, освещенной утренним солнцем, и, пока пьет, пристально читает какую-нибудь книгу, наугад взятую из библиотечки отеля. Потом, сунув ее в карман, захватив плед и палку, спускается на берег. Тут он бросает плед на мелкий белый песок под меловым обрывом прибрежного холма, высоко поднимающегося на западной стороне залива, и до самого завтрака лежит, облокотясь на руку и глядя то на широкий пляж и на изгиб моря, в эти часы еще синего, то на солнечную белую дорогу от отеля, по которой он спустился.

Он глядит, слушает. Вот в деревне бьет восемь часов; вот половина девятого; вот девять... В девять двадцать приходит, шумит на маленькой станции за деревней утренний поезд. А как только он свистнет и тронется дальше, на дороге от отеля показывается дочь тех шотландцев, за которыми он приехал. И тогда он тотчас разворачивает книгу и притворяется, что читает, искоса следя за тем, как она подходит, — за развевающими полами ее купального халата.

Это высокая, худощавая девушка. У нее длинные, стройные ноги и удивительно милое в своей ласковой простосердечности и даже наивности выражение веснушчатого, немного бледного лица. И он жадно глядит на нее исподлобья, — на то, как она быстро спускается с пригорка, идет к нему вдоль пляжа, затем, шагах в ста от него, сбрасывает с себя халат, остается в одном черном трико и бежит к воде. Тело у нее тоже бледное, голубоватое, но не слабое. Она далеко уплывает в море, сидит на камне, торчащем вдали среди залива, потом, возвратясь на берег, долго лежит на песке навзничь, закрыв глаза от солнца. Однажды она неожиданно крикнула ему на смешном французском языке:

— Почему вы не купаетесь?

Он густо покраснел и неловко крикнул в ответ, что холодно, что еще никто не купается.

В двенадцать она уходит домой, к завтраку. Он тоже поднимается и в отдаленье идет следом за ней.

Мать с отцом, в свободное от завтрака и обеда время, гуляют, пишут письма, читают, сидя в креслах-будках на дорожках большого цветника, разбитого перед отелем и радующего глаз необыкновенно свежим, зеленым, как медянка, газоном. А что делает она? Он видит ее только на берегу, утром, и в столовой, в час и в семь с половиной. Проходя в эти часы мимо их стола, он сдержанно кланяется. Ему отвечают тем же. Девушка даже глядит ему прямо в глаза — долгим и вопросительным взглядом, в котором можно уловить расположение, готовность к знакомству. Но он, поклонившись, краснеет и, нахмурясь, быстро проходит мимо.

После завтрака он бродит по деревне,— она очень стара, черна, первобытна,— иногда заходит в пустую церковь, снаружи имеющую вид очень дикий. Там он подолгу сидит на соломенном стуле и слушает ту великую тишину, которая бывает только в пустых церквях. Впереди, за рядами темных дубовых скамеек, блестит и высится все то церковно-сложное, что составляет престол, алтарь, украшенный бумажными розами и такими же кружевами, трогательный в своем деревенском, бедном убранстве. Над ним, в полукруглой стене, остро зеленеет, гранатно краснеет и густо синее узкое окно, новое, довольно грубое. Новы, дешевы и все эти сусально позолоченные или малярно раскрашенные в голубое и розовое гипсовые статуэтки Мадонны, Орлеанской Девы, Христа в терновом венце, святых монахов с четками в руках. Однако и в этом есть некая деревенско-католическая прелесть. А как прекрасны в своей простоте, дикости древние, каменные своды, ухабистый каменный пол, толстые стены со следами сырости, долгих зимних дождей, свирепых ветров с севера, с моря, при мысли о которых сладко и уютно замирает сердце! Всего же лучше — эта глубокая, как бы чего-то с неземным бесстрастием ждущая тишина.

Часто ходит он и в маленькую гавань деревни, полную неуклюжих лодок и парусных барок, делает прогулки в поля, в соседние поселки... Зеленеет волнистая равнина, мирно синее море, поют жаворонки... Очень странно видеть в этой кроткой, слегка грустной, безлюдной глуши безобразные деревянные щиты на столбах-ножках, с которых смотрит и сладострастно жмется, хохочет от приятной зябкости, от предвкушения ванны, голый большеголовый ребенок, рядом с деревянными каменными крестами, простирающимися в простор полей свои скорбные объятия.

Возвратясь в отель за полчаса до обеда, он бреется, подстригает рыжие усы, надевает смокинг и бальные туфли. За обедом он много пьет. Лицо его багровеет, полнеет, синие глаза наливаются блеском. Потом он идет в курильню, берет газету и тонет в густом пахучем дыму жарко раскаленной сигары...

И так проходит дней десять. А затем он внезапно требует однажды перед обедом счет. Прямой поезд на Париж отходит в пять часов утра из ближайшего прибрежного города. Он заявляет портье, что отправляется туда на парусной лодке, и просит разбудить его в три часа.

До часу он не спит, лежит при огне и пристально смотрит перед собою. Потом, при огне же, крепко засыпает — и вдруг слышит: кто-то стучит, сперва осторожно, точно заговорщик, потом все громче и громче... Он вскакивает и поспешно начинает одеваться, в последний раз оглядывая свой тесный номер с широкой ясеновой кроватью, с яркой и уютной лампой под

желтым шелковым колпаком, с зеркальным шкафом, с большим умывальником из палевого мрамора, где свежая вода, налитая в большую фаянсовую чашу, кажется хрустальной. Но вот опять стук в дверь — это уже за вещами. Он поспешно надевает пальто, шляпу, на прощанье оглядывается еще раз...

В слабо освещенном коридоре, устланном толстым ковром, у одной двери стоят две пары больших башмаков, мужских и женских, у другой — пара маленьких, имеющих какое-то особое выражение, возбуждающих восхищение, нежность. Он останавливается, быстро пишет в записной книжке: «good night!»¹, вырывает листок, сует его под дверь и бежит вниз по широкой лестнице вслед за носильщиком, быстро идущим впереди с одним чемоданом на левом плече и с другим в правой руке.

Хрустя в темноте по гравию, они обходят цветник, легким бегом спускаются по белеющей в звездном свете дороге к заливу и направляются к деревне, в гавань. Навстречу тянет сладким ветром летней ночи и моря. Звезд на небе необыкновенно много — крупных, предзвездных, неизвестных. Черной равниной лежит до прозрачного горизонта море, чернеет и медленно клонится, качается лесок мачт в бухте. Волны с ночной неприветливостью плещут в каменные глыбы, наваленные в воде за узкой и длинной полосой мола. Впереди невысоко висят в небе два крупных огня, мутно-синий и сумрачно-красный.

Торчащая в небе мачта лодки, ожидающей в конце пристани, клонится, шатается, ходит по звездам шире всех, то высоко вырастая, то глубоко падая вниз. Носильщик негромко окликает людей, что-то делающих в лодке, шагающих с валкой кормы на нос и с носа на корму. Они кидают в ответ ему что-то односложное. В этот поздний час они кажутся людьми, тайком затевающими что-то недоброе. Уезжающий доверчиво хватается чью-то жесткую руку и прыгает на качающуюся корму. За ним падают его чемоданы. И тотчас же бледное полотнище паруса, вдруг потянувшееся вверх с шумом и трепетом, закрывает звездное небо, лодка ныряет так глубоко, что с головы до ног обдает холодными брызгами, затем круто валится на бок и быстро несется вперед, остро рубя, рассекая шумно взлетающую и быстро кипящую вдоль бортов воду, широко заворачивая навстречу свежему, тугому ветру, водянисто холодающему лицо, — на какие-то бесконечно далекие, бледные огни...

¹ «Спокойной ночи!» (англ.)

К РОДУ ОТЦОВ СВОИХ

Дивны дела твои, и душа моя
вполне понимает это.

Псалтырь.

I

На раннем рассвете, почти в темноте и в густом тумане, привезли из города пожилую черничку и огромный гроб, черный с белыми крестами, который полулежал возле нее в тарантасе, упираясь узким концом в козлы, а широким в полуоткинутый верх. Пустой, по-осеннему мертвый двор усадьбы, по которому туман шел из сада сонным, мрачным дымом, весь серел крупной сизой изморозью. Дом за туманом рисовался темно и смутно, казался нежилым, угрюмым. И зловеще краснели в его дальнем, крайнем окне огни трех свечей. От бессонной ночи черничка и кучер промерзли до костей, похудели, были бледны, безжизненны. Кучер поехал от крыльца к каретному сараю — отпрягать отупевших от долгой дороги, обросших туманом лошадей. Черничка прошла через темные сени и вошла в сумрак, в сонное тепло дома. Девка, спавшая на конике в прихожей, испуганно вскочила и села, ничего не понимая. Но через минуту она уже говорила оживленным и дружественным шопотом, помогая черничке раздеваться и расспрашивая, очень ли та озябла, когда выехали из города и сколько ~~дал~~ за гроб. Она зажгла и отнесла в зал, где со всех сторон были заперты двери, керосиновую лампу, запалила на окне в прихожей шумевшую спиртовку... И когда тепло и душисто запахло кофе, черничка, крестясь и садясь за стол, почувствовала несказанную сладость жизни.

Все в доме еще спали, измученные горем и тем беспорядком, что внезапно воцарился в нем с роковой прошлой ночи.

— И барыня, слава богу, заснули, — шопотом говорила девка, подавая хлеб и масло. — Не приведи бог, как плачут, убиваются!

Черничка, намазывая хлеб маслом, спросила:

— А он где лежит-то?

Девка неопределенно и боязливо кивнула на запертые двери:

— За маленькой гостиной.

— Один?

— Один. Сперва при нем старик был с нашей деревни, да у них молотилка сломалась, он и бросил читать, ушел ее чинить.

Черничка неодобрительно качнула головой:

— Нехорошо. Одному покойнику нельзя лежать...

И она жадно стала пить горячий кофе, поглядывая на эти высокие, таинственно закрытые двери. Он был где-то там, за ними, в глубине дома. Он лежал и ждал ее, и в уме ее уже привычно звучало:

— Как овец, заключает их в преисподнюю... Смерть будет пасти их... Могила жилище их... Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света...

Огонь в лампе пожелтел, в зале светлело, туман за окнами стал голубой, прозрачный. Вновь наступающий день сулил живым только привычную сладость земных дел и забот. Для него, для того, кто еще позавчера сидел вот за этим столом, а теперь лежал и ждал черничку, это был последний, самый последний день на земле. Могут потом проходить века, тысячелетия — все равно: его, бывшего хозяина этого дома, уже никогда не будет. Нынче, даже сейчас, как только все проснутся, его навеки, до скончания времен, положат в то, ни на что в мире не похожее, всему миру чуждое и враждебное, что всю ночь тряслось рядом с черничкой в тарантасе, покачиваясь и постукивая в тумане и мраке по осенней промерзлой дороге. Но черничка не думала об этом, — с радостью отогревалась, с наслаждением пила и ела, с удовольствием соображала, что сейчас надо приказать внести гроб в дом, позвать работников и заставить их сделать все, что полагается, не как попало, а под своим наблюдением.

II

Утро наступило ясное, тихое. Часам к девяти все нужное было сделано. Теперь всем осталось только ждать следующего утра. И вот он течет, длится, этот последний, самый последний день.

С позапрошлой ночи усадьба вдруг стала доступна для вся-

кого. Смерть широко распахнула двери пораженного ею и лишившегося своей обычной сокровенности человеческого гнезда. И вчера весь день шли и шли в усадьбу все те, что почему-то желали взглянуть на покойника,—всякие проезжие и прохожие, калеки и нищие, мужики и бабы (не только свои, но и чужие, заречные). Идут они и нынче. Без спросу, без стеснения подходят они к парадному крыльцу, возле которого стоймя стоит и так и бьет в глаза своими страшными очертаниями и своей высотой черная с белым крестом крышка, заглядывают внутрь настежь растворенного дома, в пролет его больших горниц, входят, идут и доходят до той, самой последней, которая превратилась теперь в некое подобие часовни: там пугливо и любопытно толпится и смотрит народ, там певуче и немолчно звучит горестный и покорный голос — «ибо ты возвращаешь человека в тление... ибо ты говоришь: возвратитесь, сыны человеческие... ибо перед очами твоими тысяча лет как день один», — там, среди белого дня, при солнце, которое косо заглядывает в окно, выходящее в сад, оранжевым прозрачным пламенем горят толстые свечи, тонко синее литургически-пахучий дым ладана, еще не рассеявшийся после панихиды, а весь угол занят огромным смертным одром: составленными столами и пышным в своей мрачной и великолепной новизне, до половины покрытым парчовой ризой гробом, возглавие которого поражает чудовищно и безобразно распухшим фиолетовым ликом в крупных и сквозных серых усах, круто поднятой и закаменевшей под выпирающей крахмальной манишкой грудью с высоко и неуклюже лежащими на ней в вылезших манжетах руками, толсто налитыми лиловым воском, и сиреневыми ногтями их.

А вокруг дома, в усадьбе, все полно осенней прелести. В розовом саду вкочнут сытые дрозды, стоит блаженная тишина, тепло, кротость, медленно падают легкие листья. На дворе сладко дремлют борзые. На желтом соломенном скате крыши сидят, хохлятся против солнца белоснежные голуби. Над людской избой буднично и спокойно тянется к бледно-голубому небу серый дымок, из ее раскрытых окон приятно пахнет кухонным чадом, слышны голоса и смех праздных работников, своим куреньем и бездельем раздражающих кухарку, обремененную большой и сложной стряпней на завтра.

А на деревне, на гумнах ладно выбивают дробь цепы, мерно и однообразно стучат веялки, ровно гудят молотилки, обещая жизнь долгую, мирную, благоденственную. Все дорожат и наслаждаются каждой минутой чудесной погоды и дружной, спорой работы. С веселым ревом, неустанно и густо засыпая гумно дымящейся соломой, беспощадно сокрушаемой и извергаемой мощным зубастым барабаном, снова гудит новая рязанка Семена: он богат и горяч,— в один миг добыл мастера и поправил

ее, и теперь сам подает и думает, что уж нет, шалишь, больше не доверит он дуракам сыновьям машину.

— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род... Но человек в чести не будет: он уподобится животным, которые погибают...

Семен знает это лучше всякого... и, весь серый от пыли, от мякины, с кровавыми, воспаленными глазами, с хоботьем в бороде, отклоняя потное, засыпанное и разъедаемое сором лицо от зерна, остро бьющего из-под бешено рвущего и ревущего барабана, только успеваешь покрикивать:

— Бабы, подавай! Бабы, веселей!

III

Ночью светит молодая туманная луна. Легкая дымка стоит в светлом, мертвом, беззвучном саду. На гумне, не нарушая тишины, а только еще больше давая ее почувствовать, жалобно тьявкает совка.

Тишина, пустота и на дворе усадьбы, одиноко краснеет окно в людской избе. Работники за ужином, по случаю покойника, выпили. После ужина они сидели и курили, уже вялые, позевывая.

А там, в доме, в этой страшной горнице, похожей на часовню, стояла благоговейная тишина. Только дрожал, дрожал сонный сумрак в углах, чуть потрескивали, нагорая и оплывая горячим воском, свечи, и то блистал, то темнел под их ярким, но неровным пламенем сизый чудовищный лик с розовой ватой в ноздрях. И однообразно, кротко и укоризненно звучал певучий женский голос:

— И мудрые умирают, равно как невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество другим...

— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами...

— Но человек в чести не будет; он уподобится животным, которые погибают... Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света...

— Обратись, господи! Научи, как исчислять дни наши, дабы нам приобрести сердце мудрое...

IV

Наутро все проснулись с одной мыслью: нынче!

И колокол уже звал, звал.

Утро было особенно прекрасно. Особенно тих и счастлив был розовый сад, медленно выходявший из голубого тумана, таявшего от солнца.

Но колокол звал, звал. И опять шли и шли через двор. Какая-то длинная женщина в серой шали зачем-то вела с собой двух своих девочек, шедших покорно, с любопытно расширенными глазами.

Последним пришел лесник, старый друг покойного по молодости и по охоте.

Он шел через сад, по сухой земле липовой аллеи, где было так тихо, что слышен был каждый падающий листик, и тонко пахло и сладким ароматом листвы, поджаренной солнцем, и свежестью тумана, теперь уже сиявшего в саду лазурным газом. Он шел спокойно. Спокойно прошел и по дому. Но, войдя к покойнику, беззащитно возвышавшемуся в гробу во всем смертном позоре среди толпы, наполнявшей комнату, увидав блеск свечей, столь странный среди солнечного света, и безобразное лицо, синевшее в дыму ладана, вдруг побледнел, упал на колени, торопливо закрестился, а потом кинулся к гробу так неистово, стал так страстно впиваться в ледяные и зловонные губы своего господина и друга, что и все вокруг побледнели...

V

В полдень все кончилось.

Мирную жизнь живых уже ничто более не нарушало. Его, этого страшного существа, потерявшего облик и подобие божие, уже не было, и все возвратилось на обычную стезю свою.

За церковью, против окон алтаря, в блеске спокойного и кроткого солнца, лежал длинный глиняный бугор. Но он уже никому не был ни нужен, ни страшен.

ЛАНДО

У смерти все свое, особое.

Возле ворот дачи стоит огромное старое ландо, пара черных больших лошадей: приехал из города хозяин дачи. Что-то необычное, чрезмерное в этом ландо и в этих лошадях. Почему? Оказывается, что лошадей и ландо дал хозяину дачи его приятель, содержатель бюро похоронных процессий. Кучер, сидевший на козлах, сказал:

— Это ландо из *погребательной* конторы.

И, в довершение всего, черная борода кучера имеет цвет сухой ваксы: крашенная.

УБИИЦА

Дом с мезонином в Замоскворечье. Деревянный. Чистые стекла, окрашен хорошей синеватой краской. Перед ним толпа и большой автомобиль, казенный. В растворенные двери подъезда виден на лестнице вверх коврик, серый, с красной дорожкой. И вся толпа смотрит туда с восхищением, слышен певучий голос:

— Да, милые, убила! Вдова молодая, богатого купеческого роду... Любила его, говорят, до страсти. А он только на ее достаток льстился, гулял с кем попало. Вот она и пригласила его к себе на прощанье, угощала, вином поила, все повторяла: «Дай мне на тебя наглядеться!» А потом и всадила ему, хмельному, нож в душу...

Открылось окно в мезонине, чья-то рука в белой перчатке дала знак автомобилю. Машина зашумела, народ раздался. И вот она показалась — сперва стройные ноги, потом полы собольей накидки, а потом и вся, во всем своем наряде — плавно, точно к венцу, в церковь, стала спускаться вниз по ступенькам. Бела и дородна, черные глаза и черные брови, голова открыта, причесана гладко, с прямым пробором, в ушах качаются, блещут длинные серьги. Лицо спокойно, ясно, на губах ласковая улыбка — ко всему народу... Вошла в машину, села, за ней вошли власти, человек в ловкой шинели строго и недовольно глянул на любопытных; хлопнула дверца, машина сразу взяла с места...

И все, глядя вслед, с восхищением:

— И-их, покатили, помчали!

СЛОН

Худенькая, живоглазая девочка, похожая на лисенка, необыкновенно милая от голубой ленточки, бантом которой схвачены на темени ее белобрысые волосики, во все глаза смотрит в зверинце на покатуя шершавую громаду слона, тупо и величаво обращенную к ней большой, широколобой головой, лопухами облезлых ушей, голо торчащими клыками и толстой, горбатой трубой низко висящего хобота с черно-резиновой воронкой на конце. Тонким голоском:

— Мама, отчего у него ноги распухли?

Мама смеется. Но смеется и сам слон. Склоняя широколобую голову, смотрит и он на девочку, и в его свиных глазках явно блещет что-то хитрое и веселое. Он от удовольствия весь раскачивается, начинает волновать хобот — и вдруг, в трогательной беспомощности, в невозможности иначе выразить свои чувства и мысли, крутым нагибом взвивает его кверху, показывая его исподнюю влажно-телесную мякоть, рога обнаженных клыков и нелепо-маленький рот между ними, с мучительным наслаждением катит из своих страшных недр глухой гром, рокот, потом мощно и радостно-глупо трубит, сотрясая весь зверинец.

А за обедом прибавили цветную капусту и были гости, — полнеющая, но еще моложавая и красивая дама с черноглазым мальчиком, очень молчаливым и внимательным.

И мама рассказала о слоне и о том, как спросила девочка о его ногах. И девочка поняла, что она сказала смешно и что ею восхищаются, и стала изгибаться, вертеть головкой, неожиданно и не в меру звонко захохотала.

— Прелестный ребенок! — задумчиво сказала дама, без стеснения глядя на нее.

И она заболтала ногами и капризно повторила:

— Нет, мама, правда: отчего у него ноги распухли?

Но мама улыбнулась уже нарочно и заговорила с дамой о чем-то другом, совсем неинтересном. И тогда, искоса поглядывая на мальчика, девочка ерзула со стула, подбежала к буфету и, чтобы опять обратить на себя внимание, стала пить воду прямо из горлышка графина, задыхаясь, булькая и обливая себе подбородок. А когда совсем облилась и захлебнулась, бросила и заплакала.

ТЕЛЯЧЬЯ ГОЛОВКА

Мальчик, лет пяти, веснушчатый, в матроске, тихо, как замороженный, стоит в мясной лавке: папа пошел служить на почту, мама на рынок и взяла его с собой.

— У нас нынче будет телячья головка с петрушкой,— сказала она, и ему представилось что-то маленькое, хорошенькое, красиво осыпанное яркой зеленью.

И вот он стоит и смотрит, со всех сторон окруженный чем-то громадным, красным, до полу висящим с железных ржавых крючьев короткими, обрубленными ногами и до потолка возвышающимся безголовыми шеями. Все эти громады спереди зияют длинными пустыми животами в жемчужных слитках жира, а с плечей и бедер блещут тонкой пленкой подсохшего тучного мяса. Но он в оцепененье смотрит только на головку, которая оказалась лежащей прямо перед ним, на мраморной стойке. Мама тоже смотрит и горячо спорит с хозяином лавки, тоже огромным и тучным, в грубом белом переднике, гадко испачканном на животе точно ржавчиной, низко подпоясанным широким ремнем с висящими толстыми сальными ножнами. Мама спорит именно о ней, о головке, и хозяин что-то сердито кричит и тычет в головку мягким пальцем. О ней спорят, она же лежит неподвижно, безучастно. Бычий лоб ее ровен, спокоен, мутно-голубые глаза полузакрыты, крупные ресницы сонны, а ноздри и губы так раздуты, что вид имеют наглый, недовольный... И вся она гола, серо-телесна и упруга, как резина...

Затем хозяин одним страшным ударом топора раскроил ее на две половины и одну половину, с одним ухом, одним глазом и одной толстой ноздрей швырнул в сторону мамы на хлопчатую бумагу.

РОМАН ГОРБУНА

Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание:

— Будьте в субботу пятого апреля, в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади. Я молода, богата, свободна и — к чему скрывать! — давно знаю, давно люблю вас, ваш гордый и печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой — букетик фиалок...

Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизни! В субботу он сходил к парикмахеру, купил новые (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой, под цвет костюму) галстук; дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими; на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, наряженный, он сел в кресло, — как гость, как чужой в своей собственной квартире, — и стал ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся, все-таки сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю шляпу, взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой — зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью, присущей горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же быстро вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, — горбунья.

Беспощаден кто-то к человеку!

1920

МОЛОДОСТЬ

Студент был с большим, ровным носом, весь как будто деревянный, прямоугольный, высокий, носил длинный, широкоплечий сюртук темнозеленого сукна, узкие (совсем военные) панталоны со штрипками, шегольские николаевские ботинки. Студент был постоянным гостем, своим человеком во многих богатых гостиных, — всегда оживленный, готовый на любезность, на услугу, тело держащий в постоянном наклоне вперед, сияющий гладким пробором. Студент появлялся на первых представлениях в театрах, а после них у Кюба, на ты сошелся — и так незаметно, просто — кое с кем из золотой молодежи, бывающей там...

Но вот приехал в Петербург его земляк, товарищ по пензенской гимназии, стал искать его с настойчивостью провинциала: и оказалось, во-первых, что живет студент бог знает где, по Шлиссельбургскому шоссе. Добравшись туда, земляк вошел в глубочайший двор громадных кирпичных корпусов, темно глядевших несметным числом голых окон, мелких квартир. Он долго ходил, ища дворника, долго добивался на пороге полуподземной дворницкой, где тут студент такой-то; и оказалось, во-вторых, что надо было спрашивать квартиру не студента, а вдовы такой-то, его матери, что студент живет при ней, равно как и его сестра, муж которой сидит в сумасшедшем доме.

После этого товарищ нашел наконец подъезд номер девять, вернее, просто черный ход, и без конца поднимался на седьмой этаж по крутой и темной лестнице, на одной площадке которой неподвижно сидели против черной кошки два серых кота: кошка была точно в нарядном трауре, с белыми лапками и пушистой белой грудкой, была чиста, сыта, ежилась уютно и спокойно, жмурилась небрежно, сонно, коты же были тощи, шершавы, сидели напряженно, подняв плечи, не сводя с нее узких, злых

глаз, и было видно, что сидят они и кошка уже очень давно и могут просидеть еще хоть сутки. А на седьмом этаже не сразу отворили,— после звонка, как это часто бывает в подобных квартирах, послышался за дверью женский испуганный голос: «Мамаша, звонят!» и кто-то куда-то пробежал, чем-то прошлепал. Когда же отворили, гость очутился в крохотной прихожей, перед пожилой женщиной, которая, при всей своей наружной кротости, стала, однако, так, точно была готова на все, лишь бы не дать гостю шагнуть дальше. Это была женщина уже седеющая и вся какая-то мягкая.

— Что вам угодно-е? — спросила она вежливо, но стойко.

И гость забормотал:

— Простите, здесь живет студент такой-то?

— Здесь. А позволите спросить, вы к нему по какому делу?

— Я, видите ли, его земляк, товарищ по гимназии...

— Но, простите, я вас что-то не помню. Я знала всех товарищей Вити, а вот вас...

И тогда ребенок, который стоял, прятался за ее юбкой, закрывая лицо решеткой пальцев, и сквозь пальцы пристально следил за гостем, вдруг кисло, нехотя и с отвращением заплакал, продолжая, однако, следить за ним...

А дальше оказалось, что живет студент в комнате удивительно узкой и длинной, притом такой холодной, что даже по воздуху в ней видно было, как она холодна. Между двойными рамами ее единственного окна лежал толстый вал дымчатой, дешевой ваты, но это тепла не прибавляло. Зато порядок царил во всем редкий: на полу ни пушинки, железная койка прикрыта серым жестким одеялом без единой складки, лекции и книги — между ними французский самоучитель Туссэна — лежат на столике с полнейшим соблюдением симметрии, заветный широкоплечий сюртук, распаянный на деревянной распорке, висит на стене за чистой простынею, николаевские ботинки блещут под ним на колодках...

И был студент дома вовсе не такой, как в свете, в гостиных: приветлив, но сух, серьезно-грустен. И все поглядывал куда-то в свое холодное окно. За окном же, с семиэтажной высоты, было далеко видно: плоско белели бесконечные снежные пустыни,— нечто столь скучное, ненужное, что возможно только возле Петербурга.

БЛАГОСКЛОННОЕ УЧАСТИЕ

В Москве, — ну, скажем, на Молчановке, — живет «бывшая артистка императорских театров». Одинока, очень немолода, широкоскула, жилиста. Дает уроки пения. И вот что происходит с ней каждый год в декабре.

Однажды в воскресенье, — положим, в очень морозное, солнечное утро, — раздается в ее передней звонок.

— Аннушка! Звонят! — испуганно кричит она из спальни кухарке.

Кухарка бежит отворять — и даже отступает: так блестящи, нарядны гости — две барышни в мехах и белых перчатках и фронт студент, их сопровождающий, насквозь промерзший в своей легкой шинельке и тонких ботинках.

Гости долго ждут в холодной гостиной, янтарно озаренной сквозь морозные узоры окон, затем слышат быстрые шаги хозяйки и поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнована, — знает, в чем дело, — густо напудрила лицо, надушила крупные, костлявые руки...

— Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать, — с очаровательной улыбкой и самой светской неприужденностью говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение.

— Это вы нас простите за беспокойство, — с отменной почтительностью перебивает ее студент, кланяясь и целуя ее руку. — Являемся к вам с усердной и покорнейшей просьбой. Комитет по устройству традиционного литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных воспитанников пятой московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников.

— Господа, если можно, увольте! — очаровательно начинает она. — Дело в том...

Но барышни нападают на нее так дружно, горячо и лестно, что она не успевает сделать даже этой слабой попытки отказаться, уклониться...

После того проходит целых три недели.

И целых три недели Москва работает, торгует, веселится, но, среди всех своих самых разнообразных дел, интересов и развлечений, втайне живет только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех ее улицах и перекрестках: «На дне», «Синяя птица», «Три сестры», Шалапин в «Русалке», Собинов в «Снегурочке», Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина... Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая зеленая афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии. А сама участница безвыходно сидит в это время дома и работает, не покладая рук, дабы не обмануть ожиданий Москвы, — без конца выбирает, что петь, с утра до вечера пробует голос, разучивает то то, то другое... Дни идут теперь необыкновенно быстро, и эта быстрота уже приводит ее в ужас: и оглянуться не успеешь, как настанет это страшное двадцать седьмое декабря!

Она прекратила давать уроки, никого не принимает и сама не выходит из дому, боясь схватить бронхит, насморк. С чем именно выступать? Публика и не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытного артиста! Какое нужно проявить тут чутье, сколько вкуса, такта, опыта! После долгих и мучительных сомнений, колебаний, дело, однако, кончается тем, что она останавливается на своем старом, неизменном репертуаре, — снова проходит три вещи: одну французскую, нежную и грустную, чарующую, как колыбельная песня, где, впрочем, скрыта огромная страсть, сила и боль любящей женской души, безумно жаждущей счастья и жертвенно от этого счастья отрекающейся; другую — полную блеска колоратуры и русской удали; и затем — свою коронную: «Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц», которой, как всегда, можно блеснуть особенно, дать ее «с огоньком», игриво, молодо и оборвать на таком отчаянно-высоком и ликующем звуке, чтобы весь зал дрогнул от рукоплесканий. Кроме того, она готовит двенадцать вещей на бис... Дни мелькают, мелькают, и в душе у нее уже растет такое чувство, точно близится час ее казни. Однако она работает, работает. И вот настает наконец этот последний, роковой день!

Утром двадцать седьмого декабря все силы ее доведены до

предельного напряжения. Утром еще одна репетиция, но уже последняя, генеральная. Она поет уже как бы на эстраде: полным голосом, со всей выразительностью художественности, проходит с аккомпаниатором всю свою программу — и чувствует: работа не пропала даром! Но кто все-таки знает, что ждет ее вечером? Триумф или гибель? Лицо ее пылает, руки как лед... После репетиции она идет в свою спальню, раздевается и ложится в постель. Аннушка приносит ей нечто совершенно необычное — зернистой икры, холодного цыпленка и портвейну: так, в день выступления, завтракают все большие артистки. Покушав, она велит задернуть шторы, уйти и хранить в доме полнейшую тишину, а сама закрывает глаза и, в темноте, без единого движения, лежит, стараясь ни о чем не думать, ничем не волноваться, час, другой, третий — вплоть до шести часов вечера. В шесть вскакивает: резкий звонок в передней — парикмахер!

С бьющимся сердцем, с пылающими ушами и скулами, накапывает она себе ледяной рукой целых сорок капель эфирно-валерьяновой микстуры и, в халатике, с распущенными волосами, как дева, которую пришли убирать, готовить на заклятие, садится перед зеркалом. Парикмахер входит, предварительно согревши руки над плитой в кухне, и говорит ободряюще:

— Чудная погода! Изрядный морозец, но чудно!

Он работает изысканно и медленно, чувствуя и себя участником предстоящего события, вполне понимая и разделяя ее артистическое волнение, будучи и сам натурой артистической. Он своими небрежно-легкими разговорами, шутками и вообще всей своей опытностью в таких делах, равно как и твердой верой в ее предстоящий успех, мало-помалу успокаивает ее, возвращает ей силы, мужество, надежды... Но когда он кончает свое дело и, осмотрев его со всех сторон, убеждается, что лучше уже ничего нельзя сделать из этой великолепной завивки и прически, уходит, а часы в столовой медленно бьют семь, у нее опять начинает замирать сердце: в восемь с половиной за ней явятся!

Затем бьет восемь, а она все еще не готова. Она опять пила капли, — на этот раз гофманские, — она надевает свое лучшее белье, румянится, пудрится... В восемь же с половиной раздается новый звонок, который поражает ее как громом: приехали! Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, — она тоже сама не своя, — не может сразу отворить дверь...

Они — на этот раз два студента — приехали в огромной старозаветной наемной карете, запряженной двумя исполинскими клячами. Они тоже франты и тоже без калош, и ноги у них тоже окаменели с морозу. В гостиной, как всегда, холод и скучно горят пахнувшие керосином лампы. Они терпеливо сидят в одних мундирах, блестя зеркальными головами, благоухая фиксауа-

ром и бриллиантином, с большими бантами из белого атласа на груди, точно шафера. Они сидят молча, ждут вежливо и стойко, смотрят на запертые со всех сторон двери, на мерзлые стекла, мерцающие синими и красными огоньками, на рояль, на портреты великих певцов и певиц по стенам, слушают глухой звон и гул трамваев за окнами, тревожные шаги Аннушки и самой артистки за дверями... И так проходит четверть часа, полчаса, сорок минут... как вдруг одна из дверей неожиданно распахивается. Они, как по команде, вскакивают с мест, а артистка быстро, с очаровательно-беспечной улыбкой, идет к ним навстречу:

— Ради бога, простите, господи, я, кажется, заставила вас ждать... Что, разве уже пора? Ну, что же, едем, если угодно, я готова...

На скулах ее даже сквозь румяны и пудру горят багровые пятна, изо рта пахнет ландышевыми каплями, от рук кремом, от воздушного платья из дымчатого газа духами. Она похожа на Смерть, собравшуюся на бал. На ее сложную и высокую прическу, на завитые и взбитые со всех сторон серые волосы накинута что-то черно-кружевное, испанское, на голые плечи с огромными ключицами — шубка из белой кудрявой козы... И студенты со всех ног кидаются за ней в прихожую. Тот, что худее и выше, хватает ее ботинки и, быстро став на одно колено, ловко надевает их на ее черные атласные туфельки с алмазными пряжками и слышит, как пахнет мышами из-под ее подмышек, когда она наклоняется, чтобы помочь ему, а вместе с тем и скромно одернуть подол на белые кружевные зубчики панталон...

Она пела и про тучу, которая с громом повстречалась, и про какое-то убежище, — «в убежище сюда направил нас господь», — и с особенным блеском «Я б тебя поцеловала...» Критикан старичок, сидевший в первом ряду, едко при этом захихикал, закрутил головой — весьма недвусмысленно: покорно, мол, благодарю, пожалуйста, не целуй... И все-таки остался в дураках: успех артистка имела колоссальный, ее без конца вызывали и заставили бисировать — особенно чуткая молодежь, стоявшая в проходах, кричавшая даже грозно и бившая в сложенные ковшиком ладони с страшной гулкостью.

ГРИБОК

Сквозь утренний морозный туман и утренние дымы города — розово-янтарное солнце, мягко, весело, уютно озаряющее номер «Северной гостиницы». Внизу, за окнами, огромная людная площадь, весь серый от инея плечистый, коренастый царь-мужик на своем упрямом и могучем свиноподобном коньке, возбуждающие звонки, гул и скрежет трамваев, все время кругами обходящих его... Хорош Петербург! Приезжий только что из Москвы, отлично выспался в теплом купе, за которым всю ночь густо шли черно-зеленые, в белом сахаре, еловые леса, и впереди у него целый день суеты и наслаждений: солнце, мороз, резвый лихач, сизые ущелья великолепных проспектов и улиц, одно интересное свиданье, другое, еще более интересное, потом завтрак с одним приятелем и обед с другим... Приезжий раскрыл чемодан, разбросал что куда попало — на постель, на кресла, на бархатную скатерть круглого стола перед диваном, поспешно бреется, моется, переодевается... Сейчас коридорный принесет до теплоты расчищенные ботинки, а лакей во фраке — горячий кофе и горячий калач, он же сам уже будет к тому времени весь сиять чистотой, нарядностью, моложавостью — белоснежной рубахой, мраморными воротничками, шелковым красивым галстуком, шелковыми черными подтяжками, яркими глазами, нежностью и свежестью припудренных щек, мокрым блестящим прибором... Вдруг осторожный стук в дверь.

— Кто там?

Стук громче.

— Кто это? Войдите!

И дверь тихонько отворяется, и в комнату несмело заглядывают лисьи глазки небольшого лысого человечка:

— Виноват, вы господин такой-то?

— Да. Что вам угодно?

— Позвольте рекомендоваться: делопроизводитель такого-то учреждения, из Твери. Находясь по личным надобностям в Петербурге, проживаю рядом с этой гостиницей, в номерах таких-то. Вышел купить кое-чего к утреннему чаю и проходил у вашего подъезда как раз в ту минуту, когда вы входили в него прямо с вокзала. Лицо показалось знакомым,— у вас большое сходство с вашим братцем, живущим в Твери, да вы и сами бываете у нас от времени до времени,— спросил у вашего швейцара ваше имя, отчество и фамилию и убедился, что не ошибся. Счел, как земляк, долгом представиться и, пользуясь счастливым случаем, повидаться, побеседовать — между прочим, и кое о чем, вас лично касающемся и вам еще, может быть, неизвестном, а меж тем весьма значительном... Разрешите войти на минутку?

— Простите, я очень спешу. Очень рад, но... И в чем, собственно, дело?

— Прекрасно, прекрасно, навещу вас, если позволите, вечером или завтра утречком...

— К сожалению, я вернусь нынче очень поздно...

— Ну, тогда завтра. Во всяком случае, надеюсь, еще увидимся,— я пробуду здесь еще с недельку. А что до дела, то позвольте пока, до более подробного разговора, изложить его вкратце. Я счел долгом немедленно предупредить вас о нем, собственно, по той причине, что заключается оно вот в каких печальных обстоятельствах: дом, купленный, как вам известно, не так давно вашим братцем в Твери на такой-то улице, неминуемо обречен на гибель: *в нем грибок*. Вашего брата злостно обманули. Дом новый, прекрасный, продан за бесценок, но именно потому-то и продан так: в нем грибок, от которого, как вам опять-таки должно быть известно, нет совершенно никакой защиты. Конечно, братец ваш мог бы поторопиться перепродать его. Но несчастье углубляется тем, что теперь уже весь город знает, что в нем грибок. Так что теперь его даже и за грош никто не возьмет.

— Очень благодарю вас за внимание. Но простите — стоило ли вам спешить с такой печальной вестью! Да и зачем, раз дело, как вы говорите, совершенно безнадежно?

— Увы, не скрою: вполне безнадежно.

— Ну и бог с ним совсем! Какой грибок, что за грибок?

— А вот я вам сейчас расскажу.

— Но повторяю — я очень спешу.

— Не беспокойтесь, я в двух словах. Изволите ли видеть: всякое жилище, построенное из сырого леса, который заражен так называемым «домовым грибком», то есть известного рода червяком-вредителем, неминуемо превращается в течение некоторого (и часто даже очень короткого) времени в труху, в прах.

Вредитель этот, размножаясь и распространяясь с поразительной быстротой в том древесном материале, который стал его, так сказать, случайным пристанищем, буквально пожирает строенье. Для примера приведу вам случай, недавно опубликованный в газетах и имевший место в Челябинске: там в один год погибло ни более ни менее, как целых тридцать домов,— цифра поистине ужасная! В один год они были заражены и разрушены сверху донизу! Если же принять во внимание, что дом вашего братца...

Кончается все это тем, что приезжий убивает делопроизводителя из Твери кувшином с умывальника и отдается в руки правосудия.

1930

УЩЕЛЬЕ

Лесистое ущелье, предвечернее время.

Зеленой кудрявой смушкой, зеленым каракулем кажется издали густой лес, покрывающий горные скаты против аула. В лесу кто-то жжет костер, голубой дымок далеко тянется над зеленой смушкой, и его пряный запах мешается с миндальной свежестью леса.

Синее небо над горами бездонно и ясно, — лишь впереди, где ущелье сомкнулось, отвесно стоит в лазури витое из белоснежных клубов облако.

А там, в ауле, непрерывно звучит, восторженно плачет, переливно зовет и вопит роговая дудка: звук горловой, дикий, чарующий и страшный, слушая который, думаешь о горных козлах, о весенней, грозной поре их страсти.

Это танцуют на крыше сакли подростки татары: один стоит, надул губы, выпучил белки — играет на дудке, два других, пристально глядя в глаза друг другу, положив руки друг другу на плечи, подсакивают козлами, крепко топают на одном и том же месте.

Куда, в какую райскую пропасть устремлен их напряженный, радостный, остановившийся взгляд?

На соседней сакле сидит на корточках, вся сжалась и не спускает с них глаз девочка-подросток. Она худенькая, но уже длинная; она еще в одной рубахе, черная головка ее еще раскрыта; но глаза уже дивны и жутки, как у архангела...

Какое душу раздирающее блаженство в дудочных перегибах и воплях!

1930

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Лето, именье в лесном западном краю.

Весь день проливной свежий дождь, его сплошной шум по тесовой крыше. В притихшем доме сумрак, скучно, на потолке спят мухи. В саду покорно никнут под водяной бегущей сетью мокрые деревья, красные цветники у балкона необыкновенно яркие. Над садом, в дымном небе, тревожно торчит аист: почерневший, похудевший, с подогнутым хвостом и обвислой косицей, стал на краю своего гнезда в верхушке столетней березы, в развилине ее голых белых сучьев, и порой, негодуя, волнуясь, подпрыгивая, крепко, деревянно стучит клювом: что же это такое, потоп, настоящий потоп!

Но вот, часа в четыре, дождь светлей, реже. Ставят самовар в сенцах — бальзамический запах дыма стелется по всей усадьбе.

А к закату совсем чисто, тишина, успокоенье. Господа и те, что гостят у них, идут в бор на прогулку.

Уже синеев вечер.

В просеках бора, устланных желтой хвоей, дороги влажны и упруги. Бор душист, сыр и гулок: чей-то дальний голос, чей-то протяжный зов или отклик дивно отдается в самых дальних чащах. Просеки кажутся узки, пролеты их стройны, бесконечны, уводят своей вечерней далью. Бор вдоль них величаво громаден, стоит темно, тесно; мачты его в верхушках голы, гладки, красны; ниже они серы, корявы, мшисты, сливаются друг с другом: там мхи, лишай, сучья в гнили и еще в чем-то, что висит подобно зеленоватым космам сказочных лесных чудищ, образуют дебри, некую дикую русскую древность. А пока выходишь на поляну, радуется юная сосновая поросль: она прелестного бледного тона, зелени нежной, болотной, легка, но

крепка и ветвиста; вся еще в брызгах и мелкой водяной пыли, она стоит как бы под серебристой кисеей в блестках...

В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака,— все время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами, в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милом. И все усмехались — знали, отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна. Но глядела небрежно и брезгливо.

1930

НЕБО НАД СТЕНОЙ

В солнечное зимнее утро уезжаю из Рима.

Хмельной, возбужденный старик, везущий меня на вокзал, в одном пиджаке и каскетке сидящий на высоких козлах, держит локтями, гонит свою узкую клячу по тесной длинной улице, в тени и свежей сырости. Но вот улица круто поворачивает вправо, обрывается спуском на просторную площадь, на слепящее теплое солнце. Кляча с разбегу садится на задние ноги, старик, упав на бок, быстро крутит тормоз. Колеса скребут и ноют, копыта крепко цокают по камню. Впереди, в этом блеске, еще зыбком, влажном, густо дымится водяной пылью, валит в разные стороны серыми клубами огромный фонтан. А слева, рядом с нами, идет какая-то древняя руина, тянется дикая, как крепость, радостно озаренная солнцем стена, над обрезом которой ярко и густо синее небо. И старик, тормозя, косит глаза вверх, в дивное лоно его райских красок, и кричит, восклицает:

— Мадонна! Мадонна!

СВИДАНИЕ

На престольный праздник барчук верхом поехал на деревню. Девка, в которую он был тогда так романтически влюблен, вышла на крыльцо наряженная, радостно улыбнулась:

— Здравствуйте. Что ж давно не были? Вы вон когда еще были: тогда у нас сучка щенилась, а теперь уж щенята здоровые выросли...

1930

ПЕТУХИ

На охотничьем ночлеге, с папиросой на пороге избы, после ужина. Тихо, темно, на деревне поют петухи. Выглянула из окошечка сидевшая под ним, в темной избе, хозяйка, послушала, помолчала. Потом негромко, подавляя приятный зевок:

— Что ж это вы, барин, не спите? Ишь, уж не рано, *петухи* *опевают* *ночь...*

1930

МУРАВСКИЙ ШЛЯХ

Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный, пустынный большак... Много пустынных дорог и полей на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать. И ямщик мне сказал:

— Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь и все не могли пройти...

Я спросил:

— А давно?

— И не запомнит никто,— ответил он.— Большие тысячи лет!

1930

УЖАС

Месячной осенней ночью, светлой и тихой, я пешком возвращался с полевой охоты по сухим, блестящим жнивьям, пашням и проселкам и зашел ночевать на хутор, одиноко стоявший в поле. Постоянно жил на нем только сторож, а хозяин, городской прасол, лишь порой, наездом. Хутор имел вид пустынный: чистое, ровное поле, гумно от жилья далеко, а само жилье— всегнанавсего бревенчатый флигель да изба-сторожка, тоже на отлете... и ни души на обширном дворе между ними, даже не залаяла собака, когда я стал стучаться в темное окошечко сторожки. Мужик, вышедший на порог в накинута полушубке, долго не понимал спросонья, что мне надо, потом повел меня во флигель. «Вот тут и ложитесь»,— сказал он, вводя меня из маленькой прихожей в просторную хозяйскую спальню, где были только голые бревенчатые стены да широкая деревянная кровать без матраца, с одной большой подушкой. И вот, когда он вышел, лег я на эту кровать, покурил, что-то подумал о чужой, совсем не известной мне жизни какого-то мещанина, под кров которого привел меня случай, и стал забываться. Невысокий месяц мирно светил в два больших окна напротив, озарял кровать теплым золотистым блеском, и все вокруг было так просто и прекрасно, так безмолвно и спокойно... Мог ли я думать, засыпая, что так страшно будет мое пробуждение среди ночи? Я проснулся сразу, от какого-то стука. Кто-то громко стучал ко мне снаружи, в верхнюю половину оконной рамы. Стук был так страшен, что я вне себя вскочил на кровати. А вскочив, увидел, что за окном, все его затемняя, стоял кто-то громадный, черный, длинный и

покатый, лез и стучал, стараясь пробить верхние стекла. Я схватил двустволку, дико крикнул: «Кто это? Стрелять буду!» Он, не отвечая, вытянулся еще выше, надвинулся на окно еще плотнее и застучал еще громче...

Это была старая, худая лошадь, без призору шатавшаяся ночью по усадьбе. Она пришла к дому и стала чесаться об оконный наличник, вытянув шею и стуча головой в раму.

1930

ПОЖАР

Богатый мужицкий хутор.

Загорелось, когда кончали ужинать, темным и сухим осенним вечером.

Зажгли какие-то злодеи с гумна, и на нем все сгорело. Но ригу сыновья хозяина отстояли.

Хозяин, огромный, толстый мужик, все время сидел на крыльце старой избы неподвижно. На гумне был ад — так бешено орали и гасили огонь его сыновья и бабы. Он же только глядел, как странно и светло был озарен весь двор красным полымем, как блистал алым зеркалом пруд и розовыми трепетными клубами стояли над двором в высоком небе облака, освещаемые исподу. Он все говорил — очень спокойно:

— Бог дал, бог взял. Мне это все равно, я этого не чую и не чувствую.

Когда же все догорело, потухло, стал рыдать и рыдал, не переставая, сутки, лежа вниз лицом в риге возле ворот, на старновке. В темноте, в дыры ворот, сверкали на ней алые пятна солнца и ходил, ковылял одинокий белый голубок, опаленный на пожаре.

ЖУРАВЛИ

Ясный и холодный день поздней осени, еду ровной рысцей по большой дороге. Блеск низкого солнца и пустых полей, осеннее безмолвное ожидание чего-то. Но вот вдали, за мной, слышен треск колес. Прислушиваюсь — треск мелкий, быстрый, треск беговых дрожек. Оборачиваюсь — кто-то нагоняет. Этот кто-то все ближе, ближе — уже хорошо видна его во весь дух летящая лошадь, затем он сам, то и дело выглядывающий из-за нее и покрывающий ее то кнутом, то вожжами... Что такое? А он уж вот он, настигает — сквозь треск слышно мощное лошадиное дыхание, слышен отчаянный крик: «Барин, сторонись!» В страхе и недоуменье виляю с дороги — и тотчас же мимо мелькает сперва чудесная гнедая кобыла, ее глаз, ноздря, новые вожжи сургучного цвета, новая блестящая сбруя, взмыленная под хвостом на ляжках, потом сам седок — чернобородый красавец мужик, совершенно шальной от скачки и какого-то бессмысленного, на все готового иступленья. Он бешено кидает на меня, пролетая, свой яростный взгляд, поражает свежей красной пастью и смолью красивой молодой бороды, новым картузом, желтой шелковой рубахой под распахнувшейся черной поддевкой — узнаю: богатый, хозяйственный мельник из-под Ливен — и как ветер летит дальше. А пролетев с версту, сразу соскакивает с дрожек. Тут уж я гоню к нему и, приближаясь, вижу: лошадь стоит на дороге и тяжело носит боками, сургучные вожжи висят по оглоблям, а сам седок лежит на дороге возле, лицом книзу, раскинув полы поддевки.

— Барин! — дико кричит он в землю. — Барин!

И отчаянно взмахивает руками:

— Ах, грустно-о! Ах, улетели журавли, барин!

И, мотая головой, захлебывается пьяными слезами.

КАПИТАЛ

Квасник, лысый, красный, тугопузый, лихо кричит тенором на всю ярмарку:

— Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!

Высокий русый мужик в теплой шапке на затылок идет в толпе с огромным белым хлебом подмышкой и на ходу набивает им рот, жует, откидывая голову назад, раздувая ноздри:

— А почему этот квасок?

— Орел вся бутылка, семитка стакан!

— А на грош не отольешь?

— На грош, милый, и воробей не мочится!

Мужик жует, думает. Потом со вздохом, но твердо:

— Нет, на семитку не взойду. Капитал не позволяет!

КОМЕТА

На дворе и на деревне долго не верили, будто идет какая-то комета: «Это только в старину они бывали!» Наконец однажды ночью уже довольно ярко засеребрился ее прозрачный хвост, косо вскинутый в северный небосклон, за каретным сараем. Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно. Услышав стук, вышли из дому:

- Староста! Что это ты делаешь?
- Окно слуховое забиваю.
- Зачем?
- От кометы.

СТРОПИЛА

— Здравствуйте, барин, мое почтенье. Как поживаю-то? Да не бог весть как. Все мотаюсь, мещанствую. С ярманки на ярманку, с базара на базар... А ведь уже пóд сорок,— вы не смотрите, что я такой бóрзой, на ногу легкий. Одно спасенье, что своя хибарка есть,— случается, и совсем голодный придешь, ну, а все-таки домой... хотя, по совести сказать, скука мне дома теперь, не приведи бог. Сами знаете наше слободское житье: суша, жара, дни долгие... А дом пустой: жену схоронил, детей схоронил, одна мамаша покамест жива. Но только и мамаша последнее время не больно радуется: едва ноги таскает по горнице, слаба стала до крайности, слухом и зрением и того слабей, интереса или соображения — ни малейшего, худа, хоть в гроб клади. Ведь какая была женщина! По дородству, по статности, прямо игуменьей быть. А теперь — никуда: одни стропила остались.

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Слобода, бесконечный летний день.

И весь день сидит босой, распоясанный сапожник возле своей ветхой мазанки, на гнилой лавочке, подставив под солнце свою раскрытую лохматую голову. Сидит и занимается с рыжим кобельком:

— Дай лапку!

Кобелек не понимает, не дает.

— Говорят тебе, дай лапку! Ну?

Кобелек не дает. И он бьет его по морде. Кобелек с отвращением моргает, отворачивается, кисло-сладко оскалывается, неуверенно поднимает лапу и тотчас опять опускает ее. И опять пощечина, и опять:

— Дай, сукин сын, лапку!

ДЕДУШКА

Сед, густоволос, лохмат, весь день курит.

Встает ни свет ни заря и пока не закурит, не затянется — совершенно шальной, ничего не понимает.

И необыкновенно ненужен, чужд всему миру, всем чадам и домочадцам (хотя и зовут его папашей, дедушкой) и вот-вот скоропостижно помрет, навеки исчезнет из этого мещанского гнезда, из этого уездного захолустья — и поди-ка узнай тогда, расскажи, чем и для чего жил он в своем вечном табачном дурмане.

И все-то он играет какую-то роль:

— Дедушка, обедать! Лапша остынет!

— Да пообедайте, пообедайте без меня... Я потом... что останется...

А сам ждет не дождется обеда — с раннего утра.

— Папаша, вы хоть бы кальсоны переменили, ведь у вас целая укладка белья!

— Вот это спасибо! Целая укладка! Да у меня клока цельного давно не осталось! Небось, кабы было, не стал бы беречь! Мне теперь, милая невестушка, ничего не надо. Пожил, слава богу, пора и честь знать, об одном молю бога — околеть поскорей...

А сам жаден невероятно, над укладкой своей дрожит и жить хочет ужасно и твердо надеется прожить никак не менее века.

Зачем?

Но он и сам не знает, зачем.

«Чужая душа потемки». — Нет, своя собственная гораздо темней.

ПОСТОЯЛЕЦ

— Нет, батюшка, нет, теперь не сдастся. Извозчик сказал вам правду, у нас жили. Мы, действительно, прежде иногда сдавали, ну, а теперь решили совсем не сдавать, — ни за какую цену. И не просите — никак не можем. Вы меня, пожалуйста, извините, вы, я вижу, господин приятный и приличный, но что же делать? Я вас понимаю, — городок наш дикий, найти у нас помещенье трудно. Опять же человек вы приезжий, никому не известный — всякий будет стесняться: мол, будет ли платить аккуратно, да не дерзкого ли поведенья... ведь бывает — придет постоялец ночью от друга, ляжет спать хмельной, с папироской, заснет и наделает пожару... Знаю и то, что не всякое семейство будет и вам самому по вкусу, а у нас, конечно, чисто, тихо, старушки мы с сестрицей одинокие, не нахальные, домик имеем хоть и скудный, а все-таки есть и садик, и коровка... Мне вас, батюшка, сердечно жалко, но только мы уж твердо теперь согласились: больше этим делом никогда не заниматься — бог с ним совсем, пускай комната стоит пустая. Вы вот усмехаетесь, а, простите, сами не знаете, чему. Отчего именно мы так решили? А не все ли вам равно? Если же хотите знать серьезно, то извольте, объясню: оттого, что с последним постояльцем мы имели такую неприятность, которой и подобия не сыщешь. Мы, батюшка, так с ним натерпелись, что и теперь страшно вспомнить. Он, этот постоялец, сначала просто пленил нас: видим однажды утром, подъезжает к воротам извозчик с вокзала, с утреннего поезда из Тулы, сидит в пролетке молодой человек с дорожной корзинкой, не спеша слезает и направляется к калитке. Очень хромает, — левый костреч так и ходит то кверху, то книзу, подошва на левом ботинке пальца в три толщины, — но до того скромен, миловиден, такое новенькое пальтецо, такой хорошенький костылик, что мы просто залюбовались. Формен-

ная фуражка тоже только что из магазина — оказывается, чиновник, недавно поступил на службу и вот, значит, командирован из Тулы находится в нашем уезде. Застенчив на редкость, расспрашивает об условиях даже подобострастно, глаз не поднимает — стоит в прихожей, сняв фуражку, уперся в этот костыль, поднял костреч сколько можно, едва носком пола касается, смотрит куда-то вбок, в землю, весь румянцем залился и расспрашивает... Голос искательный, тихий, заикается немного... Не понравилось мне, правда, тогда же, что он избегает, не может, видно, глядеть человеку в глаза прямо, ну, да что ж, думаю себе, они, эти хромые и заики, всегда такие обидчивые, самолюбивые... Короче сказать вам, в тот же день он у нас и поселился и с месяц жил до того безупречно, что хоть бы епархиалке в пору. Напьется чаю, уйдет до обеда на службу, после обеда засядет за какую-нибудь ведомость, отчетность, что принесет с собой на дом, для вечерней работы, — и сидит, какмышь, даже дыханья не слышно... Только уж очень был не словоохотлив, да спать ложился даже как-то не хорошо рано: мы и то куда позднее — в свои козыри для развлеченья поиграем, поговорим о чем-нибудь, пошутим, а он как поужинал, как только, значит, восемь часов било, сейчас в постель и уж лампу тушит. А ведь знаете — человек молодой: ну, хоть бы какое знакомство завел, хоть бы почитал что, гитару купил бы себе или цитру! Все это меня тоже куда как к нему не располагало, ну, а сестрица и слышать ничего не хочет — души в нем не чаёт: мол, и трудолюбив, и вежлив, и все такое... Только можете себе представить, что же вдруг выходит? Чувствуем раз ночью — что-то нас сквозь сон беспокоит. Открываем глаза, а у него свет под дверью. Что за притча? Что, мол, такое, уж не захворал ли? Час уже поздний — по месяцу в окно видно, снег на крышах, хоть и блестит еще, а уж мертвеет, и так везде тихо, жутко, как, знаете, только часам к трем, к четырем бывает, а у него вдруг огонь горит! Встали мы одна за другой чуть слышно, подкралась к его двери, я глянула в шелку — и, верите ли, истинно обомлела: полыхает у него лампа — во весь фитиль пущена, — а сам он сидит в одном белье на кровати, поджал под себя хромую ногу и этак гордо, дерзко глядит против себя в стену: уперся в нее глазами, будто что на ней видит, потом как привскочит! Я вся трясусь, шепчу: «Сестрица, гляньте, гляньте!» А он как взвьется да как вскинет кренделями руки... Затряс ими да как хлопнет по ляжкам вроде крыльев, да как хватит на весь дом, во весь пегушинный голос: «Кукареку! Кукареку!» — Словом, не буду вас беспокоить долгим рассказом. Одно скажу: мы такой страсти за весь век не испытали, как за эту зиму! Ведь всю зиму кричал! Как ночь — пошла потеха! Мы, конечно, после первого же раза обратились к нему вполне

откровенно: мол, извините, что же это такое, вы, оказывается, по ночам петухом кричите, это нам слишком странно и неудобно, мы вас покорнейше просим оставить квартиру. И, представьте, что ж он нам отвечает? «Нет, говорит, простите, с квартиры я не съеду». Этак тихо, ровно, глаз не поднимая, но так твердо, как мы даже и в мыслях не держали слышать от такого вежливого человека. Мы сперва просто ушам не могли поверить: позвольте, как же это так вы не съедете с квартиры? Дом-то все-таки наш собственный, мы ведь можем и к вашему начальству обратиться! А он помолчал, помолчал, да еще тише и тверже: «Пожалуйста. Посмотрим, что из этого выйдет. Вас сочтут за сумасшедших, вашим сказкам никто не поверит». — «Да помилуйте, какие же сказки? Значит, вы хотите сказать, что вы не кричите?» — «Да-с, не кричу. Кроме вас ведь никто не слышал?» И как, знаете, поднимется со стула во весь рост, как сверкнет глазами! Прежде все только припадал да костреч отклячивал, а тут как вытянется до потолка таким командиром, как стукнет костылем! «Да-с, не кричу! Попробуйте, докажите! Зовите понятых сидеть у вас всю ночь, ждать этого крику!» А мы со страху так и поползли от него в разные стороны. Перестали после того и в столовую выходить, и чай пьем, и обедаем, и ужинаем у себя в спальне, велели кухарке ему одному подавать, он же и на это никакого внимания: поест, попьет и закостыляет в свою комнату, ровно ни в чем не бывало. А как ночь... Батюшка, он нас прямо с ума свел! С вечера ни живы, ни мертвы, — сидим, ждем этого страшного часа, когда он, значит, проснется и загорланит со всякими петушиными переливами. Кухарка тоже не спит, ждет, трясется вся: «Господи, сохрани, господи, помоги! Живой в помощи вышняго!» И куда только мы не бегали, с кем только не советовались: как быть, как нам от этой муки и страсти избавиться! А добились только того, что всему городу посмешищем стали, а пристав, у которого мы чуть не в ногах валялись, так нами под конец раздражился, что как орел стал вскакивать с кресла, завидя нас: «Вон с глаз моих долой, ведьмы, в кандалы велю заковать, по этапу в Тулу в желтый дом отправлю!» И что бы это было, что бы это, царь небесный, было, если бы этого постояльца не перевели на службу в Богородицк!

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Подмосковный дачный поезд, весь из вагонов только первого и второго класса. Идет шибко, ровно, но вдруг замедляет ход — и в одном первоклассном вагоне происходит нечто небывалое: кондуктор вталкивает в него какого-то рваного, измазанного глиной мужичишку.

— Ради бога, простите, господа,— рабочий с пути, посылается с срочным поручением в Быково, не успел, дурак, на паровоз вскочить... Только до Быкова...

Все на мгновение даже теряются от такой нелепости, но быстро овладевают собой, сдерживаются. Поезд опять идет полным ходом, и в вагоне опять все как будто попрежнему: курят, беседуют, смотрят в окна... Однако всем неловко, всем не по себе — беседуют уже притворно, курят с преувеличенной беззаботностью... А про него и говорить нечего: он стоит возле двери, готовый провалиться сквозь землю от всех этих панам, чесучовых костюмов, больших, полных тел, сытых лиц. Он не знает, куда глаза девать, рукавом вытирает потный лоб, держа в левой руке тяжело висящую до пола сумку с какими-то чугунными брусками, гайками, клещами...

И длится эта чепуха, эта мука целых тридцать пять минут.

КАНУН

В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с горы и на мост, через речку. Под мостом, на береговой отмели, отвернувшись от проезжих под навес моста и как бы для защиты подняв плечи, стоит босяк, спешно, как собака, пожирает из грязной тряпки что-то вроде начинки. А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ломовые телеги, трясутся, вися с грядок, страшные сапоги мужиков. Все в муке, — мукомолы, — все великаны и все рыжие, без шапок, в красных рубахах распояской...

А потом вагон, второй класс. И какой-то сидящий против меня господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золотых очках на плоском носу с наглыми ноздрями, все встает и, не глядя на меня, — от пренебрежения ко мне, — все поправляет на сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в себе господин, спокойный за свое благополучие и строгое достоинство...

Шла, однако, уже осень шестнадцатого года.

МАСКА

Зимним вечером на Николаевском вокзале в Петербурге. Отходят поезда в Москву. В буфетной зале шумно, тесно, все не в меру торопятся есть, пить, все одеты тяжело, жарко, по-дорожному. Круглоголовые татары лакеи носят с блюдами, как угорелые, воздух густой, пахучий, горячий...

Она сидит за соседним столиком и делает вид полного спокойствия. Я обедаю и порой поглядываю на нее. Она же притворяется, что внимательно читает газету: заказала отбивную котлету с гарниром, а пока что купила «Новое время» и, подняв брови, читает, хотя прекрасно видно, что она не понимает ни единого слова — так не идет к ней газета, так непривычна и ненужна она ей. Она остро чувствует мое соседство и мое тайное любопытство, по-своему толкуя его, ждет, что вот-вот я обращусь к ней примерно так:

— Виноват, а вы тоже изволите ехать в Москву или ждете вологодского поезда?

Но я молчу, поглядываю и ем. И она уже волнуется, все выше поднимает брови и все озабоченнее перевертывает газетные листы, будто ищет в них что-то самое важное, и наконец не выдерживает.

— Простите,— говорит она сухо и грустно,— вы не знаете, были сегодня в вечерних газетах новые вести с фронта? Я ужасно беспокоюсь за мужа, трэтий месяц не получаю писем... Он летчик и безумно храбрый...

— Не видал вечерних газет, не могу вам сказать.

— Жаль,— говорит она еще суше и, сдвинув брови, опять погружается в газету. На ней синяя поддевка на белом барашке, белая папаха, далеко не молодые глаза ее густо подведены темной синью, широкоскулое лицо напудрено точно известью,

пальцы крупны и крепки, миндально сияют выпуклыми острыми ногтями, духи пахнут тяжело, собакой...

Но вот, безнадежно поискав взглядом свободного места, подошел к столику молоденький рыжеусый офицер в новенькой шинели из солдатского сукна, с блестящими погонями, покраснел, кинул руку к козырьку и, щелкнув каблуками, несмело взялся за стул против нее:

— Вы позволите?

Через пять минут он уже угощает ее сотерном. Внимание ее весьма устремлено на котлету, руки ловко работают ножом и вилкой, но мизинец изысканно отставлен, брови подняты грустной усмешкой. Он раскраснелся, осмелел, расстегнул шинель, курит, говорит безумолку. Она то и дело пожимает плечами, небрежно роняет в ответ на его щегольские рассуждения о том, что жизнь «все-таки прекрасна», все одни и те же загадочные фразы:

— Это смотря для кого...

— Это зависит от вкуса...

— Жизнь не укладывается в рамки...

Он горячо возражает:

— Но вы ужасный скептик! На вид вы такая бодрая, энергичная, а меж тем...

Она легонько стучит по тарелке ножом, грустно-рассеянно заказывает лакею: «Чашечку шорнаго кофэ, пожалуйста», и со вздохом говорит:

— Нет, вы горько ошибаетесь, у меня в душе траур, мой муж тоже офицер, артиллерист, и я только что получила страшное известие, что он смертельно ранен в бою... Я только слишком хорошо умею носить маску!

ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

— Наш поп — какой он поп? Он дурак, невежа. Мою девку хоронил — спешит, сует как попало... гроб не дает поставить в могилу как надо. Можно разве так хоронить? Это не скотина. «Вот съезжу, говорю, в Орел, ваше священство, схожу в консисторию, тогда узнаете, как надо хоронить: намнут вам холку очень прекрасно!» — «Не смей, кричит, говорить со мной так вольно!» — «Ну нет, мол, батя, потише! Теперь, говорю, это время прошло! Вот дай с войной управимся, мы вам вашу «Газету Копейку» припомним! Узнаете тогда «до победного конца!»

1930

ПИСЬМО

— Еще пишу вам, обо мне не скучайте, в вагонах было тепло даже раздетому. От самого Минска снега совсем нету, места все ржавые, кругом болота, вода. Теперь ожидает меня что-то небывалое. Прощайте, все мои родные и знакомые, наверно, больше не увидимся. Прощайте, дорогие, писать некогда да и дождь, а из глаз моих слезы. Как начали сыпать из винтовок и снарядами, только пыль столбом. Двое рядом со мной рыли окоп, и к ним прилетел снаряд, их двоих тогда убило, один новобранец чужой, а другой наш Ваня, он погиб во славу русского оружия...

1930

ИСТОРИЯ С ЧЕМОДАНОМ

Начинается эта ужасная история весело, просто и гладко. Дело происходит в доброе старое время, однажды весною.

Я молод, беспечен, легковверен, живу в Москве и собираюсь в свое первое путешествие в Турцию, что, конечно, еще больше меня окрыляет, делает особенно легким в решениях, в поступках, в доверии к жизни.

И вот наступает день моего отъезда, я начинаю укладывать вещи, вижу, что мой прежний чемодан слишком мал, истрепан, и отправляюсь в Английский магазин на Кузнецкий, чтобы купить новый, большой, прочный.

Что такое чемодан? Это ближайший, интимнейший друг человека,— по крайней мере в дороге,— выбор которого требует, значит, немалого ума, расчета, опытного и зоркого глаза, способности многое предвидеть, взвесить, а еще и того, конечно, чтобы, выбирая вещь практично, выбрать вместе с тем нечто такое, что не причинило бы ущерба и эстетическим вкусам, пренебрежение к которым может иной раз сделать самую практичную покупку ненавистной. Что до чемодана, о котором идет эта повесть, то я купил его совсем иначе: вне всяких мудрых правил, изложенных выше, без дум и размышлений, с небрежнейшей быстротой, однако ж на редкость удачно. Так, во всяком случае, казалось сначала — и не без оснований: чемодан на первый взгляд был безупречен.

Я до сих пор отлично помню, как произошла эта покупка. Я вошел в магазин бодро, живо, с тем приятным чувством, с каким всегдаходишь в магазин дорогой, богатый и потому спокойный, просторный, красивый, а главное, знакомый, где тебя не только давно знают, но, как кажется, и любят, где продавцы, похожие на людей из хорошей гостинной, встречают тебя какою-то такой улыбкой, что тебе вдруг делается очень лестно

и ты мгновенно становишься фатом, спеша притвориться тем именно светским молодым человеком, держаться которым тотчас заставляет тебя уже одна эта улыбка. Я, помню, отвечая на поклоны, засунув в левый карман пальто набалдашник трости, конец которой торчал у меня за плечом, быстрым шагом прошел по коврам, по разным отделеньям магазина, мельком хвостнул, что уезжаю надолго, далеко, и, войдя в дорожное отделение, кивнул головой на первый попавшийся чемодан прекрасной смуглой кожи, не спросив даже, что он стоит, — только приказав отправить его вместе со счетом в мой номер в «Лоскутной». Я сразу, конечно, заметил, что в своем фатовстве слегка зарвался, — что цена чемодана, когда я об ней узнаю, заставит меня ахнуть. Но эта мысль, это чувство тотчас исчезли в сознании, что такой превосходной вещи у меня еще никогда не бывало, что я могу покрыть эту трату экономией на прочих расходах... Взгляд мой упал на этот чемодан совершенно случайно, но я им сразу восхитился — и подаром.

Повторяю: не в пример большинству покупок, столь пленяющих в лавках, а дома, при ближайшем и спокойном рассмотрении, приносящих чаще всего большое разочарование, чемодан оказался и в «Лоскутной» вполне достойным восхищения. В магазине он так поразил меня своими замками, кожей и тем, как он вообще дивно сработан, что я, принужденный сделать до отъезда еще кое-какие покупки, ужасно торопился как можно скорее воротиться домой, спешил, как на любовное свидание. А он был уже там, в «Лоскутной», как бы ждал моего прихода, спокойно лежа в номере на диване, весь обернутый толстой синей бумагой и увязанный тонкой и крепкой бечевкой. Я наконец приехал, вбежал в номер и кинулся к дивану. Я быстро перерезал бечевку, разметал бумагу — и вот мой новый друг и спутник предстал предо мной во всем своем блеске: большой, тяжелый, прочный, ладный, с этим удивительным лоском новой великолепной кожи, с зеркально-белыми замками, благородно-пахучий, атласно-скрипящий... Легко себе представить, с каким чувством я его раскрыл, раскинул, увидал его девственные недра, большой карман темно-красного сафьяна с исподу верхней половины!

Так радовал он меня и всю дорогу до Одессы. Я все время наслаждался чувством своего обогащения, мыслью о том, чем я обладаю. Сижу в вагоне-ресторане за обедом, лечу и мотаюсь, расплескивая, наливаю красное бордо в низкий и толстый стакан, гляжу на столы, на соседей, на тот веселый, пестрый блеск, что присущ всем вагонам-ресторанам, потом пью кофе и курю жаркую и сладкую сигару, а сам мысленно вижу свое купе с уже раскрытой постелью, лампочку под розовым

абажуром на столике возле постели — и его, мою гордость: лежит себе в оттянувшейся сетке, плотно набитый всеми мне необходимым, качается и дремлет, мчится вместе со всеми нами в Киев, в Одессу! Возвратясь в купе после обеда, выпиваю нарзану, слегка задыхаюсь от его стекляннно-колючих иголок, раздеваюсь, тушу свет, засыпаю — и опять та же мысль, то же чувство: ночь, вагон, темнота, все летит, рвет, скачет, а он тут, со мной, в этой сетке... Я чувствовал к нему даже какую-то благодарность!

Ну-с, а затем мы приехали с ним в Киев, пересели в другой поезд, тоже ночной, курьерский, а утром проснулись уже под Одессой, в то время, когда весь вагон умывался, одевался, пил чай и кофе, что несли по поезду лакеи... В Одессе мы остановились в «Петербургской», он, то есть чемодан, полежал в вестибюле, а я съездил в пароходную контору, потом позавтракал в ресторане «Петербургской» жареной глосью, запивая ее белым вином Кристи, и, расплатившись по счету и вновь соединившись с чемоданом, поспешил в Карантинную Гавань... Пароход уже готовился к отходу. Он оказался старый, выдавший виды, низкий, с тяжелой кормой, с глубокой посадкой, — значит, подумал я, покойный, не валкий. Был он приятен и тем, что был совсем почти безлюден, — только подъехало в самую последнюю минуту еще два пассажира первого класса, какой-то ксендз и в трауре худая дама, из посольских, — так что в нашем с чемоданом распоряжении оказалась целая большая каюта. Там чемодан лег на верхней койке, а я расположился на нижней. Вскоре после того пошел над нами топот матросов, под бортами зашумело, забурило, послышались свистки, команда, треньканье телеграфа из вахтенной рубки в машину, набережная стала от бока парохода отделяться... На закате мы были уже далеко от берега, и я не запомню столь ровного, безмятежного хода, каким шли мы весь вечер, а потом в мягкой тьме морской ночи с теплым и все крепнущим ветром. Надышавшись им на юте, я, часов в десять, был уже в койке и стал погружаться в сладкую дремоту, медленно опускаясь и поднимаясь вместе с нею, валясь то на правый бок, то на левый, временами шумно покрываясь целым водопадом вдруг откуда-то ударившей в стену волны, временами же ровно, тихо дрожа на слегка стучащей дрожи работавшей где-то в глубине машины... как вдруг, как раз в ту самую минуту, когда я уж совсем было исчез куда-то, меня вознесло, как на качелях, потом метнуло книзу и оглушило таким громом, что я дико сорвался с койки — в полном убеждении, что пароход налетел на что-то, что сейчас в каюту хлынет море, — и получил такой страшный удар в ноги, что ринулся вниз головой, под ревущий умывальник, но, по счастью, не успел его достигнуть, ибо пол за мной внезапно

провалился, и я снова покатился к койке, снова настигаемый каким-то громом... И пошла, пошла потеха!

Дело было ясно: страшная качка! Но этот гром, грохот? Этот удар в ноги? Чем это меня так хватило? Страшней всего было мгновение ожидания нового удара, пока я катился к койке. Тут я, однако, изловчился, упал в койку грудью и, поймав на переборке какую-то кнопку, осветил каюту. Что ж оказалось? В шуме волн, в свисте ветра, в скрипе переборок, по полу бешено летающей каюты носится что-то живое! Да, живое, живое! Что? Но чемодан, конечно! Это он оглушил меня громом, брякнувшись с верхней койки об пол, потом чуть не перебил мне ноги... Теперь, на свободе, он носился по каюте, как угорелый. Он точно мстил кому-то за всю ту покорность, с которой он должен был лежать всю дорогу в сетках, притворяться моей вещью, бездушным чемоданом. Он вдруг ожил и бесовски разыгрался: гладкий, скользкий, тяжелый, как булыжник, набитый мной до круглоты, до отказа, как говорят нынче, он, в диком и резвом веселье, то мчался на меня, на койку и бил лбом в ножку койки, то, подпрыгнув, кубарем летел под умывальник, а оттуда к двери, а от двери под иллюминатор... Умывальник, мотаясь, как пьяный, задыхался, отчаянно ловил своей дырой воздух, клокотал и захлебывался ревом, переборки трещали, скрипели, иллюминатор то и дело падал своим черным стеклом в налетавшие волны, которые, взвиваясь, били в него густой, мутной слюной, текли ее мерзкими разводами, кружевами, а чемодан стервенел все больше и больше, ничуть себя не жалея, драл свою дивную кожу, с яростью бился замками и углами обо что попало... Надо было немедленно кинуться на этого безумца, подмять под себя, притиснуть к полу, забить под койку! И вот я опять сорвался с койки и упал на него всем телом. Но тут пол за мной опять рухнул, впереди же встал дыбом — и чемодан быстро выскользнул из-под моего тела, крепко дал мне в темя и, крутясь, грохоча, сам понесся под койку. Я мгновенно перевернулся и уже готов был вбить его туда одним ударом, но он вдруг подпрыгнул, как мячик, взвился и понесся к двери, а я угодил как раз туда, куда его метил, — под железную сетку койки, страшно ободравшую мне плечи...

Продолжать ли рисовать эту гнусную битву? Ей не было конца и края. Я тоже потерял рассудок, тоже остервенился. Сперва я еще думал, что все это только игра моего воображения, — что чемодан мне только показался живым, оживленным; я сначала испугался лишь корыстно, — того, что он весь изобьется, обдерется, кинулся к нему, в сущности, на помощь, чтобы облегчить ему возможность где-нибудь приткнуться, задержаться... Но нет, он вовсе не был лишь игрушкой, забавой волн и ветра, бессмысленной вещью, безвольно вверх и вниз

летавшей вместе с каютой! Он, видимо, сознательно был счастлив всем этим адом качки, давшей ему столь чудесный случай сорваться на пол и пуститься в свои беснования, раззадорить меня ими, вовлечь в схватку и начать нещадно гвоздить по чем попало. И если б кто видел, сколь он оказался ловок, прыток, изворотлив, как метки и ужасны были все его удары, какой умной, сильной, злобной тварью он вдруг объявился! Но ведь и я был не из таковых, что сдаются сразу. Я бился не на живот, а на смерть, руками и ногами,— и порой награждал его такими тумаками, что он, не взвидев света, взвивался чуть не на умывальник, у которого все больше выворачивало душу от морской болезни. Я скрежетал зубами,— о, если бы помощь! Но кто же мог помочь мне? Кричать — верх позора, да и кто бы отозвался? — Не спали лишь там, на вахте! Я задыхался, обливаясь потом, катаясь по каюте в самом постыдном, растерзанном виде, молил бога о кинжале: о, если б кинжал — с каким упоением я всадил бы его в бок этой твари! Но какой кинжал, откуда? Да и что ему кинжалы!

Кончилось все же моим бегством. «Будь ты проклят! — крикнул я ему под утро.— Носись, взвивайся, грохочи тут сколько хочешь!» — И, кое-как одевшись, выскочил вон из каюты.

Наверху был холод, лед, пустыня, буря, палубу то и дело крыло пенными шумными хвостами крепко пахнущего мокрым бельем моря. Я жадно хватал грудью свежий воздух, стоял, мотался, ухватясь за притолоку рубки. Уже стихало и светало. Борт передо мной летел в лиловеющее облачное небо, а небо куда-то прочь, в бездну, потом вдруг открывалась и отвесно неслась прямо на меня равнина моря,— зелено-седого, изрытого ухабами, горами, с которых дымом, метелью гнало пыль пены. Я метнулся из рубки на холодный ветер или, говоря поэтичней, в ледяные крылья бури — и, с безобразно вздутым картузом, в один зигзаг перелетел к юту, ют в тот же миг взвился вверх своим широким задом, все остальное, вся та неуклюжая тяжесть, что была впереди, подо мной,— палуба, рубка, труба и отчаянно вопиющие снасти,— повалилось к носу, поклонилось морю и по плечи, по горло, с мучительным наслаждением, в него погрузилось, и я увидел, как мала и несчастна наша старая черная баржа в этом огромном и дико-пустынном водном круте, высоко затоплявшем горизонты, охваченном лохматым небом. Но что мне было до всей этой картины! Я, видя, что все-таки стихает, что близится утро, стискивал зубы, бормотал злорадно, сладострастно (чемодану, конечно):

— Ну, погоди, погоди же!

А в сущности, что я мог ему сделать?

ПРЕКРАСНЕЙШАЯ СОЛНЦА

— Смерть, где жало твое? Воспомним, что сказала Она, прекраснейшая солнца, возлюбленному своему, представ ему в ту самую ночь, когда предали Ее тело могиле: не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе...

— В лето господне тысяча триста двадцать седьмое синьор Франческо прибыл в город Авиньон в Провансе, в числе многих прочих, последовавших в изгнание за святейшим престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной жизни донну Лауру и полюбил Ее великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сэн-Клэр, в Авиньоне; и вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел донну Лауру, дочь рыцаря Одибера, юную супругу синьора Уго, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства.

Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале.

— Та весна была в его жизни двадцать третьей, в Ее — двадцатой. И, если обладал он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и благородству крови, то Ее юная прелесть могла почитаться небесной. Блаженны видевшие Ее при жизни! Она шла, опустив свои черные, как эбен, ресницы: когда же подняла их, солнечный взор Ее поразил его навеки.

Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, каких всегда бывает немало ранней весной в Авиньоне,

было и в то время, которое называется теперь древним, и в котором все кажется прекрасным: и весеннее ненастье, и старый каменный город, потемневший под дождями, все его стены, церкви, башни и холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, весь быт, все дела и чувства.

— Это было в час крестной смерти господина нашего Иисуса, когда само солнце облачается в ретищем скорби.

На страницах Вергилия, своей любимейшей книги, с которой он никогда не расставался, которая всегда лежала у его изголовья, он, в старости, пишет:

— Лаура, славная собственными добродетелями и воспетая мною, впервые предстала моим глазам в мою раннюю пору, в лето господне тысяча триста двадцать седьмое, в шестой день месяца апреля, в Авиньоне; и в том же Авиньоне, в том же месяце апреля, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же тысяча триста сорок восьмое, угас чистый свет Ее жизни, когда я случайно пребывал в Вероне, увы, совсем не зная о судьбе, меня постигшей: только в Парме настигла меня роковая новость, в том же году, в девятнадцатый день мая, утром. Непорочное и прекрасное тело Ее было предано земле в усыпальнице братьев Меноритов, вечером в день смерти; а душа Ее, верю, возвратилась в небо, свою отчизну. Дабы лучше сохранить память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге, столь часто находящейся перед моими глазами: должно мне знать твердо, что отныне уже ничто не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его Вавилон. По милости божьей, это будет мне не трудно, памятуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные исходы моей протекшей жизни...

Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голову имел небольшую, круглой и крепкой формы, нос средней меры, тонкий, овал лица мягкий и точный, румянец нежный, но здоровый, темный, цвет глаз карий, взгляд быстрый и горячий. «Уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений; в обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах...»

Портрет в Авиньоне изображает его в зрелые годы: капиталийские лавры, которыми он был коронован, как величайший человек своего века, благородный флорентийский профиль, взгляд, полный мысли и жизни...

В старости он пишет:

— Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме Нее: пусть же торопит Она нашу встречу в небе, влечет и зовет меня за собой!

Но пишет и другое,— в письме к одному другу:

— Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке, или, лучше, если угодно богу, в слезах и молитве. Будь здоров и благополучен. Живи счастливо и бодро, как подобает мужу!

Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рожденья, сидя за работой, он «вдруг склонился, уронил голову на свое писанье».

Тот день, когда они впервые увидели друг друга, был роковым и для нее:

— Было и Ее сердце страстно и нежно; но сколь непреклонно в долге и чести, в вере в бога и его законы!

— «Владычица моя, Она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к Ней. Дабы приветствовать Ее, я встал, смиренно склоняя перед Нею свое побледневшее чело. Я трепетал; Она же продолжала свой путь, сказавши мне несколько ласковых слов.

Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века — ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года; но и то все на людях и всегда «облеченную в высшую строгость». Все же вспоминает он и другое:

— И Она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик, Ее молчание, казалось, говорило: зачем покидает меня мой верный друг?

Внешне он жил в радостях и печалях простых смертных; знал и женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой, «бессмертной», имел двух детей. Имела и она их, супругой была верной и достойной. «Но душа Ее всю жизнь ожидала загробной свободы — для любви Ее к Иному...»

Черная чума 1348 года, в несколько недель поразившая в Авиньоне шестьдесят тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер, при смоляных факелах, своим бурным, трещащим пламенем «разгонявших заразу», люди в смоляных балахонах, с прорезами только для глаз, похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви «к Иному», поспешила к нему на первое свиданье:

— Ночь, следовавшая за этим зловещим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в небе, ночь эта начинала уступать место Авроре, когда некая Красота, столь же дивная, как и Ее земная, коронованная драгоценнейшими алмазами Востока, встала предо мной. И, нежно вздыхая, подала мне руку, столь долго желанную

мною; узнай, сказала Она, узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою; узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире...

В Парижской Национальной Библиотеке хранится манускрипт Плиния, принадлежавший Петрарке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петрарки рисунок, изображающий долину Воклюза, скалу, из которой бьет источник, на вершине скалы — часовню, а внизу — цаплю с рыбой в клюве; под рисунком его подпись по-латыни: «Заальпийское мое уединение».

В этой долине, недалеко от Авиньона, было его скромное поместье.

Где жила когда-то, в этом столь глухом теперь, старом и пыльном Авиньоне Лаура? Будто бы возле нынешней мэрии, в улочке Дорэ. Погребена она была в церкви братьев Меноритов, в одной из капелл. Но в какой? Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад; известно, однако, что в ней было две капеллы — Святого Креста и Святой Анны. В которой из них была ее гробница? Полагают, что в последней, так как она была сооружена ее свекром, синьором де Саде. В 1533 году король Франциск Первый, проезжая Авиньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой капелле, убежденный горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно.

Авиньон, апрель, 1932

ЛИКА

I

Те весенние дни моих первых скитаний были последними днями моего юношеского иночества.

В первый день в Орле я проснулся еще тем, каким был в пути,— одиноким, свободным, спокойным, чужим гостинице, городу,— и в необычный для города час: едва стало светать. Но на другой уже поздней — как все. Заботливо одевался, гляделся в зеркало... Вчера, в редакции, я уже со смущением чувствовал свой цыганский загар, обветренную худобу лица, запущенные волосы. Нужно было привести себя в приличный вид, благо обстоятельства мои вчера неожиданно улучшились: я получил предложение не только сотрудничать, но и взять аванс, который и взял,— горячо покраснел, но взял. И вот я отправился на главную улицу, зашел в табачный магазин, где купил коробку дорогих папирос, потом в парикмахерскую, откуда вышел с красиво уменьшившейся пахучей головой и с той особенной мужской бодростью, с которой всегда выходишь из парикмахерской. Хотелось тотчас же идти опять в редакцию, поскорее продолжить всю ту праздничность новых впечатлений, которыми так щедро одарила меня судьба вчера. Но идти немедленно было никак нельзя: «Как, он опять пришел? И опять с утра?!» — Я пошел по городу. Сперва, как вчера, вниз по Болховской, с Болховской по Московской, длинной торговой улице, ведущей на вокзал, шел по ней, пока она, за какими-то запыленными триумфальными воротами, не стала пустынной и бедной, свернул с нее в еще более бедную Пушкарную Слободу, оттуда вернулся опять на Московскую. Когда же спустился с Московской к Орлику, перешел старый деревянный мост,

дрожащий и гудевший от едущих, и поднялся к присутственным местам, по всем церквам трезвонили и вдоль бульвара, навстречу мне, на паре больших вороных, шедших споро, но мерно, в достойной противоположности с этим трезвоном, прокатил в карете архиерей, благостным мановением руки осенявший влево и вправо всех встречающих.

В редакции было опять деловито и людно, бодро работала за своим большим столом маленькая Авилова, только ласково улыбнувшаяся мне и тотчас опять склонившаяся к столу. Завтрак был опять долгий, веселый, после завтрака я слушал, как Лика бурно играла на рояли, потом качался с ней и с Оболенской на качелях в саду. После чая Авилова показывала мне дом, водила по всем комнатам. В спальне я увидел на стене портрет, — из рамы недовольно смотрел кто-то волосатый, в очках, с костлявыми широкими плечами. «Мой покойный муж», — вскользь сказала Авилова, — и я слегка оторопел: так был поражен нелепостью соединения во что-то одно этого чаточного с живой, хорошенькой женщиной, вдруг назвавшей его своим мужем. Потом она опять села за работу, Лика нарядилась, сказала нам, — тем своим языком, некоторые особенности которого я уже заметил с неловкостью за нее: — «Ну, дети мои, я исчезаю!» — и куда-то ушла, а мы с Оболенской пошли по ее делам. Она предложила мне пойти с ней на Карачевскую, сказала, что ей нужно зайти там к белошвейке, и мне стало приятно от той близости, которую она вдруг установила между нами этим интимным предложением. С тем же чувством шел я возле нее и по городу, слушал ее точный голос; у белошвейки с особенным удовольствием терпения стоял и ждал, пока она кончит свои переговоры и совещания. Когда мы опять вышли на Карачевскую, уже вечерело. «Вы любите Тургенева?» — спросила она. Я замялся, — потому, что я родился и вырос в деревне, мне всегда задавали этот вопрос, непременно предполагая во мне любовь к Тургеневу. — «Ну, все равно, — сказала она, — это будет все-таки вам интересно. Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы описана в «Дворянском гнезде». Хотите посмотреть?» — И мы пошли куда-то на окраину города, в глухую, потонувшую в садах улицу, где, на обрыве над Орликом, в старом саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе... Лиза, Лаврецкий, Лемм... И мне страстно захотелось любви.

Вечером мы все были в городском саду, в летнем театре, — я сидел в полутьме рядом с Ликой, дружно наслаждаясь с ней

всей той шумной глупостью, что шла и в оркестре и на сцене, на какой-то снизу освещенной площади, где, подхватывая плясовые грохоты музыки, топали в пол и стукались пустыми оловянными кружками хорошенские горожанки и королевские латники, а после театра тут же, в саду, ужинали, я сидел на просторной и людной террасе, за бутылкой вина во льду, с дамами. К ним то и дело подходили знакомые, и со всеми с ними меня тоже знакомили, и все они были очень любезны со мной, — кроме одного, который, сделав легкий поклон в мою сторону, не обратил больше на меня никакого внимания: это был человек, доставивший мне впоследствии — тоже совершенно невнимательно — много душевных мук, очень высокий офицер с продолговатым матово-смуглым лицом, с неподвижными черными глазами, с черными полубачками, в ладном сюртуке ниже колен, в узких панталонах со штрипками. Она много говорила и смеялась, показывая свои чудесные зубы, зная, что все ею любят, и я уже не мог спокойно смотреть на них, я похолодел, когда офицер, отходя от нашего стола, немного задержал ее руку в своей большой руке.

В день моего отъезда гремел первый гром. Помню этот гром, легкую коляску, уносившую меня на вокзал с Авиловой, чувство гордости от коляски и от этого соседства, странное чувство первой разлуки с той, в свою выдуманную любовь к которой я уже совсем верил, и то чувство, которое преобладало надо всеми прочими, — чувство какого-то особенно счастливого приобретения, будто бы сделанного мной в Орле. На платформе вокзала меня поразило то, как велики, крупны были все те парадные, отборные люди, что выжидательно толпились на ней, как простонародны казались, при всем блеске их церковного убранства, лица духовенства, с крестами и кадилами в руках стоявшего впереди всех прочих. В то мгновение, когда всей своей тяжкой силой низвергся наконец на вокзал великокняжеский поезд и всех ослепил красный долман выскочившего из него яркоружего гиганта, все как-то смешалось, спуталось, — не помню дальше ничего, кроме мрачно-угрожающего торжества панихиды. Потом маслянисто-стальная громада паровоза в угольных флагах загрохотала мощными, державными толчками своей вновь задышавшей трубы, и длинно, плавно потянулся назад полосой белой стали локоть его поршня, поплыли вперед сине-зеркальные стены вагонов с золотыми орлами... Я глядел на литые колеса, все быстрее вращавшиеся под ними, на тормоза и рессоры, — и видел уже только одно: то, что все это густо покрыто белой пылью, волшебной пылью долгого пути с юга, из Крыма. Поезд, грохоча, скрывался, продолжая свой величественно-траурный бег через Россию, куда-то туда, к ее возглавию, я же весь был в этом

сказочном Крыму, в пленительных гурзуфских днях легендарного Пушкина.

Мой скромный уездный поезд ждал меня на дальней боковой платформе, и я уже был рад тому уединению и отдыху, который предстоял мне в нем. Авилова пробыла со мной до самого отхода его, все время весело болтая, говоря, что надеется скоро увидеть меня снова в Орле, улыбкой давая понять, что она прекрасно видит то забавное горе, которое приключилось со мной. При третьем звонке я горячо припал к ее руке, она коснулась губами моей щеки. Я вскочил в вагон, он толкнулся и двинулся, я, высунувшись в окно, смотрел, как она отдалялась, стоя на платформе и легонько мне махая...

В пути после того все казалось мне трогательно: и этот коротенький поезд, который то еле тянулся, то вдруг пускался отчаянно качаться и греметь, и те безлюдные станции и полустанки, на которых он неизвестно зачем стоял без конца, и все то, уже свое, знакомое, что снова окружало меня: косыми буграми идущие мимо окон поля, еще голые и потому особенно невзрачные, голые березовые перелески, тихо ждущие весны, скудные горизонты... Вечер был тоже скудный, по-весеннему прохладный, с бледным низким небом.

II

Из Орла я увозил одну мечту: как-то продолжить — и, насколько возможно, скорей — то, что началось в Орле. Однако чем дальше уезжал от Орла, тем все чаще забывал о нем, глядя в окно на поля, на долгий апрельский закат. И вот в вагоне уже совсем сумерки, сумерки и за окнами, в этом редком дубовом лесу, что идет слева от поезда, — голом, корявом, засыпанном рыжей прошлогодней листвой, только что вышедшей из-под зимних снегов. И я уже стою, держу свою сумку в руках, все больше волнуясь: это уже Субботинский лес, за которым тотчас станция Писарево. Поезд предостерегающе и печально кричит куда-то в пустоту; я спешу на площадку: как-то первобытно сыро, свежо, накрапывает дождь, перед станцией одиноко стоит товарный вагон. Поезд обходит его, и я еще на ходу соскакиваю. Потом бегу по платформе, прохожу слабо освещенный, бесконечно печальный, затоптанный мужиками вокзал, выхожу на темный подъезд. В круглом дворе перед ним — жалкий и грязный после зимы палисадник, чуть видная в сумраке лошаденка мужика-извозчика. Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седока, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каждым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все что угодно — «авось, не обидите!» — и через минуту я уже покорно трясусь

в его мелкой тележке: сперва по дикой и темной деревне, потом — все тише и тише — в темных, молчаливых, всему миру чужих полях, в черном море земли, за которым брезжит в бесконечной дали под тучками на северо-западе что-то зеленоватое. Дует навстречу ночной полевой ветерок, жидкий, дождевой, апрельский, где-то далеко — и все как будто меня под ветром места — хлопает перепел. Мелькают в тучках, в низком русском небе, редкие звезды... Опять перепела, весна, земля — и моя прежняя, глухая, бедная молодость! Дорога мучительно долга: десять верст в поле с русским мужиком не ближний путь. Мужик стал тих, загадочен, пахнет избой, сухой овчиной своего вытертого полушубка, на просьбы поспешать молчит, а как только изволок, соскакивает с передка и ровным шагом идет с веревочными вожжами в руках рядом со своей едва плетущейся кобыленкой, лицо отворачивает... При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь: нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте, и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку перед избой на той широкой улице, по которой въезжаешь в село; потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх, к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые: как все страшно знакомо и вместе с тем ново — этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием! Мужик совсем омертвел, тащась на гору. Вдруг там, из-за сосен палисадника, блеснул в окне огонь. Слава богу, еще не спят! Радость, нетерпение — и мальчишеский стыд, когда наконец тележка останавливается возле крыльца и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают...

Из Васильевского я ехал на другой день верхом, под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался, среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли. Пахарь, босиком, шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял в борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей, за грачом большим, ровным шагом шагал старик без шапки, с севалкой через плечо, широко и благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукружиями осыпая землю зерном.

В Батурине было даже от той любви, радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры, — я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся — своей чистотой, юностью, как невинна, свежа была даже своим новень-

ким платицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом — своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее: все на тех же местах, даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом; черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами (лиловыми и гранатовыми) видны деревья и небо, — кое-где голубеющее и сыплющее мелким дождем на зеленеющие ветви и сучья, — в комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко... потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен и стены... гладки и тяжки круглые отвалы дубовой кровати...

III

Для новой поездки в Орел оказался деловой предлог: нужно было отвезти проценты в банк. И я повез, но заплатил только часть, остальное растратил. Это был поступок не шуточный, но со мной что-то делалось — я не придавал ему особого значения. Я все время поступал с какой-то бессмысленно-счастливой решительностью. Едучи в Орел, опоздал к пассажирскому поезду — и тотчас устроился на паровоз товарного. Помню, влез по высокой железной подножке во что-то грубое, грязное, стою и смотрю. Машинисты в чем-то сверх меры засаленном, железно блестящем; так же засалены, блестящи и лица их, негритянки разительны белки, словно нарочно, как у актеров, подмазаны веки. Молодой резко гремит железной лопатой в каменном угле, наваленном на полу, с громом откидывает заклонку топки, откуда адски вырывается красный огонь, и размашисто осаживает этот ад чернотой угля с лопаты, старший перетирает пальцы ужасающей по своей сальности тряпкой и, швырнув ее, что-то дергает и что-то повертывает... Раздается раздражающий уши свист, откуда-то горячо обдаёт и окутывает ослепляющий пар, оглушает что-то вдруг загрохотавшее — и медленно тянет вперед... Как дико грохочет этот грохот потом, как все растет и растет наша сила, прыть, как все вокруг трясется, мотается, прыгает! Застывает, напряженно каменеет время, ровно трепещет по буграм с боков огненный, драконий бег — и как скоро кончается каждый перегон! А на каждой передышке после него, в мирной тишине ночи и станции, пахнет лесным ночным воздухом, и из всех окрестных кустов бьет, торжествует, блаженствует соловьиное пение... В Орле я непристойно нарядился, — тонкие щегольские сапоги, тонкая черная поддевка, шелковая красная косоворотка, черный с красным околышем дворянский картуз, — купил дорогое кавалерийское

седло, которое было так восхитительно своей скрипящей и пахучей кожей, что, едучи с ним ночью домой, я не мог заснуть от радости, что оно лежит возле меня. Ехал опять на Пицарево — с целью купить еще лошадь — там как раз в эту пору была в селе конская ярмарка. На ярмарке подружился с некоторыми из своих сверстников, тоже всё в поддевках и дворянских картузах, давних завсегдатаев ярмарок, и с их помощью купил молодую породистую кобылу (хотя цыган отчаянно навязывал мне старого мерина, запаленного донца, — «купи, барин, Мишу, век будешь любить меня за Мишу!»). Лето после того стало для меня сплошным праздником — я и трех дней подряд не проводил в Батурине, все гостил у своих новых друзей, а когда она вернулась из Орла, стал пропадать в городе; как только получил от нее краткую записку: «Вернулась и жажду свидания», тотчас поскакал на станцию, несмотря на неприятность от глупого остроумия этой записки и на то, что был уже вечер и надвигались тучи, а в вагоне, как пьяный, радовался шибкому ходу поезда, казавшемуся еще шибче от уже бушевавшей грозы, от того, что грохот вагона сливался с ударами грома, с шумом ливня по крыше, и все это среди синего пламени, поминутно затоплявшего черные стекла, по которым, пенясь, хлестала и свежо пахла дождевая вода.

Не было как будто ничего, кроме удовольствия веселых встреч. Но вот, — это было уже в конце лета, — один из этих друзей, живший с сестрой и стариком отцом в имении недалеко от города, на обрывистом берегу Исты и тоже бывавший у нее, пригласил к себе довольно большое общество на именинный обед. За ней он приехал сам, она ехала с ним в шарабанчике, я сзади, верхом. Радовал солнечный, сухой простор полей, открытые и как бы песчаные поля были без конца покрыты копнами. Все во мне требовало чего-то отчаянно-ловкого. Я безбоязненно горячил и сдерживал лошадь, потом пускал ее и на всем скаку махал через копны, в кровь рассекая ей бабки острыми подковами. Именинный обед на прогнившем балконе длился до вечера, вечер незаметно слился с ночью, с лампами, вином, песнями и гитарами. Я сидел рядом с ней и уже без всякого стыда держал ее руку в своей, и она не отнимала ее. Поздно ночью мы, точно сговорившись, встали из-за стола и сошли с балкона в темноту сада, она остановилась в его теплой черноте и, прислонясь спиной к дереву, протянула ко мне руки, — я не мог разглядеть, но тотчас угадал их движение... Быстро посерело после того в саду, хрипло и как-то беспомощно-блаженно стали кричать в усадьбе молодые петушки, а еще через минуту стал светел весь сад от огромного золотистого востока, раскрывшегося за ним над желтыми полями за речной низменностью... Потом мы стояли на обрыве над этой низменностью, и она, глядя на солнечно раз-

горающийся небосклон и уже не замечая меня, пела «Утро» Чайковского. Оборвав на высоком, недоступном ей звуке, она подхватила нарядные оборки батистовой юбки цвета куропатки и побежала к дому. Я остановился, растерянный, но уже неспособный не только соображать что-нибудь, но просто держаться на ногах. Я отошел под старую березу, стоявшую на скате обрыва в сухой траве, и прилег под ней. Был уже день, солнце взошло и, как всегда в конце лета, в погожую пору, сразу наступило светлое жаркое утро. Я положил голову на корни березы и тотчас заснул. Но солнце разгоралось все жарче,— вскоре я проснулся в таком зное и блеске, что встал и, шатаясь, пошел искать тени. Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин. Из открытого окна его кабинета, под которым густо разрослась одичавшая сирень, слышался его кашель, в котором чувствовалось старческое наслаждение первой утренней трубкой, утренним стаканом крепкого чаю со сливками. На мои шаги и шум воробьев, ливнем сорвавшихся от меня с блестящей под солнцем сирени, он выглянул в окно, запахивая на груди старенький халатик из турецкого узорчатого шелка, показал свое страшное от запущенных глаз и громадной седой бороды лицо и улыбнулся с необыкновенной добротой. Я виновато поклонился, прошел по балкону в раскрытые двери гостиной, совершенно прелестной своей утренней тишиной и пустотой, летающими в ней бабочками, синими старинными обоями, креслами и диванчиками, лег на один из этих диванчиков, на редкость неудобный своей изогнутостью, и опять заснул глубоким сном. Но тут,— будто бы тотчас же, хотя спал я долго,— кто-то подошел ко мне и, смеясь, что-то стал говорить, пугать мне волосы. Я очнулся — передо мной стояли молодые хозяева, брат и сестра, оба черные, огнеглазые, по-татарски красивые, он в желтой шелковой косоворотке, она в такой же кофточке. Я вскочил и сел: они как-то очень хорошо говорили, что пора вставать, завтракать, что она уже уехала, и не одна, а с Кузьминым, и подали мне записочку. Я тотчас вспомнил глаза Кузьмина,— бойкие, дерзкие, какие-то пестрые, цвета пчелы,— взял записочку, пошел в старинную «девичью»,— там смиренно ждала меня над табуретом с тазом, держа в худой руке, покрытой гречкой, кувшин с водой, какая-то старушка во всем темненьком,— на ходу прочел: «Не старайтесь больше меня видеть» — и стал умываться. Вода была ледяная, острая — «у нас ведь ключевая-с, колодезная»,— сказала старушка и подала мне длиннейшее льняное полотенце. Я быстро прошел в прихожую, взял картуз и нагайку, пробежал через жаркий двор в конюшню... Лошадь тихонько и горестно заржала мне навстречу из сумрака,— она так и осталась под седлом, стояла возле пустых яслей, с подведенными пахами,—

я схватил повод, вскочил в седло, все еще как-то дико-восторженно сдерживая себя, и помчался вон со двора. За усадьбой я круто свернул в поле, понесся куда глаза глядят по шуршащему жнивью, осадил лошадь под первой попавшейся копной и, сорвавшись с седла, сел под ней. Лошадь шумела, хватая зубами и таща к себе снопы за сыплющиеся точно стеклянным зерном колосья, тысячами часиков знойно торопились в жнивье и в снопах кузнечики, точно песчаной пустыней простирались вокруг светлые поля — я ничего не слышал, не видал, мысленно твердя одно: или она вернет мне себя, эту ночь, это утро, эти батистовые оборки, зашумевшие от ее замелькавших в сухой траве ног, или не жить нам обоим!

С этими сумасшедшими чувствами, с безумной уверенностью в них я поскакал в город.

IV

Я надолго остался после того в городе, по целым дням сидел с ней в запыленном садике, что был в глубине двора при доме ее вдового отца, — отец (беспечный человек, либеральный доктор) ни в чем ее не стеснял. С той минуты, когда я прискакал к ней с Исты и она, увидав мое лицо, прижала обе руки к груди, уже нельзя было понять, чья любовь стала сильнее, счастливей, бессмысленней, — моя или ее (тоже как-то вдруг и неизвестно откуда взявшаяся). Наконец, чтобы хоть немного дать друг другу отдохнуть, мы решили на время расстаться. Это было необходимо тем более, что, живя на мелок в Дворянской гостиннице, я впал в неоплатный долг. Пошли к тому же дожди. Я оттягивал разлуку всячески — напоследок собрался с силами и пустился под ливнем домой. Дома я сперва все только спал, тихо скитался из комнаты в комнату, ничего не делая, ни о чем не думая. Потом стал задумываться: что же это происходит со мной и чем все это кончится? Однажды пришел брат Николай, вошел в мою комнату, сел, не снимая картуза, и сказал:

— Итак, мой друг, романтическое существование твое благополучно продолжается. Все попрежнему: «несет меня лиса за темные леса, за высокие горы», а что за этими лесами и горами — неведомо. Я ведь все знаю, многое слышал, об остальном догадываюсь — истории-то эти все на один лад. Знаю и то, что тебе теперь не до здравых рассуждений. Ну, а все-таки: какие же твои дальнейшие намерения?

Я ответил полушутя:

— Всякого несет какая-нибудь лиса. А куда и зачем, конечно, никому неизвестно. Это даже в Писании сказано: «Иди, юноша, в молодости твоей, куда ведет тебя сердце твое и куда глядят глаза твои!»

Брат помолчал, глядя в пол и как бы слушая шопот дождя по осеннему жалкому саду, потом грустно сказал:

— Ну, иди, иди...

Я все спрашивал себя: что делать? Было ясно, что именно. Но чем настойчивее старался я внушить себе, что завтра же надо написать решительное, прощальное письмо, — это было еще возможно, последней близости между нами еще не было, — тем все больше охватывала меня нежность к ней, восхищение ею, благодарное умиление ее любовью ко мне, прелестью ее глаз, лица, смеха, голоса... А через несколько дней, в сумерки, появился вдруг во дворе усадьбы верховой, мокрый с головы до ног посыльный, подавший мне мокрую депешу: «Больше не могу, жду». Я не спал до рассвета от страшной мысли, что через несколько часов увижу, услышу ее...

Так, то дома, то в городе, провел я всю осень. Я продал седло, лошадь, в городе жил уже не в Дворянской гостинице, а на подворье Никулиной, на Щепной площади. Город был теперь другой, совсем не тот, в котором шли мои отроческие годы. Все было простое, будничное, — только иногда, проходя по Успенской улице мимо сада и дома гимназии, ловил я что-то как будто близкое душе, когда-то пережитое. Уже давно я привычно курил, привычно брился в парикмахерской, где когда-то сидел с такой детской покорностью, искоса поглядывая, как под непрерывно стрекочущими ножницами падают на пол мои шелковистые волосы. Мы с утра до вечера сидели на турецком диване в столовой почти всегда в одиночестве: доктор с утра уезжал, гимназист, ее брат, уходил в гимназию, после завтрака доктор спал и опять куда-нибудь уезжал, а гимназист занят был бешеной игрой, бегом со своим рыжим Волчком, который, притворно ярясь, лая, захлебываясь, носился вверх и вниз по деревянной лестнице во второй этаж. Одно время эти однообразные сидения и, может быть, моя неумеренная, неизменная чувствительность наскучили ей — она стала находить предлоги уходить из дому, бывать у подруг, у знакомых, а я стал сидеть на диване один, слушая крики, хохот, топот гимназиста и театральный лай Волчка, бесившегося на лестнице, сквозь слезы глядел в полузавешенные окна на ровное серое небо, куря папиросу за папиросой... Потом опять что-то случилось с ней: опять она стала сидеть дома, стала так ласкова, добра ко мне, что я совсем потерял понятие, что она за человек. «Что ж, миленький, — сказала она мне однажды, — видно, так тому и быть!» — и, радостно морщась, заплакала. Это было после завтрака, когда в доме все ходили на цыпочках, оберегая отдых доктора. «Мне только папу страшно жалко, для меня никого в мире нет дороже его!» — сказала она, как всегда, удивляя меня своей чрезмерной любовью к отцу. И, как

нарочно, тотчас же после того прибежал гимназист, рассеянно пробормотал, что доктор просит меня к себе. Она побледнела. Я поцеловал ее руку и твердо пошел.

Доктор встретил меня с ласковым весельем отлично выспавшегося и только что умывшегося после сна человека, напевая и закуривая.

— Мой молодой друг,— сказал он, предлагая курить и мне,— давно хотел поговорить с вами,— вы понимаете о чем. Вам отлично известно, что я человек без предрассудков. Но мне дорого счастье дочери, от души жаль и вас, и потому поговорим начистоту, как мужчина с женщиной. Как это ни странно, но ведь я вас совсем не знаю. Скажите мне: кто вы такой? — сказал он с улыбкой.

Краснея и бледнея, я стал усиленно затягиваться. Кто я такой? Хотелось ответить с гордостью, как Гете (я только что прочел тогда Эккермана): «Я сам себя не знаю, и избави меня, боже, знать себя!» Я, однако, сказал скромно:

— Вы знаете, что я пишу... Буду продолжать писать, работать над собой...

И неожиданно прибавил:

— Может быть, подготовлюсь и поступлю в университет...

— Университет, это, конечно, прекрасно,— ответил доктор.— Но ведь подготовиться к нему дело нешуточное. И к какой именно деятельности вы хотите готовиться? К литературной только или к общественной, служебной?

И снова вздор полез мне в голову — снова Гете: «Я живу в веках, с чувством несносного непостоянства всего земного... Политика никогда не может быть делом поэзии...»

— Общественность не дело поэта,— ответил я.

Доктор взглянул на меня с легким удивлением:

— Так что Некрасов, например, не поэт, по-вашему? Но вы все-таки следите хоть немного за текущей общественной жизнью, знаете, чем живет и волнуется в настоящий момент всякий честный и культурный русский человек?

Я подумал и представил себе то, что знал: все говорят о реакции, о земских начальниках, о том, что «камня на камне не оставлено от всех благих начинаний эпохи великих реформ»... что Толстой зовет «в келью под елью»... что живем мы поистине в чеховских «Сумерках»... Я вспомнил книжечку изречений Марка Аврелия, распространяемую толстовцами: «Фронтон научил меня, как черствы души людей, слывущих аристократами...» Вспомнил печального старика-хохла, с которым плыл весной по Днепру, какого-то сектанта, все твердившего мне на свой лад слова апостола Павла: «Як господь посадив одесную себя Христа на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, име-

нуемого не только в сем веке, но и в будущем, так брань наша не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей, тьмы века сего...» Я почувствовал свое уже давнее тяготение к толстовству, освобождающему от всяких общественных уз и вместе с тем ополчающемуся на «мироправителей тьмы века сего», ненавистных и мне, — и пустился в проповедь толстовства.

— Так что, по-вашему, единственное спасение от всех зол и бед в этом пресловутом неделании, непротivлении? — спросил доктор с преувеличенным безразличием.

Я поспешил ответить, что я за делание и за противление, «только совсем особое». Мое толстовство складывалось из тех сильных противоположных чувств, которые возбуждали во мне Пьер Безухов и Анатолий Куракин, князь Серпуховской из «Холстомера» и Иван Ильич, «Так что же нам делать» и «Много ли человеку земли нужно», из страшных картин городской грязи и нищеты, нарисованных в статье о московской переписи, и поэтические мечты о жизни среди природы, среди народа, которую создавали во мне «Казачи» и мои собственные впечатления от Малороссии: какое это счастье — отряхнуть от ног прах всей нашей несправедливой жизни и заменить ее чистой, трудовой жизнью где-нибудь на степном хуторе, в белой мазанке на берегу Днепра! Кое-что из всего этого, опустив мазанку, я и сказал доктору. Он слушал, казалось, внимательно, но как-то чересчур снисходительно. Одну минуту у него помутились сонно отяжелевшие глаза и задрожали от приступа зевоты сжатые челюсти, но он одолел себя, зевнул только через ноздри и сказал:

— Да, да, я вас слушаю... Значит, вы не ищете лично для себя никаких, так сказать, обычных благ «мира сего»? Но ведь есть же не только личное. Я, например, далеко не восхищаюсь народом, хорошо, к сожалению, знаю его, весьма мало верю, что он есть кладезь и источник всех премудростей и что я обязан вместе с ним утверждать землю на трех китах, но неужели все-таки мы ничем ему не обязаны и ничего не должны ему? Впрочем, не смею поучать вас в этом направлении. Я во всяком случае очень рад, что мы побеседовали. Теперь же вернусь к тому, с чего начал. Скажу кратко и, простите, совершенно твердо. Каковы бы ни были чувства между вами и моей дочерью и в какой бы стадии развития они ни находились, скажу заранее: она, конечно, совершенно свободна, но, буде пожелает, например, связать себя с вами какими-либо прочными узами и спросит на то моего, так сказать, благословения, то получит от меня решительный отказ. Вы очень симпатичны мне, я желаю вам всяческих благ, но это так. Почему? Отвечу совсем по-обывательски: не хочу видеть вас обоих

несчастливыми, прозябающими в нужде, в неопределенном существовании. И потом, позвольте говорить уж совсем откровенно: что у вас общего? Гликерия девочка хорошенькая и, нечего греха таить, довольно переменчивая,— нынче одно увлечение, завтра другое,— мечтает, уж конечно, не о толстовской келье под елью,— посмотрите-ка, как она одевается, невзирая на наше захолустье. Я отнюдь не хочу сказать, что она испорченная, я только думаю, что она, как говорится, совсем не пара вам...

Она ждала меня, стоя под лестницей, встретила меня во-прошающими и готовыми к ужасу глазами. Я поспешно передал ей последние слова доктора. Она опустила голову.

— Да, против его воли я никогда не пойду,— сказала она.

V

Живя на подворье Никулиной, я иногда выходил и без цели шел по Щепной площади, потом по пустым полям сзади монастыря, где стояло большое кладбище, обнесенное старыми стенами. Там только ветер дул — грусть и глушь, вечный покой крестов и плит, всеми забвенных, заброшенных, что-то пустое, подобное одинокой, смутной мысли о чем-то. Над воротами кладбища была написана безграничная сизая равнина, вся изрытая разверзающимися могилами, наискось падающими надгробиями, подымающимися из-под них зубастыми и ребрастыми скелетами и незапамятно-древними старцами и стариками в бледнозеленых саванах. И огромный ангел с трубой возле уст летел, трубил над этой равниной, полосами развевая свои блекло-синие одежды, согнув в коленях голые девичьи ноги, вскинув сзади себя длинные меловые ступни... На подворье царил осенний уездный мир, было тоже пусто — подъезду из деревень почти не было. Я возвращался, входил во двор — навстречу мне, из-под навесов двора, несла петуха стряпуха в мужицких сапогах: «Вот в дом несу,— говорила она, неизвестно чему смеясь,— совсем очумел от старости, нехай теперь со мной квартирует...» Я поднимался на широкое каменное крыльцо, проходил темные сенцы, потом теплую кухню с нарами, шел в горницы,— там была спальня хозяйки и та комната, где стояли два больших дивана, на которых спали редкие приезжие из мещан и духовенства, а чаще всего один я. Тишина, в тишине мерный бег в спальне хозяйки будильника... «Прогулялись?» — ласково, с улыбкой милого снисхождения, спрашивает хозяйка, выходя оттуда. Какой очаровательный, гармонический голос! Она была полная, круглоликая. Я порой не мог спокойно смотреть на нее — особенно в те вечера, когда она, вся алая, возвращалась из бани и долго пила чай, сидела с еще темными, влаж-

ными волосами, с тихим и томным блеском глаз, в белой ночной кофточке, свободно и широко покоя в кресле свое чистое тело, а ее любимая шелковисто-белая с розовыми глазами кошка мурлыкала в ее полных, слегка расставленных коленях. Снаружи слышался стук: стряпуха затворяла с улицы крепкие сплошные ставни, гремела, продевая оттуда в комнату, в круглые отверстия по бокам окон, железные шкворни коленчатых баутов,— нечто напоминающее старинные, опасные времена. Никулина поднималась, вставляла в дырочки на концах баутов железные клинушки и опять бралась за чай, и в комнате становилось еще уютнее... Дикая чувства и мысли проходили тогда во мне: вот бросить все и навсегда остаться тут, на этом подворье, спать в ее теплой спальне, под мерный бег будильника! Над одним диваном висела картина: удивительно зеленый лес, стоящий сплошной стеной, под ним бревенчатая хижинка, а возле хижинки — кротко согнувшийся старчик, положивший ручку на голову бурого медведя, тоже кроткого, смиренного, мягколапого; над другим — нечто совершенно нелепое для всякого, кто должен был сидеть или лежать на нем: фотографический портрет старика в гробу, важного, белоликого, в черном сюртуке,— покойного мужа Никулиной. Из кухни, в лад долгому осеннему вечеру, слышался дробный стук и протяжное: «У церкви стояла карета, там пышная свадьба была...» — это пели и рубили на зиму острыми сечками свежие тугие кочаны капусты слободские девки-поденщицы. И во всем,— в этой мещанской песне, в мерном хозяйственном стуке, в старой лубочной картине, даже в покойнике, жизнь которого все еще как бы длилась в этом бессмысленно-счастливым житии подворья,— была какая-то сладкая и горькая грусть...

VI

В ноябре я уехал домой. Прощаясь, мы условились встретиться в Орле: она выедет туда первого декабря, я же, для приличия, хоть неделей позднее. А первого, в морозную лунную ночь, поскакал в Писарево, чтобы сесть там как раз в тот ночной поезд, с которым она должна была ехать из города. Как вижу, как чувствую эту сказочно-дивную ночь! Вижу себя на полпути между Батуриным и Васильевским, в ровном снежном поле. Пара летит, коренник точно на одном месте трясет дугой, дробит крупной рысью, пристяжная ровно взвывает и взвывает зад, мечет и мечет вверх из-под задних бело-сверкающих подков снежными комьями... порой вдруг сорвется с дороги, ухнет в глубокий снег, зашепит, зачастую, пугаясь в нем вместе с опавшими постромками, потом опять цепко выскочит и опять несет, крепко рвет валеки... Все летит, спешит — и

вместе с тем точно стоит и ждет: неподвижно серебрится вдали, под лунной, чешуйчатый наст снегов, неподвижно белеет низкая и мутная с морозу луна, широко и мистически-печально охваченная радужно-туманным кольцом, и всего неподвижней я, застывший в этой скачке и неподвижности, покорившийся ей до поры до времени, оцепеневший в ожидании, а наряду с этим тихо глядящий в какое-то воспоминание: вот такая же ночь и такой же путь в Васильевское, только это моя первая зима в Батурине, и я еще чист, невинен, радостен — радостью первых дней юности, первыми поэтическими упоениями в мире этих старинных томиков, привозимых из Васильевского, их стансов, посланий, элегий, баллад:

Скачут. Пусто все вокруг.
Степь в очах Светланы...

«Где все это теперь!» — думаю я, не теряя, однако, ни на минуту своего главного состояния, — оцепенелого, ждущего. «Скачут, пусто все вокруг», — говорю я себе в лад этой скачке (в ритм движения, всегда имевшего такую ворожащую силу надо мной) и чувствую в себе кого-то лихого, старинного, куда-то скачущего в кивере и медвежьей шубе, и о действительности напоминает только засыпанный снегом работник, в армяке поверх полушубка стоящий в передке, да пересыпанная снежной пылью, мерзлая, пахучая овсяная солома, набитая под передком в моих застывших ногах... За Васильевским, на раскате в ухаб, упавший коренник переломил оглоблю, — я, пока работник связывал ее, замирал от ужаса, что опоздаю к поезду. Приехав, тотчас на последние деньги купил билет первого класса, — она ездила в первом, — и кинулся на платформу. Помню мутный от морозного пара лунный свет, в котором терялся желтый свет ее фонарей и освещенных окон телеграфа. Поезд уже подходил, я глядел в мутную снежную даль, чувствуя себя точно стеклянным от мороза и ледяного внутреннего трепета. Неожиданно и гулко забил колокол, резко завизжали и захлопали двери, туго и резко заскрипели быстрые шаги выходящих из вокзала — и вот как-то космато зачернел вдали паровоз, показался медленно идущий под его тяжелое дыхание страшный треугольник мутнокрасных огней... Поезд подошел с трудом, весь в снегу, промерзлый, визжа, скрипя, ноя... Я вскочил в сенцы вагона, распахнул дверь в него — она, в шубке, накинутой на плечи, сидела в сумраке, под задернутым вишневым занавеской фонарем, совсем одна во всем вагоне, глядя прямо на меня...

Вагон был старый, высокий, на трех парах колес; на бегу, на морозе, он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками, замерзшие стекла его играли серыми

алмазами... Мы были уже где-то далеко, была поздняя ночь... Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания... Она встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол...

VII

Зиму мы жили в Орле.

Как выразить чувства, с которыми мы вышли утром из вагона, вошли в редакцию, втайне соединенные этой новой, жуткой близостью!

Я поселился в маленькой гостинице, она попрежнему у Авиловой. Там мы проводили почти весь день, а заветные часы — в этой гостинице.

Это было счастье нелегкое, изнурительное и телесно и душевно.

Помню: как-то вечером она была на катке, я сидел и занимался в редакции, — мне там уже стали давать кое-какую работу, некоторый заработок, — в доме было пусто и тихо, Авилова уехала на какое-то собрание, вечер казался бесконечным, фонарь, горевший за окном на улице, грустным, никому не нужным, приближающиеся и удаляющиеся шаги прохожих, их скрипы по снегу, точно уносили, отнимали что-то от меня; сердце мне томила тоска, обида, ревность, — вот я тут сижу один, за какой-то нелепой, недостойной меня работой, до которой я унился ради нее, а ей где-то там, на этом ледяном пруду, окруженном белыми снежными валами с черными елками, оглушаемом полковой музыкой, залитом сиреневым газовым светом и усеянном летающими черными фигурами, — ей там весело... Вдруг раздался звонок и быстро вошла она. На ней был серый костюм, серая беличья шапочка, в руках она держала блестящие коньки, и все в комнате сразу радостно наполнилось ее морозной молодой свежестью, красотой раскрасневшегося от мороза и движения лица. «Ох, — сказала она, — устала я!» — и прошла в свою комнату. Я пошел за ней, она бросилась на диван, с усмешкой изнеможения откинулась, все еще держа коньки в руках. Я с мучительным и уже привычным чувством смотрел на ее высокий зашнурованный подъем, на ногу, обтянутую серым чулком и видную из-под короткой серой юбки, — даже одна эта плотная шерстяная материя вождеденно мучила меня, — стал упрекать ее, — ведь мы не виделись весь день! — потом вдруг, с пронзительным чувством нежности и жалости, увидел, что она спит... Очнувшись, она ласково и грустно ответила: «Я почти все слышала. Не сердись, я вообще очень устала. Ведь я слишком много пережила за этот год!»

Чтобы найти предлог для жизни в Орле, она начала учиться музыке. Я тоже нашел предлог: работу в «Голосе». Первое время это меня даже радовало: радовала хоть некоторая правильность, наставшая в моем существовании, успокаивала некоторая обязательность, которая вошла в мою лишенную всяких обязательств жизнь. Потом все чаще стало мелькать в уме: о такой ли жизни я мечтал! Вот я, может быть, в самой лучшей поре своей, когда весь мир должен быть в моем обладании, а я не обладаю даже калошами! Все это только пока, теперь? Ну, а что впереди? Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности: этот «вечный раздор между мечтой и существенностью», вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне.

Больше всего мучился я, когда бывал с ней на балах, в гостях. Когда она танцевала с кем-нибудь, кто был красив, ловок, и я видел ее удовольствие, оживление, быстрое мелькание ее юбок и ног, музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчаниновым,— тем противоестественно-высоким офицером в черных полубачках, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно высока,— все-таки он был на две головы выше ее и, тесно обняв и плавно, длительно кружа ее, как-то настойчиво смотрел на нее сверху вниз, а в ее поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем бесконечно ненавистное мне. Как молил я тогда бога, чтобы произошло нечто невероятное,— чтобы он вдруг наклонился и поцеловал ее и тем сразу разрешил, подтвердил тяжкие ожидания, замиранья моего сердца!

— Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему,— сказала она раз.— Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя...

И точно: по какому-то тайному закону, требующему, чтобы во всякую любовь, и особенно любовь к женщине, входило чувство жалости, страдающей нежности, я жестоко не любил — особенно на людях — минут ее веселости, оживления, желания нравиться, блистать — и горячо любил ее простоту, тишину, кротость, беспомощность, слезы, от которых у нее тотчас же по-детски вспухали губы. В обществе я действительно чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем,

втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей мою впечатлительность, зоркость, пронизательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел я близости с ней и как страдал, не достигая ее!

Я часто читал ей стихи.

— Послушай, это изумительно! — восклицал я. — «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!»

Но она изумления не испытывала.

— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на диване, положив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему «как месяц над рощей»? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.

Я негодовал: описаний! — пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась:

— Это только пауки, миленький, так живут!

Я читал:

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли...

Она спрашивала:

— Какие змеи?

И нужно было объяснить, что это — метель, поэмка.

Я, бледнея, читал:

Ночь морозная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей...
За горами, лесами, в дыму облаков,
Светит пасмурный призрак луны...

— Миленький, — говорила она, — ведь я же этого ничего никогда не видала!

Я читал уже с тайным укором:

Солнца луч промеж туч был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок...

Она слушала одобрительно, но, вероятно, только потому, что представляла себе, что это она сама сидит в саду, чертя по песку хорошеньким зонтиком.

— Это правда прелестно, — говорила она. — Но достаточно стихов, поди ко мне... Все-то ты недоволен мной!

Я нередко рассказывал ей о своем детстве, ранней юности, о поэтической прелести нашей усадьбы, о матери, отце, сестре: она слушала с беспощадным безучастием. Я хотел от нее грусти, умиления, рассказывая о той бедности, которая наступала

порой в жизни нашей семьи,— о том, например, как однажды мы сняли все старинные ризы со всех наших образов и повезли их закладывать в город Мещериновой, одинокой старухе страшного восточного вида, горбоносой, усатой, с выкаченными белками, в шелках, шалях и перстнях, в пустом доме которой, загроможденном всяким музейным убранством, весь день диким и мертвым голосом кричал попугай: и что же видел вместо грусти, умиления?

— Да, это ужасно,— невнимательно говорила она.

Чем дальше жил я в городе, тем больше чувствовал себя в нем как-то совершенно ни к чему,— даже Авилова почему-то изменилась ко мне, стала суха, насмешлива; чем темней и скучней становилась моя городская жизнь, тем чаще тянуло меня быть наедине с ней,— что-нибудь читать, рассказывать, высказываться. В моей комнате в гостинице было узко, серо, страшно грустно за себя — за чемоданишко и несколько книжек, составивших все мое богатство, за одинокие ночи, которые так бедно и холодно не то что спал, а скорее одолевал я в ней, все сквозь сон поджидая рассвета, первого морозного, зимнего удара в колокол на соседней колокольне. В ее комнате тоже было тесно, она была в конце коридора, возле лестницы в мезонин, зато окнами выходила в сад, была тиха, тепла, хорошо убрана; в сумерки в ней топилась печка, она же умела лежать на подушках дивана удивительно приятно, вся сжавшись и подобрив под себя свои на редкость хорошенькие туфельки. Я говорил:

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне,
Мы сели с ней друг против друга,
Валежник свистал на огне...

Но все эти вьюги, леса, поля, поэтически-дикарские радости уюта, жилья, огня были особенно чужды ей.

Мне долго казалось, что достаточно сказать: «Знаешь эти осенние накатанные дороги, тугие, похожие на лиловую резину, иссеченные шипами подков и блестящие под низким солнцем слепящей золотой полосой?», чтобы вызвать ее восторг. Я рассказывал ей, как мы однажды с братом Георгием ездили поздней осенью покупать на сруб березу: в поварской у нас вдруг рухнул потолок, чуть не убил древнего старика, нашего бывшего повара, вечно лежавшего в ней на печи, и вот мы поехали в рошу, покупать эту березу на матицу. Шли непрерывные дожди (все мелкими, быстро сыплющимися сквозь солнце каплями), мы рысюю катили в телеге с мужиками сперва по большой дороге, потом по роше, которая стояла в этом дробном, дождевом и солнечном сверкании на своих еще зеленых, но уже мертвых и залитых водою полянах с удивительной воль-

ностью, картинностью и покорностью... Я говорил, как несказанно жаль было мне эту раскидистую березу, сверху донизу осыпанную мелкой ржавой листвой, когда мужики косолапо и грубо обошли, оглядели ее кругом и потом, поплевав в рубчатые, звериные ладони, взялись за топоры и дружно ударили в ее пестрый от белизны и черни ствол... «Ты не можешь себе представить, как страшно мокро было все, как все блестело и переливалось!» — говорил я и кончил признанием, что хочу написать об этом рассказ. Она пожала плечами:

— Ну, миленький, о чем же тут писать! Что ж все погоду описывать!

Одним из самых сложных и мучительных наслаждений была для меня музыка. Когда она играла что-нибудь прекрасное, как любил я ее! Как изнемогала душа от восторженно-самотверженной нежности к ней! Как хотелось жить долго, долго! Часто я думал, слушал: «Если мы когда-нибудь расстанемся, как я буду слушать это без нее! Как я буду вообще любить что-нибудь, чему-нибудь радоваться, не делясь с ней этой любовью, радостью!» Но о том, что мне не нравилось, я был так резок в суждениях, что она выходила из себя:

— Надя! — кричала она Авиловой, бросая клавиши и круто повертываясь к соседней комнате.— Надя, послушай, что он здесь несет!

— И буду нести! — восклицал я.— Три четверти каждой из этих сонат — пошлость, гам, кавардак! Ах, здесь слышен стук гробовой лопаты! Ах, тут феи на лугу кружатся, а тут гремят водопады! Эти феи одно из самых ненавистных мне слов! Хуже газетного «чреватый»!

Она уверяла себя в своей страстной любви к театру, а я ненавидел его, все больше убеждался, что талантливость большинства актеров и актрис есть только их наилучшее по сравнению с другими умение быть пошлыми, наилучше притворяться по самым пошлым образцам творцами, художниками. Все эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука; эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, эти Фамусовы, играющие перстнями и выпячивающие, точные сливы, жирные актерские губы; эти Гамлеты в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными, подведенными глазами, с черно-бархатными ляжками и плебейскими плоскими ступнями,— все это приводило меня

просто в содрогание. А опера! Риголетто, изогнутый в три погибели, с ножками раз навсегда раскинутыми врозь вопреки всем законам естества и связанными в коленках! Сусанин, гробно и блаженно закатывающий глаза к небу и выводящий с перекатами: «Ты взойдешь, моя заря», мельник из «Русалки» с худыми, как сучья, дико раскинутыми и грозно трясущимися руками, с которых, однако, не снято обручальное кольцо, и в таких лохмотьях, в столь истерзанных, зубчатых портках, точно его рвала целая стая бешеных собак! В спорах о театре мы никогда ни до чего не договаривались: теряли всякую уступчивость, всякое понимание друг друга. Вот знаменитый провинциальный актер, гастролируя в Орле, выступает в «Записках сумасшедшего», и все жадно следят, восхищаются, как он, сидя на больничной койке, в халате, с неумеренно-небритым бабьим лицом, долго, мучительно долго молчит, замирая в каком-то идиотски-радостном и все растущем удивлении, потом тихо, тихо подымает палец и наконец, с невероятной медленностью, с нестерпимой выразительностью, зверски выворачивая челюсть, начинает слог за слогом: «Се-го-дня-шнего дня...» Вот, на другой день, он еще великолепно притворяется Любимом Торцовым, а на третий — сизоносый, засаленный Мармеладовым: «А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» — Вот знаменитая актриса пишет на сцене письмо — вдруг решила написать что-то роковое и, быстро сев за стол, обмакнула сухое перо в сухую чернильницу, в одно мгновение сделала три длинных линии по бумаге, сунула ее в конверт, звякнула в колокольчик и коротко и сухо приказала появившейся хорошенькой горничной в белом фартучке: «Немедленно отправьте это с посыльным!» — Каждый раз после такого вечера в театре мы с ней кричим друг на друга, не давая спать Авиловой, до трех часов ночи, и я клянусь уже не только гоголевского сумасшедшего, Торцова и Мармеладова, но и Гоголя, Островского, Достоевского...

— Но, допустим, вы правы, — кричит она, уже бледная, с потемневшими глазами и потому особенно прелестная, — почему все-таки приходите вы в такую ярость? Надя, спроси его!

— Потому, — кричу я в ответ, — что за одно то, как актер произносит слово «аромат» — «а-ро-мат!» — я готов задушить его!

И такой же крик подымался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противополо-

ложное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал:

— Если б ты знала, сколько у меня врагов!

— Каких? Где? — спросила она.

— Всяких, всюду: в гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале...

— Кто же эти враги?

— Да все, все! Какое количество мерзких лиц и тел! Ведь это даже апостол Павел сказал: «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов...» Некоторые просто страшны! На ходу так кладут ступни, так держат тело в наклон, точно они только вчера поднялись с четверенек. Вот я вчера долго шел по Болховской сзади широкоплечего, плотного полицейского пристава, не спуская глаз с его толстой спины в шинели, с икр в блестящих, крепко выпуклых голенищах; ах, как пожирал я эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруе!

— Как тебе не совестно! — сказала она с брезгливым сожалением. — Неужели ты правда такой злой, гадкий? Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей!

IX

И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой — милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидеть ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, — просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним «собственные телеграммы», чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных беллетристов, а сам слушал, ждал — и вот наконец: быстрые шаги, шелест юбки! Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Так же забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнувшая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочко-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем, она, смеясь, увертывалась, — «пусти, я по делу пришла!» — звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему...

Я однажды нечаянно услышал ее разговор с Авиловой, — они

как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая, что я в типографии. Авилова спрашивала:

— Лика, милая, но что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась... Но дальше-то что?

Я точно в пропасть полетел. Как, я «очень мил», не более! Она всего-навсего только «увлеклась»!

Ответ был еще ужаснее:

— Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода...

При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле,— как вдруг она опять заговорила:

— Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его! А потом, ты его все-таки не знаешь,— он в тысячу раз лучше, чем кажется...

Да, я мог казаться гораздо хуже, чем был. Я жил напряженно, тревожно, часто держался с людьми жестко, заносчиво, легко впадая в тоску, в отчаяние; однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает: тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, подкрахмаленные складки которой расклеивались, разрывались с восхитительным треском! Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность! Каждый раз перед балом я переживал жесткие минуты,— нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется ни разу не надеванный, и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались — стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидеть пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчицын санки... Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы балных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами, зачем разыгрывалась перед ними такая шеголеватая свирепость квартальных, командовавших съездом! Но все равно — это был уж бал, этот странный вход, ярко и бело заливавший каленым светом перемешанный сахарный снег перед ним, и вся эта игра в быстроту и в лад, четкий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах,— много форм было когда-то в России,—

и все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами,— я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которым и надлежало идти по красным коврам широких лестниц столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом — эта великолепная пустота залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющей алмазным сиянием, огромные нагие окна, лоск и еще вольная просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальной белой лайки — и все это волнение при виде все прибывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы,— пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой.

Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд, внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями, воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я, в этом чужом фраке, с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий,— какой-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции,— чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все людней и шумней, музыка гремела привычней, в дверях залы уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел, на женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичней, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливей и надменней... Потом вдруг видел их,— вот они, осторожно, с полуулыбками, пробираются в толпе,— и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно: они и не они, те и не те. Особенно она — совсем не та! Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость: схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно-праздничное платьице, обнаженные от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми руки, еще неуверенное выражение лица... только прическа выскокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся, она передавала веер Авиловой и как будто рассеян-

но, с грацией клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. И я как-то прощально и уже с холодом враждебности смотрел ей вслед.

Маленькая, живая, всегда вся крепко и весело собранная, Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ведь ей всего двадцать шесть лет, и впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму,— о том, что она может любить и ревновать меня.

Х

Потом мы надолго расстались.

Началось с того, что неожиданно приехал доктор.

Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услышал оживленные голоса и смех в столовой. Я приостановился — что такое? Это, оказалось, накурил на весь дом доктор, это говорил он — громко, с оживлением того сорта людей, которые, достигнув известного возраста, так и оставались в нем без всяких перемен на целые годы, наслаждаясь отличным самочувствием, непрерывным курением и немолчной говорливостью. Я оторопел — что значит этот внезапный приезд? Какое-нибудь требование к ней? И как войти, как держать себя? — Ничего страшного не произошло, однако, в первые минуты. Я быстро справился с собой, вошел, приятно изумился... Доктор, по своей доброте, даже несколько смутился, поспешил, смеясь и как бы извиняясь, сказать, что приехал «отдохнуть на недельку от провинции». Я тотчас заметил, что и она была возбуждена. Почему-то возбуждена была и Авилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как неожиданный гость, как человек, только что явившийся из уезда в губернию и потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой столовой. Я уже начал успокаиваться. Но тут-то и ждал меня удар: из всего того, что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомоловым, молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим виды на нее; а затем услышал смех доктора:

— Говорит, что влюблен в тебя, Лика, без ума, приехал с самыми решительными намерениями! Так что теперь судьба сего несчастного в твоём полном распоряжении: захочешь — помилуешь, не захочешь — навеки погубишь...

А Богомолов был не только богат: он был умен, характером

жив и приятен, кончил университет, жила за границей, говорил на двух иностранных языках; с виду он мог в первую минуту почти испугать: красно-рыжий, гладко причесанный на прямой ряд, нежно круглолицый, он был чудовищно, нечеловечески толст,— не то какой-то до противоестественной величины выросший и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой йоркшир; однако все в этом йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывала: в голубых глазах — небесная лазурь, цвет лица — несказанный по своей девственности, во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ что-то застенчивое и милое; ножки и ручки у него были трогательно маленькие, одежда из английской материи, носки, рубашка, галстук — все шелковое. Я быстро взглянул на нее, увидел ее неловкую улыбку... И все вдруг мне стало чужим, далеким, сам себе я вдруг показался всему этому дому постыдно лишним, ненужным, к ней меня охватила ненависть...

После того мы никогда и часу не могли провести наедине, она не расставалась то с отцом, то с Богомолковым. Авилову не покидала загадочно-веселая усмешка, она проявила к Богомолову такую любезность, приветливость, что он с первого же дня стал совсем своим человеком в доме, появлялся в нем с утра и сидел до позднего вечера, в гостинице только ночевал. Начались, кроме того, репетиции любительского драматического кружка, которого Лика была членом,— кружок готовился к спектаклю на масленице и через нее привлек на маленькие роли не только Богомолова, но и самого доктора. Она говорила, что принимает ухаживания Богомолова только ради отца, ради того, чтобы не обижать его резким отношением к Богомолову, и я всячески крепился, делал вид, что верю ей, даже заставлял себя бывать на этих репетициях, стараясь скрывать таким образом свою тяжкую ревность и все те другие мучения, которые я испытывал на них: я не знал, куда глаза девать и от стыда за нее, за ее жалкие попытки «играть». И какое это было вообще страшное зрелище человеческой бездарности! Репетициями руководил профессионал, безработный актер, мнивший себя, конечно, большим талантом, упивавшийся своим гнусным сценическим опытом, человек неопределенного возраста, с лицом цвета замазки и в таких крупных морщинах, что они казались нарочно сделанными. Он поминутно выходил из себя, давая указания, как нужно вести ту или иную роль, ругался так грубо и бешено, что на висках у него веревками вздувались склеротические жилы, сам играл то мужские, то женские роли, и все выбивались из сил в подражании ему, терзая меня каждым звуком голоса, каждым движением тела: как ни нестерпим был актер, его подражатели были еще нестерпимее. И почему,

зачем играли они? Была среди них присущая каждому провинциальному городу полковая дама, костлявая, самоуверенная, дерзкая, была ярко рывившаяся девица, всегда чего-то ждущая, усвоившая себе манеру накусывать губы, были две сестры, известные всему городу своей неразлучностью и разительным сходством между собою: обе рослые, грубо-черноволосые, с черными сросшимися бровями, строго-молчаливые — настоящая пара вороных дышловых лошадей, был чиновник особых поручений при губернаторе, совсем еще молодой, но уже лысеющий блондин с вылупленными голубыми глазами в красных веках, очень высокий, в очень высоких воротничках, изнурительно вежливый и деликатный, был местный знаменитый адвокат, дородный, огромный, толстогрудый, толстоплечий, с тяжелыми ступнями, — когда я видал его на балах, во фраке, я всегда принимал его за главного лакея, — был молодой художник: черная бархатная блуза, длинные индусские волосы, козлиный профиль с козлиной бородкой, женственная порочность полузакрытых глаз и нежных ярко-красных губ, на которые было неловко смотреть, женский таз...

Потом настал и сам спектакль. До поднятия занавеса я сунулся было за кулисы: там сходили с ума, одеваясь, гримируясь, крича, ссорясь, выбегая из уборных, наталкиваясь друг на друга и не узнавая друг друга, — так странно все были напряжены, — кто-то был даже в коричневом фраке и фиолетовых штанах, — так мертвы были парики и бороды, неподвижны размалеванные лица с пластырно-розовыми наклейками на лбах и носах, с подведенными, блестящими глазами, с начерченными, крупными и тяжело, как у манекенов, моргающими ресницами. Я, столкнувшись с ней, тоже не узнал ее, поражен был ее кукольностью — каким-то розовым, грациозно-старомодным платьищем, густым белокурым париком, лубочной красотостью и детскостью конфетного лица... Богомоллов играл желтоволового дворника, — его нарядили с особенной избразительностью, подобающей созданию «бытового типа», — а доктор старого дядюшку, отставного генерала: он и начал спектакль, сидя на даче, в плетеном кресле, под дощатым зеленым деревом, стоящим на голом полу, в новеньком чесучовом костюме, тоже весь розово намалеванный, с огромными молочными усами и подушниками, откинувшись в кресле и надутно глядя в широко раскрытую газету, весь, несмотря на прекрасное летнее утро декораций, ярко освещенный снизу лампочками ramпы и при всех своих сединах изумительно молодожавый; он должен был сказать, почитавши газету, что-то густо-ворчливое, но все только глядел, ничего не мог сказать, несмотря на отчаянный шип из суфлерской будки: только тогда, когда она выскочила наконец из-за кулис (с детски-игривым, очаровательно-резвым смехом) и ки-

нулась на него сзади, захватила ему глаза руками, крича: «угадай, кто?» — только тогда закричал и он, отчеканивая каждое слово: «Пусти, пусти, коза, отлично знаю, кто!»

В зале было полутемно, на сцене солнечно, ярко. Я, сидя в первом ряду, взглядывал то на сцену, то вокруг себя; ряд состоял из самых богатых, удушаемых своей полнотой штатских и самых видных чинами и фигурами полицейских и военных, и все они были точно скованы тем, что творилось на сцене, — напряженные позы, недоконченные улыбки... Я не мог досидеть даже до конца первого действия. Как только что-то стукнуло на сцене, — знак, что скоро занавес, — я быстро пошел вон. Там, на сцене, разыгрались уже вовсю, — в светлый и естественный коридор, где ко всему привычный старик помогал мне одеваться, особенно неестественно доносились неумеренно бойкие восклицания артистов. Я наконец выскочил на улицу. Чувство какого-то губельного одиночества достигло во мне до восторга. Было безлюдно, чисто, огни фонарей блестели неподвижно. Я шел не домой, — там, в моей узкой комнате, в гостинице, было уж слишком страшно, — а в редакцию. Я прошел вдоль присутственных мест, свернул на пустую площадь, посреди которой поднимался собор, теряясь чуть блестевшим золотым куполом в звездном небе... Даже в окрипе моих шагов по снегу было что-то высокое, страшное... В теплом доме была тишина, мирный, медленный стук часов в освещенной столовой. Мальчик Авиловой спал, нянька, отворившая мне, сонно взглянула на меня и ушла. Я прошел в эту уже столь знакомую мне и столь для меня особенную комнату под лестницей, сел в темноте на знакомый, теперь какой-то роковой диван... Я и ждал, и ужасался той минуты, когда вдруг приедут, шумно войдут, наперебой станут говорить, смеяться, садиться за самовар, делиться впечатлениями, — всего же больше боялся того мгновения, когда раздастся ее смех, ее голос... Комната была полна ею, ее отсутствием и присутствием, всеми ее запахами — ее самой, ее платьев, духов, мягкого халатика, лежавшего возле меня на валике дивана... В окно грозно синела зимняя ночь, за черными сучьями деревьев в саду сверкали звезды...

На первой неделе поста она уехала с отцом и Богомоловым (отказав ему). Я давно перестал даже разговаривать с ней. Она собиралась в отъезд, все время плача, каждую минуту надеясь, что я вдруг задержу, не пушу ее.

XI

Шли провинциальные великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли, иногда отчаянно махали крестнакрест руками, несмело окликали проходящего офицера:

«Ваше благородие! На резвой?» Галки, чуя, что все-таки скоро весна, болтали нервно, оживленно, но воробьи каркали еще жестко, круто.

Разлука казалась особенно ужасна по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался: как теперь жить и зачем жить? Уже ли это я, — тот, кто почему-то лежит в темноте этой бессмысленной ночи, в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сереющим каким-то длинным немим дьяволом! Во всем городе единственно близкий человек — Авилова. Но точно ли близкий? Двойственная и неловкая близость...

Теперь я приходил в редакцию поздно. Авилова, из приемной увидав меня в прихожей, радостно улыбалась, — она опять стала мила, ласкова, оставила усмешки надо мною, я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное внимание, заботливость, часто проводил целые вечера с ней вдвоем, — сна подолгу играла для меня, а я полудежал на диване, все закрывая глаза от подступающих слез музыкального счастья и всегда особенно обостряющейся вместе с ним любовной боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемную, я целовал ее маленькую крепкую руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый, задумчивый человек, высланный в Орел под надзор полиции, довольно странный с виду: просто-народно-бородатый, в бурой сермяжной поддевке и смазных сапогах, вонявших очень крепко и приятно, притом левша: половины правой руки у него не было, остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левой писал: долго сидит, думает, густо курит, а там вдруг прижмет лист крепче и застрочит, застрочит, — сильно, быстро, с обезьяньей ловкостью. Потом приходил коротконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель; в прихожей он снимал казакинчик на заячьем меху и финскую шапку с наушниками, после чего, в своих сапожках, шароварчиках и фланелевой блузе, подпоясанной ремешком, оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было десять лет; густые серо-седые волосы его торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикообраза; грозны были и его изумленные очки; он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильз и коробкой табаку, и за работой все время набивал папиросы: привычно глядя в столичную газету, накладывал, наминал в машинку, в ее медную створчатую трубочку, светлого волокнистого табаку, рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь, в мягкую блузу, а трубочку — в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили метранпаж, корректор. Метранпаж входил спокойно, независимо; он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непрони-

цаемости; был необыкновенно худ и сух, по-цыгански черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами, одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью: черные брючки, синяя блуза, большой крахмальный воротник, лежавший поверх ее ворота, — все блистало чистотой, новизной; я иногда разговаривал с ним в типографии: тогда он нарушал свою молчаливость, ровно и пристально смотрел мне в глаза своими темными глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса и всегда одно и то же: о несправедливости, царящей в мире, — всюду, везде, во всем. Корректор заходил то и дело — постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил, просил у автора статьи то разъяснения, то изменения: «тут, простите, что-то не совсем ловко сказано»; был толст, неуклюж, с мелко-кудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами, горбился от нервности и страха, что все видят, как он тяжко пьян, наклонялся к тому, у кого просил разъяснения, затаивая алкогольное дыхание, издавала указывая на непонятную ему или неудачную по его мнению строку трясушейся и блестящей распухшей рукой. Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал: как и что писать мне самому?

Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая «неосуществимость». Я опять стал кое-что писать, — теперь больше в прозе, — и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал: что-то то, чего не мог. Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье — и какой душевный труд! И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с «неосуществимостью», в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследование его, в непрестанное думанье о нем.

К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красиво и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авилковой и все то милое, что было в мягком лоске ее шагреновой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее... Новый рассказ Чехова! В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, — даже начала не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу: приходили

заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства: тут можно было видеть благообразного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой бумаги большого формата, на которой стояло заглавие: «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев, молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой и вежливо-четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, — «поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции», за офицером — потного от волнения и шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом Spectator свои «Деревенские картинки», за священником — уездного судебного деятеля... Деятель был человек необыкновенно аккуратный, он до странности неторопливо снимал в прихожей новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубаст и чист, чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью:

— Да, да, он непременно должен быть так чист, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами... раз у него уже лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, велики и плоски ступни, велики и плоски руки с крупными, круглыми ногтями!

К завтраку нянька приводила с гулянья мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю, на белом барашке, поддевичку, целовала в свежее, покрасневшее личико, а он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя, — и я ловил себя на зависти ко всему этому: к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки. Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумываньем чего-то для какого-то самого странного из всех человеческих дел, называемого писанием, завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, исполнив которое нынче, он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра.

После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великопостный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенно белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел беззаботный, только

что, должно быть, где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному, извозчик... Что, казалось бы, обыкновеннее? Но теперь меня все ранило — чуть не всякое мимолетное впечатление — и, ранив, мгновенно рождало порыв не дать ему, этому впечатлению, пропасть даром, исчезнуть бесследно, — молнию корыстного стремления тотчас же захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и все, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее! Дальше — богатый подъезд, возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты, видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым, — я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, подетски подпоясанного подмышки вчерашней толстой, как подушки бархатной конфедератке, вдруг вижу: за стеклянной дверцей кареты, в ее атласной бонбоньерке, сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь, какая-то премилая собачка, уши у которой совсем как завязанный бант. И опять, точно молния, радость: ах, не забыть — настоящий бант!

Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна! Старый, заброшенный дом, огромные голые сенцы, холодная лестница во второй этаж, обитая по войлоку рваной клеенкой дверь. Три сверху донизу установленных истрепанными, лохматыми книгами залы. Длинный прилавок, конторка, маленькая, плоскогрудая, неприветливо-тихая заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми, бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце, и запущенный отрок в серой блузе, с мягкой, давно не стриженной мышиной головой, исполняющий ее приказания... Я приходил в «кабинет для чтения», круглую, пахнущую угаром комнату с круглым столом посередине, на котором лежали «Епархиальные ведомости», «Русский паломник». За столом сидел, гнул, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги один неизменный читатель — тощий юноша, гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка... Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих, одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе и по тому, что оба читали? Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое — о «Сошном письме». Да и на меня не раз глядела заведующая с недоумением: я спрашивал «Северную пчелу», «Московский вестник», «Полярную звезду», «Северные цветы», «Современник» Пушкина... Брал, впрочем, и новое —

всякие «Биографии замечательных людей»: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми... «Замечательные люди!» Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка... Шекспир, Байрон, Шелли, Гете... Расин, Мольер... Все тот же «Дон Кихот», все та же «Манон Леско»... В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева — с большим восхищением: «Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала!»

Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Томимый грустью и о себе, и о ней, и о далеком родном доме, я заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто, сумрак, огоньки редких свечей, несколько старух, стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, в одном месте поправляя наклонившуюся и слишком жарко тающую свечу, в другом дует на догорающую, распространяя запах гари и воска, потом тиская ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками, — и видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его: крещения, причастия, венчания, похороны и все праздники, все посты, из году в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе, без ризы непривычно тонкий, подомашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им, так что отвисает, отделяется от груди епитрахиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном, покаянном сумраке, в печальной пустоте: «Господи, владыко живота моего...» Тихо выйдя из церкви, я опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко, с притворным смирением, клонил передо мной густую седую голову нищий, приготовив ковшиком ладонь, когда же ловил и зажимал пятак, взглядывал и вдруг поражал: жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос — тройной, состоящий из трех крупных, бугристых и пористых клубник... Ах, как опять мучительно-радостно: тройной клубничный нос!

Я шел вниз по Болховской, глядя в темнеющее небо — в небе мучили очертания крыш старых домов, непонятная успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров — кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко,

уютно... Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймав в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы «бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общест-венности, современности, ее настроений и течений»! Я ускорял шаги, спускался к Орлику. Вечер уже переходил в ночь, газовый фонарь на мосту горел уже ярко, под фонарем гнулся, запустив руки подмышки, по-собачьи глядел на меня, по-собачьи весь дрожал крупной дрожью и деревянно бормотал: «Ваше сиятельство!» стоявший прямо на снегу босыми красными лапами золоторотец в одной рваной ситцевой рубашке и коротких розовых подштанниках, с опухшим угреватым лицом, с мутно-льдыстыми глазками. Я быстро, как вор, хватал и затаивал его в себе, совал ему за это целый гривенник... Ужасна жизнь! Но точно ли «ужасна»? Может, она что-то совершенно другое, чем «ужас»? Вот я на днях сунул пятак такому же босяку и наивно воскликнул: «Это все-таки ужасно, что вы так живете!» — и нужно было видеть, с какой неожиданной дерзостью, твердостью и злобой на мою глупость хрипло крикнул он мне в ответ: «Ровно ничего ужасного, молодой человек!» — А за мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешанная богатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, тоже завешанной сверху донизу. «Социальные контрасты!» — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозчиью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!

XII

Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь. И вот я мысленно видел какой-то уездный городишко, неведомый, несуществующий, только вообразившийся мне, но так, точно вся моя жизнь прошла в нем. Видел широкие, занесенные снегом улицы, чернеющие в снегу хибарки, красный огонек в одной из них... И с восторгом твердил себе: да, да, вот так и написать, всего три слова: снега, хибарка и лампада в ней... больше ничего! — По-

левой зимний ветер уже доносил крики паровозов, их шипение и этот сладкий, до глубины души волнующий чувством дали, простора запах каменного угля. Навстречу, чернея, неслись извозчики с седоками — уже пришел московский почтовый? И точно — буфетная зала жарка от народа, огней, запахов кухни, самовара, носятся, развевая фалды фраков, татары-лакеи, все кривоногие, темноликие, широкоскулые, с лошадиными глазами, с круглыми, как ядра, стриженными сизыми головами... За общим столом — целое купеческое общество, едят холодную осетрину с хреном скопцы: большие и тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы... В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, — и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, по той, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение — сердечная боль и быстрота! Сидя в санках, вместе с ними ныряя и стукаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову — ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают — ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь! В прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилову: «Ах, как кстати! Едем на концерт!» На ней что-то черно-кружевное, очень красивое, сделавшее ее еще меньше, стройней, открывающее плечи, руки и нежное начало грудей, она причесана у парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза кажутся ярче, темней. Я одеваю ее шубкой, с трудом удерживаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое голое тело, подвитые пахучие волосы... На эстраде, блещущей всеми люстрами залы Дворянского собрания, столичные знаменитости: красавица певица и огромный брюнет певец, поражающий, как все певцы, удивительным здоровьем, грубо-великолепной силой молодого жеребца. Он, блистая лаковыми туфлями на больших ступнях, удивительно сшитым фраком, белой грудью и белым галстуком, вызывающе и героически гремит отвагой, мужественностью, угрожающей требовательностью. Она, те расходясь, то сливаясь с ним, поспешно отвечает ему, перебивает его нежными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо-блаженными, хохочущими фиоритурами...

Часто я вскакивал чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет семи. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле; в комнате холодно серело, в тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее — как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорный, стучает по пуговицам. Но охватывал такой страх опять даром истратить день, охватывало такое нетерпение как можно скорей — и нынче уже как следует! — засесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору его зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно — эта гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой, убогий жестяной умывальник, из которого косо бьет в лицо ледяная струя! Как жалка моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке, как застыл голубь, комком сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника! Сердце вдруг загоралось радостной, дерзкой решимостью: нет, нынче же вон, назад, в Батурино, в родной, прелестный дом! Однако, наспех выпив чаю, кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на низком столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально-красивая женщина с восьмилетним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие: в приготовление себя к писанию — в напряженный разбор того, что есть во мне, в выскивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот, казалось, определится, во что-то образуется... ждал этой минуты — и уже чувствовал страх, что опять, опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений... Основное было всегда свое, личное, — разве и впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно ни следил я за ними? Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе? Но как? Вроде «Детства, отрочества»? Или еще проще? «Я родился там-то и тогда-то...» Но, боже, как это сухо, ничтожно — и не верно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то, называемое солнцем, потом земля... Но что это такое? Что я знаю обо всем этом, кроме пустых слов? Земля была сперва газообразной, светящейся массой... Потом, через миллионы лет, этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор

прошло еще будто бы два миллиона лет, появились на земле одноклеточные: водоросли, инфузории... А там — беспозвоночные: черви, моллюски... А там амфибии... А за амфибиями — гигантские пресмыкающиеся... А там какой-то пещерный человек и открытие им огня... Дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавший пирамиды да бальзамировавший мумии... Какой-то Артаксеркс, приказавший бичевать Геллеспонт... Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва... Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную... «Верю Авраам повиновался призыванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет...» Да, не зная! Вот так же, как и я! «Верю повиновался призыванию...» Верой во что? В любовную благодать божьего веления. «И пошел, не зная, куда...» Нет, зная: к какому-то счастью, то есть к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви — жизнь... Так ведь и я жил всегда — только тем, что вызывало любовь, радость...

За дверью возле столика уже слышались голоса, женский и детский, стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры: «Костенька, кушай же булочку!» Я вставал и принимался ходить по комнате. Вот еще этот Костенька... Мать, напоив его чаем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение — смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома, что-то несмело говорит, порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушает, иные даже гонят скороговоркою: «Ну, иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста!» В одном номере жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов, всегда проходившая по коридору не глядя ни на кого из встречных, часто, даже слишком часто запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного, широко спинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжовенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно-выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды — ничего не выражающее, кроме внимательной наглости, — однако, он был до крайности нервен. И вот, если Костенька, кем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает

за горло злое удушье, клокотанье, хрип, быстро переходивший в негодующее бешенство и разрешавшийся громким и свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем...

Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложностью. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке и еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила, работала швея, пожилая мещанка, что-то все кроила на столе, заваленном обрезками, потом прилаживала сметанное в швейную машину и начинала стрекотать, строчить... Чего стоит одно то, как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу, изгибам ножиц, как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное Никулиной, как она, притворно-оживленно заговаривая ее, тянула — будто бы бессознательно — свою крупную, рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба и косилась на граненую вазочку с вареньем! А хромоножка на костылях, что встретил я на днях на Карачевской? Все хромые, горбатые ходят вызывающе, заносчиво. Эта скромно ныряла навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках, при ныренье равномерно упираясь в них и вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня... шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темнокарие и тоже как у девочки, а меж тем все уже знающие в жизни, в ее печалях и загадочности... Как прекрасны бывают некоторые несчастные люди, их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа!

Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего надо начать писать свою жизнь. Да, с чего! Все-таки надо же прежде всего сказать если уж не о вселенной, в которой я появился в ее известный миг, то хотя бы о России: дать понять читателю, к какой стране я принадлежу, в итоге какой жизни я появился на свет. Однако, что же я знаю и об этом? Родовой быт славян, раздоры славянских родов... Славяне отличались высоким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством, боготворили солнце, гром и молнию, почитали леших, русалок, водяных, «вообще силы и явления природы»... Что еще? Призвание князей, царьградские послы у князя Владимира, свержение Перуна в Днепр при общем народном плаче... Ярослав Мудрый, усобицы его сыновей и внуков... какой-то Всеволод Большое Гнездо... Но мало того, — я ровню ничего не знаю даже о теперешней России! Ну да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские начальники, жандармы, полицейские, сельские священники, непременно, по

словам писателей, обремененные многочисленным семейством... А дальше что? Вот Орел, один из самых коренных русских городов,— хоть бы его-то жизнь, его людей узнать, а что же я узнал? Улицы, извозчики, разъезженный снег, магазины, вывески,— все вывески, вывески... Архиерей, губернатор... гигант, красавец и зверь пристав Рашевский... Еще Палицын: слава Орла, один из столпов его, один из тех зубров-чудаков, которыми искони славится Россия: стар, родовит, друг Аксакова, Лескова, живет в чем-то вроде древнерусских палат, бревенчатые стены которых покрыты редкими древними иконами, ходит в каком-то широком кафтане, расшитом разноцветными сафьянами, стрижется в скобку, туголик, узкоглаз, очень остер умом, начитан, по слухам, удивительно... Что еще знаю я об том Палицыне? Ровно ничего!

Но тут меня охватывало возмущение: да почему я обязан что-то и кого-то знать с совершенной полностью, а не писать так, как знаю и как чувствую! Я опять вскакивал и принимался ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него как за спасение... И неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной, разноплеменный стан богомольцев возле его стен на берегу Донца, послушника, за которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы он устроил меня где-нибудь на ночь, то, как он, пожимая плечами, бежал от меня и весь на бегу развевался,— руки, ноги, волосы, полы подрясника,— и какая у него была тонкая, гибкая талия, юношеское, все в веснушках, лицо, испуганные зеленые глаза и совершенно необыкновенная пышность, взбитость легких, тонких, каждым волоском выующихся светло-золотых волос... Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца плыл по Днепру... Потом рассвет где-то в степи... то, как я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закоченелый от этой жесткости и утреннего холода, увидал, что за белыми от пота стеклами ничего не видно,— совершенно неизвестно, где идет поезд! — и почувствовал, что это-то и восхитительно, эта неизвестность... с утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него: белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом, от быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу точно мокрым бельем...

XIV

И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок. А проснувшись, остался лежать, как лежал, глядя напротив, в окно, на ровный белый свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души и какую-то малость, простоту всего окружающего.

Я долго лежал так, чувствуя, как легка мне комната,— насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший над изголовьем моей дешевой железной кровати,— тот самый, что, как это ни удивительно, и теперь висит в моей спальне: темно-оливковая, гладкая, окаменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающем своими выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, запеченные лики которых коричнево глядят из его округлых дыр,— наследие рода моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир из того подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, время первых юных лет, вся та глухая, сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому чужое бытие... Покрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге вспомнил сон, который видел в эту ночь: была масленица, я опять жил у Ростовцевых, сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое маленькое стадо черных пони, целых шесть штук... они были нарядно подседланы маленькими медными седелками с бубенчиками и очень круто взнузданы,— красные бархатные поводья уздечек были так натянуты к седелкам, что они в дугу гнули толстые короткие шеи, на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные гривки,— а из челок торчали у них красные султаны... они бежали дружно, ровным рядом, мелкой рысцей, звеня бубенчиками, зло, упрямо согнув черные головы,— все масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые, коротконогие,— и, выбежав, вдруг уперлись, грызя удила и тряся султанами... директор во фраке долго вскрикивал, долго стрелял бичом, пока наконец заставил их упасть на колени и закланяться публике, после чего вдруг заскакавшая обрадованным галопом музыка быстро понесла, погнала их вереницу вдоль круга арены, точно преследуя... Я сходил в писчебумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке. Возвращаясь, стал пить чай, думая: «Да, довольно. Буду только читать да иногда, без всяких притязаний, кое-что вкратце записывать — всякие мысли, чувства, наблюдения...» И, обмакнув перо, старательно и четко вывел:

— Алексей Арсеньев. Записи.

Потом долго сидел, думая, что бы записать, накурив всю комнату, но не мучился, был только грустен и тих. Наконец стал записывать:

— В редакцию заходил известный толстовец, князь Н., просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских

голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских, сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником, — все старое, вытертое, но дорогое и чистое, — мягкая серая блуза, подпоясанная ремешком, под которым круглится живот, и золотое пенсне. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразное, холерное, молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец. Но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому.

— Недавно я шел вверх по Болховской, и была такая картина: закат, морозит, расчищается западное небо, и оттуда, из этого зеленого, прозрачного и холодного неба озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить; а на тротуаре стоит оборванный, синий от холода старик-шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки, ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистов и хрипов романтической мелодией, какой-то дальней, чужеземной, старинной, которая тоже мучит душу — какими-то мечтами и сожалениями о чем-то...

— Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидел огоньки, которые горели в темноте возле амвона очень низко от полу, подошел — и замер: три восковых свечи, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый, с бумажными кружевными краями гробик, и смуглого круглолобого ребенка, лежавшего в нем. Совсем было бы похоже, что он спит, если бы не что-то фарфоровое в личике, что-то сиреневое в выпуклых закрытых веках и в треугольнике ротика, если бы не та бесконечно спокойная, вечная отчужденность от всего в мире, с которой он лежал!

— Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно: один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею, другой на пошлую тему о помещицьем разорении и тоже с выдумкой, между тем как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р., и еще про неподвижное чучело ястреба, которое стоит у него в кабинете на шкапе и вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестрокоричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность. Бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то

есть «старые господа», которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым, — все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти «молодые господа»: они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее, благородное сословие. Дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги... Когда собираются, сейчас выпивка, куренье, хвастовство. Водку пьют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют в зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П., из таких «молодых господ», совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает, живет там в избе с любовницей-бабой, у которой какой-то едва заметный нос. Спит с ней на нарах, на соломе, или «в саду», то есть под яблонкой возле избы. На суке яблонки висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужицких уток, плавающих в затоне возле мельницы, и от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом кидаются по воде.

— Наш бывший дворовый, слепой старик Герасим, ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию щупая палкой дорогу. Он жил в избушке на краю деревни, бобылем, только с перепелом, который сидел в лубяной клетке и все бился в ней, подпрыгивал в крышку из холстины, облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зорю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их переключкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милей замирания сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени бьет все горячее, все громче и все страшней для ловца. Вот был истинный, бескорыстный поэт!

XV

Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой; ее распластанная головка лежала на тарелке, я глядел и думал: «Это тоже надо записать — у селедки перламутровые щеки». Потом ел селянку на сковородке. Народу было немало, пахло блинами и жареными сметками, в низкой зале было чадно, белые половые бегали, танцую, выгибая спины и откидывая назад затылки, хозяин, во всем являвший собой образец тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия; между столиками, занятыми

мещанами, тихо ходили в грубых башмаках с ушками и тихо кланялись низенькие черные монашечки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с галунным серебряным крестом на переплете, и мещане, хмурясь, выбирали из кошельков какие похуже копейки... Все это было как бы продолжением моего сна, я, слегка хмелея от водки, селянки и воспоминаний детства, чувствовал близость слез... Воротясь домой, лег и заснул. С грустью и раскаянием в чем-то очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь, в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном кто-то низкорослый, с голым черепом, с торчащими ушами, — нетопырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, — на этот раз исподнизу, небрежными, короткими толчками, и нетопырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой умываться.

— Спрыснуть прикажете? — спросил парикмахер.

— Вали, — сказал нетопырь.

И парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам нетопыря салфеткой.

— Пожалуйте-с, — сказал он четко, раскидывая балахон. И нетопырь встал и оказался довольно страшен: череп ушастый, большой, лицо худое и широкое, красно-сафьянное, глаза после бритья младенчески блестящи, дыра рта черна, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонки и по-татарски кривы. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, закурил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне:

— Знаете, кто это? Первейший богач, купец Ермаков. Знаете, сколько он всегда дает на чай? Вот-с:

Он раскрыл ладонь и, весело смеясь, показал:

— Ровно две копейки!

Потом я, по своему обыкновению, пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь, — уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквям. Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя, на налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами, перед ним стояли священнослужители и умиленно-горестно пели: «Кресту твоему поклоняемся, владыко...» В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных калошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово (в назидание кому-то) гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял

странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ, склоненного лица его, иконописно-тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно, иночески и женски висевших вдоль щек; в левой руке он твердо держал высокий деревянный посох, за долгие годы натертый до блеску, за плечами у него был черный кожаный мешок, он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех. Я глядел, и опять слезы навертывались мне на глаза — от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади, снизу, легонько постучал мне по плечу свечкой: я обернулся — за мной гнулась старушка в салопчике и большой шали, с одним добрым торчащим зубом: «Кресту, батюшка!» Я с радостной покорностью взял свечку из ее холодной, мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: «Уеду!» И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперти встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху... «Еду!» — сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск.

Почему в Смоленск? В мечтах были Брянские, «Брынские» леса, «брынские» разбойники... В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское — умиление над своей погибелью, — какой-то гадкий малый: «Я ошибкой — роковою — как-то в каторгу попал!» На него брезгливо смотрел из-за другого столика кто-то с черными редкими усиками, с закинутой назад головой, — судя по длинной шее, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горла, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье, видимо, прачка: она, доказывая сидельцу подлость кого-то, била по стойке стекловидно-блестящими, тонкими, состиранными пальцами; граненый стаканчик с водкой стоял перед ней, она порой брала его, держала и все не пила — опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пива, но прельный воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого, с подоконников маленьких замерзших окон, с тряпок, гнивших там, текло...

У Авиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. «А-а! — сказала она. — Наш милый поэт! Вы не знакомы?» — Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый, морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени, в белом шелковом жилете, в черной визитке; быстро

встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном, с гибкостью удивительной для его возраста; борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала без умолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне, точно тюленью ласту, крепко налитую ручку, на глянцевиной подушечке которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь: она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек, каменно кругла и тверда в талии, стянутой корсетом; на плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душист.

В десять часов гости поднялись, налюбезничали и ушли. Авилова засмеялась.

— Ох, наконец-то! — сказала она. — Пойдем, посидим у меня. Здесь надо открыть форточку... Но, дорогой мой, что вы какой-то такой? — с ласковой укоризной сказала она, протягивая мне обе руки.

Я сжал их и ответил:

— Я завтра уезжаю...

Она взглянула испуганно:

— Куда?

— В Смоленск.

— Зачем?

— Как-то не могу больше так жить...

— А в Смоленске что? Но давайте сядем... Я ничего не понимаю...

Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика.

— Вот видите этот тик? — сказал я. — Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно, тянет ехать.

Она уселась поглубже, ноги ее легли передо мною.

— Но почему в Смоленск? — спросила она, глядя на меня недоумевающими глазами.

— Потом в Витебск... в Полоцк...

— Зачем?

— Не знаю. Прежде всего — очень нравятся слова: Смоленск, Витебск, Полоцк...

— Нет, без шуток?

— Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск вечно горел в старину, вечно его осаждали... Я даже что-то страшное чувствую к нему — там когда-то, при каком-то страшном пожаре, погорели какие-то древние грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий...

— Час от часу не легче! Вы очень тоскуете? Она вам не пишет?

— Нет. Но не в том дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. «Знает олень кочующий пастбища свои...» И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро и в голове такой вздор, точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника, уже потеряла надежду выйти замуж и потому живет только острой и злой наблюдательностью. Так и я живу.

— Какой еще ребенок! — сказала она ласково и пригласила мне волосы.

— Быстро развиваются только низшие организмы, — ответил я. — А потом, кто не ребенок? Вот я раз ехал в Орел, со мной сидел член елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля... Долго сидел, читая «Новое время», потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слышал и не видал меня — и что же мне представилось? Он залихватски плясал, выдeldывал ногами самые отчаянные штуки в лад колесам.

Она, подняв на меня глаза, вдруг тихо, многозначительно спросила:

— Хотите, поедem в Москву?

Что-то жутко содрогнулось во мне... Я покраснел, забормotal, отказываясь, благодарности... До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.

XVI

Следующую ночь я проводил уже в вагоне, в голом купе гдетьего класса. Был совсем один, даже немного боязно было. Слабый свет фонаря печально дрожал, качался по деревянным лавкам. Я стоял возле черного окна, из невидимых отверстий которого остро и свежо дуло, и, загородив лицо от света руками, напряженно вглядывался в ночь, в леса. Тысячи красных пчел неслись, развевались там, иногда, вместе с зимней свежестью, пахло ладаном, горящими в паровозе дровами... О, как сказочно мрачна, строга, величава была эта лесная ночь! Бесконечная, узкая, глубокая просека лесного пути, великие, темные призраки вековых сосен тесным, дремучим строем шли вдоль него. Светлые четырехугольники окон косо бежали по белым сугробам у подножия леса, иногда мелькал телеграфный столб, — выше и дальше все тонуло во тьме и тайне.

Утром было внезапное, бодрое пробуждение: все светло, спокойно, поезд стоит — уже Смоленск, большой вокзал. Я выскочил из вагона, жадно глотнул чистого воздуха... У дверей

вокзала толпился возле чего-то народ: я подбежал — это лежал убитый на охоте дикий кабан, грубый, огромный, могучий, закоченевший и промерзший, страшно жесткий даже на вид, весь торчащий серыми длинными иглами густой щетины, пересыпанной сухим снегом, с свинными глазками, с двумя крепко закусенными белыми клыками. Остаться? — подумал я. — Нет, дальше, в Витебск!

В Витебск я приехал к вечеру. Вечер был морозный, светлый. Всюду было очень снежно, глухо и чисто, девственно, город показался мне древним и нерусским: высокие, в одно слитые дома с крутыми крышами, с небольшими окнами, с глубокими и грубыми полукруглыми воротами в нижних этажах. То и дело встречались старые евреи в лапсердаках, в белых чулках, в башмаках, с пейсами, похожими на трубчатые, выющиеся бараньи рога, бескровные, с печально-вопросительными сплошь темными глазами. На главной улице было гулянье — медленно двигалась по тротуарам густая толпа полных девушек, наряженных с провинциальной еврейской пышностью в бархатные толстые шубки, лиловые, голубые и гранатовые. За ними, но скромно, отдельно шли молодые люди, все в котелках, но тоже с пейсами, с девичьей нежностью и округлостью восточно-конфетных лиц, с шелковистой юношеской опушкой вдоль щек, с томными антилопьиными взглядами... Я шел как очарованный в этой толпе, в этом столь древнем, как мне казалось, городе, во всей его чудной новизне для меня.

Темнело, я пришел на какую-то площадь, на которой возвышался желтый костел с двумя звонницами. Войдя в него, я увидел полумрак, ряды скамеек, впереди, на престоле, полукруг огоньков. И тотчас медлительно, задумчиво запел где-то надо мной орган, потек глухо и плавно, потом стал возвышаться, расти — резко, металлически... стал кругло дрожать, скрежетать, как бы вырываясь из-под чего-то глушившего его, потом вдруг вырвался и звонко разлился небесными песнопениями... Впереди, среди огоньков, то поднималось, то падало бормотание, гнусаво раздавались латинские возгласы. В сумраке, по обеим сторонам уходящих вперед толстых каменных колонн, терявшихся вверх в темноте, черными привидениями стояли на цоколях какие-то железные латники. В высоте над алтарем сумрачно умирало большое многоцветное окно...

XVII

В ту же ночь я уехал в Петербург. Выйдя из костела, пошел назад, на вокзал, к поезду в Полоцк: хотел поселиться там в какой-нибудь старой гостинице, пожить зачем-то некоторое время в полном одиночестве. Поезд на Полоцк отходил поздно. На

вокзале было пусто и темно. Буфет освещала только сонная лампа на стойке, в стенных часах постукивало с такими оттяжками, точно само время было на исходе. Я целую вечность сидел один, в мертвой тишине. Когда наконец откуда-то запахло самоваром и вокзал стал оживать, освещаться, я поспешно, сам не понимая, что делаю, взял билет до Петербурга.

Там, на вокзале в Витебске, в этом бесконечном ожидании поезда на Полоцк, я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего, удивление, непонимание,— что это такое все то, что передо мной, и зачем, почему я среди всего этого? Тихий, полутемный буфет со стойкой и сонно горящей на ней лампой, сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик лакей с гнутой спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытащил себя откуда-то из-за стойки, когдапряно запахло по буфету этим ночным вокзальным самоваром, и стал с недовольной старческой неловкостью взлезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых шарах... потом рослый жандарм, который, пренебрежительно гремя шпорами, прошел по буфету на платформу в длинной до пят шинели, своим разрезом сзади напоминающей хвост дорогого жеребца,— что это такое? зачем? почему? И как не похожа была ни на что та свежесть зимней ночи, снегов, которой пахнул жандарм со двора, выходя на платформу! Вот тут-то и очнулся я от оцепенения и вдруг решил почему-то ехать в Петербург.

В Полоцке шел зимний дождь, улицы были мокры, ничтожны. Я только заглянул в него между поездами и рад был своему разочарованию. В дальнейшем пути записал: «Бесконечный день. Бесконечные снежные и лесные пространства. За окнами все время вялая бледность неба и снегов. Поезд то вступает в лес, темнящий его своими чашами, то опять выходит на унылый простор снежных равнин, по далекому горизонту которых, над тушью лесов, грядой висит в низком небе что-то тускло-свинцовое. Станции все деревянные... Север, север!»

Петербург мне показался уже крайним севером. Извозчик мчал меня в сумрачной вьюге по необыкновенным для меня своей стройностью, высотой и одинаковостью улицам к Лиговке, к Николаевскому вокзалу. Был всего третий час, но круглые часы на казенной громаде вокзала уже светились сквозь вьюгу. Я остановился в двух шагах от него, в той стороне Лиговки, что идет вдоль канала. Тут было ужасно,— дровяные склады, извозчицьи постои, чайные, трактиры, портерные. В номерах, что посоветовал мне извозчик, я долго сидел, не раздеваясь, глядя

с высоты шестого этажа в бесконечно грустное окно, в предвечернюю снежную муть, весь плывя от усталости, вагонной качки... Петербург! Я чувствовал это сильно: я в нем, весь окружен его темным и сложным, зловещим величием. В номерах было натоплено и душно от запаха старых шерстяных драпри и такой же тахты, от крепкой вони чего-то того красноватого, чем натирают полы в плохих номерах. Я вышел, сбежал вниз по крутой лестнице. На улице ударила в меня снежным холодом непроглядная вьюга, я поймал мелькнувшего в ней извозчика и полетел на Финляндский вокзал — испытать чувство границы. Там я быстро напился пьян — и вдруг послал ей телеграмму:

«Буду послезавтра».

Огромная, людная, старая Москва встретила меня блеском солнечной оттепели, тающих сугробов, ручьев и луж, громом и звоном конок, шумной бестолочью идущих и едущих, удивительным количеством тяжко нагруженных товарами ломовых розвальней, грязной теснотой улиц, лубочной картинностью кремлевских стен, палат, дворцов, скученно сияющих среди них золотых соборных маковок. Я дивился на Василия Блаженного, ходил по соборам в Кремле, завтракал в знаменитом трактире Егорова в Охотном ряду. Там было чудесно: внизу довольно серо и шумно от торгового простонародья, зато наверху, в двух невысоких зальцах, чисто, тихо, пристойно, — даже курить не позволялось, — и очень уютно от солнца, глядевшего в теплые маленькие окна откуда-то с надворья, от заливавшей в клетке канарейки; в углу мерцала белым огоньком лампада, на одной стене, занимая всю ее верхнюю половину, блестела смуглым лаком темная картина: чешуйчатая, кверху загнутая крыша, длинная терраса и на ней несоответственно большие фигуры пьющих чай китайцев, желтолицых, в золотых халатах, в зеленых колпаках, как на дешевых лампах... Вечером того же дня я уехал из Москвы...

В нашем городе уже ездили на колесах, на станции бушевал вольный азовский ветер. Она меня ждала на платформе, уже сухой, легкой. Ветер трепал ее весеннюю шляпку, не давал смотреть. Я увидел ее издали, — она растерянна, морщась от ветра, искала меня по идущим вагонам глазами. В ней было то трогательное, жалкое, что всегда так поражает нас в близком человеке после разлуки с ним. Она похудела, одета была скромно. Когда я выскочил из вагона, она хотела поднять с губ вуальку — и не могла, неловко поцеловала меня через нее, побледнев до мертвенности.

На извозчике она молча клонила голову навстречу ветру, — только несколько раз повторила горько и сухо:

— Что ты со мной делал, что ты со мной делал!

Потом сказала, все так же серьезно:

— Ты в Дворянскую? Я поеду с тобой.

Войдя в номер,— он был во втором этаже, большой, с прихожей,— она села на диван, глядя, как коридорный глупо ставит мой чемодан на ковер посреди комнаты. Поставив, он спросил, не будет ли каких приказаний.

— Ничего не надо,— сказала она за меня.— Идите...

И стала снимать шляпку.

— Что же ты все молчишь, ничего не скажешь мне? — безразлично сказала она, сдерживая дрожащие губы.

Я стал на колени, обнял ее ноги, целуя их сквозь юбку и плача. Она подняла мне голову — и я опять узнал, почувствовал ее знакомые, несказанно-сладостные губы и смертельно-блаженное замирание наших сердец. Я вскочил, повернул ключ в дверях, ледяными руками опустил на окна белые пузырьчатые занавески,— ветер качал за окнами черное весеннее дерево, на котором, как пьяный, мотался и тревожно орал грач...

— Отец просит об одном,— тихо сказала она потом, лежа в оцепенении отдыха: — подождать венчаться хотя бы полгода. Подожди, все равно моя жизнь теперь только в тебе одном, делай со мной что хочешь.

Необожженные свечи стояли на подзеркальнике, матово белели неподвижно висящие занавески, разными странными фигурами глядело с мелового потолка какое-то лепное украшение.

XVIII

Мы уехали в тот малорусский город, куда переселился из Харькова брат Георгий, оба на работу по земской статистике, которой он там заведывал. Мы провели страстную и пасху в Батурине. Мать и сестра уже души не чаяли в ней, отец любовно говорил ей ты, сам давал по утрам целовать свою руку,— только брат Николай был сдержан, вежливо любезен. Она была тихо и растерянно счастлива,— новизной своей причастности к моей семье, к дому, к усадьбе, к моей комнате, где протекала моя юность, казавшаяся ей теперь прекрасной, трогательной, к моим книгам, которые она там рассматривала с несмелой радостью... Потом мы уехали.

Ночь до Орла. На рассвете пересадка в харьковский поезд.

В солнечное утро мы стоим в коридоре вагона возле жаркого окна.

— Как странно, я никогда не была нигде, кроме Орла и Липецка! — говорит она. — Сейчас Курск? Это для меня уже юг.

— Да. И для меня.

— Мы будем в Курске завтракать? Знаешь, я еще никогда в жизни не завтракала на вокзале..

За Курском, чем дальше, тем все теплей, радостней. На откосе вдоль шпал уже густая трава, цветы, белые бабочки, в бабочках уже лето.

— Жарко будет там летом! — с улыбкой говорит она.

— Брат пишет, город весь в садах.

— Да, Малороссия. Вот уж никогда не думала... Смотри, смотри, какие громадные тополя! И уж совсем зеленые! Зачем столько мельниц?

— Ветряков, а не мельниц. Сейчас будут видны меловые горы, потом Белгород.

— Я теперь понимаю тебя, я бы тоже никогда не могла жить на севере, без этого обилия света.

Я опускаю окно. Тепло дует солнечный ветер, паровозный дым южно пахнет каменным углем. Она прикрывает глаза, солнце горячими полосами ходит по ее лицу, по играющим возле лба темным молодым волосам, по простенькому ситцевому платью, ослепительно озаряя и нагревая его.

В долинах под Белгородом милая скромность празднично цветущих вишневых садов, мелом белеющих хат. На вокзале в Белгороде ласковая скороговорка хохлушек, продающих бублики.

Она покупает и торгуется, довольная своей хозяйственностью, употреблением малорусских слов.

Вечером, в Харькове, мы опять меняем дорогу.

На рассвете подъезжаем.

Она спит. Свечи в вагоне догорают, в степи еще ночь, темный сумрак, но за ним далекий, низко и сокровенно зеленеющий восток. Как не похожа тут земля на нашу,— эта нагая, безграничная гладь с тугими серо-зелеными курганами! Мелькнул спящий полустанок,— ни куста, ни деревца возле него, и сам он — каменный, голый, бело-синеватый в этом тайном рождении зари... Как одиноки тут станции!

Вот и в вагоне брезжит день. Сумрак внизу, по полу, но над ним уже полусвет. Она, во сне, спрятала голову в подушку, поджала ноги. Я осторожно прикрываю ее старинной шелковой шалью, подаренной ей моей матерью.

XIX

Станция была от города далеко, в широких долинах. Вокзал — небольшой, приятный. На вокзале — приветливые лакеи, ласковые носильщики, благосклонные извозчики на козлах домовитых тарантасов, запряженных парой в дышло.

Город, весь в густых садах, с гетманским собором на обрыве

горы, глядел с нее на восток и на юг. В восточной долине отдельно стоял крутой холм с древним монастырем на вершине, дальше было зелено и пусто, долина переходила в степные скаты. В южной, за рекой, за ее веселыми лугами, взгляд терялся в солнечном блеске.

В городе многие улицы казались тесны от садов и тополей, рядами тянувшихся вдоль дощатых «пешеходов», на которых часто можно было встретить гордую грудастую девку в обтянутой по бедрам плахте, с тяжелым водоносом на сильном плече. Тополи были необыкновенны своей высотой и мощностью, восхищали нас; стоял май, много было гроз и ливней, и как блестяще зеленели они своей крепкой листвой, как свежо и смолисто благоухали! — Весна тут была всегда яркая, веселая, лето знойное, осень ясная, долгая, зима мягкая, с влажными ветрами, санные извозчики ездили с бубенчиками, с их прелестным глумом бормотаньем.

Крупный, загорелый, с кругло стриженной седой головой старик Кованько, у которого мы поселились в одной из таких улиц, имел целое поместье: двор, флигель, дом и сад за домом. Сам он занимал флигель, а дом, беленный мелом и тенистый от сада сзади и большой стеклянной галереи по фасаду, сдавал нам. Он где-то служил, придя со службы, сытно обедал, отдыхал, а потом, полураздетый, сидел перед раскрытым окном и все пел, покуривая «люльку»: «Ой, на горі та женці жнуть...»

Комнаты в доме были невысокие, простые; какой-то древний сундук под суровым рядом с цветной мережкой стоял в прихожей. Служила нам молоденькая казачка, в красоте которой было что-то ногайское.

Брат стал еще милей и добрей. Надежды мои оправдались — между ним и ею вскоре образовалась родственная и дружеская близость; во всех моих размолвках с ней или с ним они всегда были на стороне друг друга.

Круг наших сослуживцев и знакомых (врачей, адвокатов, земцев) был подобен харьковскому кругу брата, — я вошел в него легко, с удовольствием встретил в нем Леонтовича и Вагина, тоже переселившихся из Харькова. От харьковского этот круг отличался только тем, что состоял из людей более умеренных, живших почти совсем под стать городу, его миргородскому благополучию, дружелюбно встречавшихся не только с людьми из всякого другого городского общества, но даже с полицмейстером.

Чаще всего мы собирались в доме одного из членов управы: он был владелец пяти тысяч десятин земли и отары в десять тысяч голов, дом держал — для семьи — богатый, светский, сам же, маленький, скромный, бедно одетый, побывавший в свое время в Якутске, казался в нем жалким гостем.

Во дворе был старый каменный колодец, перед флигелем росли две белые акации, возле крыльца дома, затеняя правую сторону стеклянной галереи, поднималась темная вершина каштана. Все это летним утром было часам к семи уже горячо, ярко, солнечно, однообразно оглашалось вопросительно-растерянными восклицаниями кур из курятника, но в доме, особенно в задних комнатах, выходящих окнами в сад, было еще прохладно, в спальне, где она плескалась, стоя в маленьких татарских туфлях, с зябко напрягшейся грудью, свежо пахло водой и туалетным мылом; она, стыдясь, повертывалась ко мне мокрым лицом, с намыленной сзади под волосами шеей, и топала каблучком: «Уходи вон!» Потом из той комнаты, где окна выходили на галерею, пахло заваренным чаем,— там ходила, стучала подкованными башмаками казачка; она обувалась на босу ногу, ее голые щиколки, тонкие, как у породистой кобылки, восточно блестели из-под юбки; блестела и круглая шейка в янтарном ожерелье, черная головка была жива, чутка, так и сверкала раскосыми глазами, зад вилялся при каждом движении.

Брат выходил к чаю с папиросой в руке, с улыбкой и повадками отца; небольшой, полнеющий, он не был похож на него, но что-то от его барственных манер в нем сказывалось; он стал хорошо одеваться, как-то светски-вольно клал, садясь, ногу на ногу и так же держал папиросу; все когда-то были убеждены в его блестящей будущности, он и сам был в ней убежден, теперь вполне довольствовался той ролью, которую играл в этом малорусском захолустье, и к чаю выходил с игрой в глазах: он чувствовал себя полным сил, здоровья, мы составляли его семью, очень ему милую, идти вместе с нами на службу, состоящую, как и в Харькове, наполовину из куренья и разговоров, было для него ежедневным удовольствием. Когда выходила наконец и она, уже совсем готовая, одетая с летней веселостью, он весь сиял, целуя ее руку.

Мы шли вдоль дивных тополей, масленисто блестящих под солнцем, по горячим доскам пешеходов, под жаркими стенами домов и нагретыми садами; ее раскрытый зонтик выпукло круглился светлым шелком в густой синеве. Потом мы переходили знойную площадь, входили в желтое здание управы. Там внизу пахло сапогами сторожей, тютюном, который они курили. По лестнице во второй этаж озабоченно ходили с бумагами в руках, по-холодачки гнули головы всякие писемводители и делопроизводители в черных люстриновых пиджачках, племя хитрое и многоопытное при всей своей видимой простоватости. Мы проходили под лестницу в глубину первого этажа, в низкие ком-

наты нашего отделения, очень приятные от тех оживленных интеллигентски неряшливых лиц, что наполняли их... Странно было мне видеть ее в этих комнатах, за всякими опросными листами, которые она вкладывала в конверты для рассылки по уездам.

В полдень сторожа подавали нам чай в дешевых стаканах, дешевые блюдечки с ломтиками лимона, и казенность всего этого доставляла мне первое время тоже какую-то приятность. Тогда к нам сходились поболтать, покурить все наши друзья из других отделений. Приходил Сулима, секретарь управы. Это был красивый, несколько сутулый человек в золотых очках, с великолепной бархатно-блестящей чернотой волос и бороды; у него была мягкая, вкрадчивая поступь, вкрадчивая улыбка и такая же манера говорить; он улыбался постоянно и постоянно играл этой своей мягкостью, изяществом; он был большой эстет, монастырь, что стоял на холме в долине, называл застывшим аккордом. Он приходил нередко и поглядывал на нее все блаженной и таинственней; подходя к ее столу, низко наклонялся к ее рукам, приподнимал очки и сладостно, тихо улыбался: «А теперь что вы рассылаете?» Она от этого вся подтягивалась и старалась ответить как можно любезнее, но и как можно проще. Я был вполне спокоен, я теперь ни к кому ее не ревновал.

На службе я невольно занял, как в редакции орловского «Голоса», какое-то особое положение, на меня, как на работника, смотрели ласково-насмешливо. Я сидел и не спеша подсчитывал, составлял сводки, сколько в такой-то волости такого-то уезда засеяно табаку, свекловицы, какие предпринимались там меры «по борьбе» с жучками, вредящими этой свекловице, иногда просто читал что-нибудь, не обращая внимания на разговоры вокруг. Меня радовало, что у меня есть свой стол и то, что я мог в любом количестве требовать из канцелярии новенькие перья, карандаши, отличную писчую бумагу.

В два часа служба кончалась; брат, улыбаясь, поднимался — «до дому, громада!» — все оживленно разбирали летние картузы и шляпы, толпой выходили на светлую площадь, трясли друг другу руки и, блестя чесучей и палками, расходились.

XXI

Часов до пяти в городе было пусто, сады пеклись под солнцем. Брат спал, мы просто валялись на ее широкой кровати. Солнце, обходя дом, уже блистало в окна спальни, заглядывало в них из сада, сад отражался своей светлозеленой листвой в зеркале над умывальником. В этом городе учился Гоголь, весь окрестный край был его, — Миргород, Яновщина, Шишаки,

Яреськи,— мы часто, смеясь, вспоминали: «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!»

— Все-таки жарко! — говорила она, весело вздыхая и ложась навзничь.— И сколько у нас мух! А как это дальше, про огороды?

— «Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплотся над пестрыми огородами...»

— Это как-то волшебно хорошо. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать. Правда? Пожалуйста, как-нибудь поедем! Только какой он был странный, неприятный в жизни. Никогда ни в кого не был влюблен, даже в молодости...

— Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступок — поездка в Любек.

— Вроде твоей в Петербург... Отчего ты так любишь ездить?

— А отчего ты любишь получать письма?

— От кого ж я их теперь получаю!

— Все равно любишь. Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного, мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и дорога. Потом воля, простор... новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве.

— Да, да, это правда.

— Ты говоришь — Петербург. Если бы ты знала, какой это ужас и как я там сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный. Гоголь писал из Италии: «Петербург, снега, подлецы, департамент — все это мне снилось: я проснулся опять на родине». Вот и я так же проснулся тут. Не могу спокойно слышать слов: Чигирин, Черкасы, Хорол, Лубны, Чертомлык, Дикое Поле, не могу без волнения видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, в которых они носят на коромыслах вишни и сливы. «Чайка скиглить, летаючи, мов за дитьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачем...» Это Шевченко,— совершенно гениальный поэт! Прекраснее Малороссии нет страны в мире. И главное то, что у нее теперь уже нет истории,— ее историческая жизнь давно и навсегда кончена. Есть только прошлое, песни, легенды о нем,— какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего.

— Ты это часто говоришь — восхищает, восхищение.

— Жизнь и должна быть восхищением...

Солнце склонялось, густо лилось в открытые окна по крашеному полу, зеркальный отблеск играл на потолке. Подоконники горели все ярче, на них радостными кучками кипели мухи.

Мухи кусали ее голые прохладные плечи. На подоконник вдруг сажился воробей, зорко и бойко оглядывался и, вспорхнув, опять исчезал в светлой зелени сада, уже прозрачно сквозившей на предвечернем солнце.

— Ну, скажи еще что-нибудь,— говорила она.— Скажи, а в Крым мы когда-нибудь поедем? Если бы ты знал, как я мечтаю! Ты б мог написать какую-нибудь повесть,— мне кажется, ты написал бы замечательно,— и вот у нас были бы деньги, мы бы взяли отпуск... Отчего ты бросил писать? Ты какой-то мот, расточитель своих способностей!

— Были такие казаки, которые назывались «бродники»,— от слова бродить. Вот, верно, и я бродник. «Одному бог дает полати, другому мосты да гати». Лучше всего у Гоголя его записная книжка: «Степная чайка с хохлом в виде скобки поднимается с дороги... Рубеж во всю дорогу, зеленый, с растущими на нем бодяками, и ничего за ним, кроме безграничной равнины... Подсолнечники над плетнями и рвами, и соломенный навес чисто вымазанной хаты, и миловидное, красным ободком окруженное окошко... Ты, древний корень Руси, где сердечней чувство и нежней славянская природа!»

Она внимательно слушала. Потом вдруг спрашивала:

— А скажи, зачем ты прочел мне это место из Гете? Вот, как он уезжал от Фредерики и вдруг мысленно увидел какого-то всадника, ехавшего куда-то в сером камзоле, обшитом золотыми галунами. Как это там сказано?

— «Этот всадник был я сам. На мне был серый камзол, обшитый золотыми галунами, какого я никогда не носил».

— Ну да, и это как-то чудесно и страшно. И потом ты сказал, что у всякого в молодости есть в мечтах свой желанный камзол... Почему он ее бросил?

— Он говорил, что им всегда руководил его «демон».

— Да, и ты меня скоро разлюбишь. Ну, скажи правду — о чем ты больше всего мечтаешь?

— О чем я мечтаю? Быть каким-нибудь древним крымским ханом, жить с тобой в Бахчисарайском дворце... Бахчисарай весь в каменистом, страшно жарком ущелье, а во дворце вечная тень, прохлада, фонтаны, за окнами шелковичные деревья...

— Нет, серьезно?

— Я серьезно. Я ведь всегда живу каким-то страшным вздором. Вот хоть эта степная чайка, это соединение в ней степи и моря... Брат Николай, бывало, смеялся, говорил мне, что я от природы дурачок, и я очень страдал, пока однажды случайно не прочел, что сам Декарт говорил, что в его душевной жизни ясные и разумные мысли занимали всегда самое ничтожное место.

— И что ж, во дворце гарем? Я это тоже серьезно. Ты же сам доказывал мне, помнишь, что в мужской любви много смешения разных любовных чувств, что ты это испытывал к Никулиной, потом к Наде... Ты ведь иногда очень безжалостно откровенен со мной! Ты что-то в этом роде недавно говорил даже про нашу казачку.

— Я говорил только то, что когда я смотрю на нее, я ужасно хочу куда-то в солончаковые степи, жить в кибитке.

— Ну вот, сам же говоришь, что тебе хочется жить с ней в кибитке.

— Я не сказал, что с ней.

— А с кем же? — Ой, опять воробей! Ужасно боюсь, когда они залетают и бьются по зеркалу!

И, вскочив, она быстро и неловко хлопала в ладоши. Я хватал и целовал ее голые плечи, ноги... Разность горячих и прохладных мест ее тела потрясала больше всего.

XXII

К вечеру зной спадал. Солнце стояло за домом, мы пили чай в стеклянной галерее, возле открытых во двор окон. Она теперь много читала и в эти часы все о чем-нибудь расспрашивала брата, а он с удовольствием наставлял ее. Вечер был бесконечно тих, неподвижен,— одни ласточки мелькали во дворе и, взвиваясь, тонули в глубоком небе. Они говорили, а я слушал: «Ой, на горі та женці жнуть...» Песня рассказывала, что на горе жнут хлеборобы, текла ровно, долго, грустью разлуки, потом крепла и звучала твердо — волей, далью, отвагой, воинским ладом:

А по-під горою,
По-під високою
Козаки йдуть!

Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое войско, как ведет его славный Дорошенко, едет впереди всех. А за ним, говорила она, за ним Сагайдачный,—

Що проміняв жінку
На тютюн та люльку,
Необачний...

Она медлила, гордо дивилась столь странному человеку. Но вслед за тем была в литавры с особенно радостной волей:

Мені з жінкою
Не возиться!
А тютюн та люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!

Я слушал, грустно и сладко чему-то завидуя.

На закате мы гуляли, шли иногда в город, иногда в сквер на обрыве за собором, иногда за город, в поле. В городе было несколько мощеных улиц со всякой еврейской торговлей, с непонятным количеством часовых, аптекарских и табачных магазинов; эти улицы были каменны, белы, дышали теплом после дневного жара, на их перекрестках стояли киоски, где прохожие пили разноцветные сиропы с шипучей водой, и все это говорило о юге и тянуло куда-то еще дальше на юг, — помню, я часто думал тогда почему-то о Керчи. Глядя от собора в долину, я мысленно ехал в Кременчуг, в Николаев. В поле, за город мы шли западным предместьем, совсем деревенским. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили в равнину, на прямую, как стрела, миргородскую дорогу. В далекой дали дороги, вдоль телеграфных столбов, медленно тянулась хохлацкая телега, влекомая двумя качающимися в ярме, клонящими головы волами, она тянулась и исчезала, как в море, вместе с этими столбами, — последние столбы уже чуть маячили в равнине, были как палочки малы. Это была дорога на Яновщину, Яреськи, Шишаки...

Вечер мы нередко проводили в городском саду. Там играла музыка, освещенная терраса ресторана издали выделялась среди темноты, как театральная сцена. Брат шел прямо в ресторан, мы иногда уходили в ту сторону сада, где он кончался тоже обрывом. Ночь была густо темна, тепла. В темноте внизу кое-где стояли огоньки и церковно, стройно подымались и замирали песни — это пели парубки предместий. Песни сливались с темнотой и тишиной. Гремя, бежал там светящимися звеньями поезд, — тогда особенно чувствовалось, как глубока и черна долина, — и постепенно смолкал, погасал, точно уходил под землю. И опять были слышны песни, и весь круг горизонта за долиной дрожал немолчной дрожью жаб, ворожившей эту тишину и темноту, повергавшей ее в оцепенение, которому, казалось, не будет конца.

Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она, после темноты, приятно стесняла, слепила. Брат, уже хмельной и умиленный, тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леснотвич, Сулима. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла, сад за террасой был темен, пуст, откуда-то доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми, но все говорили, что время еще детское. Наконец соглашались: пора. И все-таки не сразу расставались — шли домой ватагой, громко говоря, стуча по «пешеходам». Сады спали, таинственно чернели, тепло освещаясь низким светом поздней луны. Когда мы, уже одни, входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных стеклах галереи; тихо

трюкал сверчок; каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене.

Всего милей были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестящую косу.

— Вот ты все удивляешься, как я изменилась,— говорила она.— А если бы знал, как изменился ты. Только ты стал как-то все меньше замечать меня! Особенно когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух: жить без него нельзя, а его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь. А мне кажется, что это значит, что тебе теперь одной меня мало.

— Мало, мало,— отвечал я смеясь.— Мне теперь всего мало.

— И я говорю: тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировки с разъездными статистиками. Зачем? Трястись по жаре и в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волостном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю...

Она поднимала глаза, закинув косу за плечо:

— Что тебя тянет?

— Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало.

Она брала мою руку:

— Правда счастлив?

XXIII

В первый раз я поехал именно туда, куда ей так хотелось поехать со мной,— по миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаки.

Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время,— выехать нужно было до жары, пораньше,— как она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грусть, что я еду один. Было серо и прохладно, она все поглядывала в окна: неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, услышав у ворот почтовый колокольчик, порывисто простились и выбежали за калитку, к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Вагин.

Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве, разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележ-

ка в глубокой дорожной пыли, и все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть в даль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое: бесконечные овчарни Кочубея: «Полдень, овчарни,— записал я среди толчков тележки.— Серое от зноя небо, ястреба и сивоворонки.... Я совершенно счастлив!» В Яновщине записал о корчме: «Яновщина, старая корчма, ее черная внутренность и прохладная полутьма; еврей сказал, что пива у него нету, «есть только напиток».— «Какой напиток?» — «Но напиток! Напиток Фиалка». Еврей — тощий, в лапсердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист, необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светлосерой куртке, очень красивый как-то по-персидски: его сын. После Шишак я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку: «И вдруг яр среди ровной дороги — обрыв в глубину и вниз; и в глубине леса, и за лесами — леса, за близкими, зелеными — отдаленные, синие, за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета... Над стремниной и кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница...» Под этим обрывом, в глубине долины, лукой выгибался Псёл и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенко, к которому и было у Вагина дело, а найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенко и весь вечер, ужинали, пили наливку, и лампа освещала снизу зелень листьев, меж тем как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица; тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила что попало, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остро-ты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза, у нее были жилистые руки, крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы, под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди, стан был тонок, а бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте, по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли...

Домой мы с Вагиным приехали на другой день поздно. Она уже лежала в постели, читала; увидев меня, вскочила в радости и удивленье — «как, уже приехал?» Когда я, поспешно рассказывая всю свою поездку, стал со смехом рассказывать про фельдшерицу, она перебила:

— Зачем ты рассказываешь мне это?

И глаза ее наполнились слезами.

— Как ты жесток со мною! — сказала она, торопливо ища под подушкой платочек. — Мало того, что ты бросаешь меня одну...

Сколько раз в жизни вспоминал я эти слезы! Вот вспоминаю, как вспомнил однажды лет через двадцать после той ночи. Это было на приморской бессарабской даче. Я пришел с купанья и лег в кабинете. Был жаркий и ветренный полдень: сильный, шелковисто-горячий, то затихающий, то буйно растущий шум сада вокруг дома, тень и блеск в деревьях, мотанье туда и сюда мягко гнущихся ветвей... Когда ветер, густо шумя, рос, приближался, он вдруг раскрывал всю эту древесную зелень, окружавшую окна тенистого кабинета, показывал в ней знойно-эмалевое небо, и тотчас раскрывалась и тень на белом потолке — потолок, светлея, становился фиолетовым. Потом опять затихало, ветер, убегая, терялся где-то в дали сада, над обрывом к побережью. Я глядел на все это, слушал и вдруг подумал: где-то, двадцать лет тому назад, в том давно забытом малорусском захолустье, где мы с ней только что начинали нашу общую жизнь, тоже был подобный полдень; я проснулся поздно, — она уже ушла на службу, — окна в сад тоже были открыты, и за ними вот так же шумело, качалось, пестро блестело, а по комнате вольно ходил тот счастливейший ветер, что сулит близкий завтрак, доносит запах жареного лука; я, открывши глаза, вздохнул этим ветром и, облокотившись на свою подушку, стал глядеть на другую, лежавшую рядом, в которой еще оставался чуть слышный фиалковый запах ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке; и, вспомнив все это, вспомнив, что с тех пор я прожил без нее полжизни, видел весь мир и вот все еще живу и вижу, меж тем как ее в этом мире нет уже целую вечность, я, с похолодевшей головою, сбросил ноги с дивана, вышел и точно по воздуху пошел по аллее уксусных деревьев к обрыву, глядя в ее пролет на купоросно-зеленый кусок моря, вдруг представший мне страшным и дивным, первозданно новым...

В ту ночь я поклялся ей, что больше никуда не поеду. Через несколько дней опять уехал.

XXIV

Когда мы были в Батурине, брат Николай говорил:

— Жаль мне тебя от души! Рано ты поставил крест на себе! Но никакого креста я на себе не чувствовал.

Службу свою я опять считал случайностью, смотреть на себя как на женатого не мог. Одна мысль о жизни без нее привела

бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызывала недоумение: неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее — дети, дом — представлялось мне особенно нестерпимым.

— Вот мы с тобой повенчаемся, — говорила она, мечтая о будущем. — Все-таки я этого очень хочу, и, потом, что может быть прекраснее венчания! У нас, может быть, будет ребенок... Разве ты не хотел бы?

Что-то сладко и таинственно сжимало мне сердце. Но я отшучивался:

— «Бессмертные творят, смертные производят себе подобных».

— А я? — спрашивала она. — Чем же я буду жить, когда пройдет наша любовь, молодость и я стану больше не нужна тебе?

Это было очень грустно слушать, и я горячо говорил:

— Никогда ничего не пройдет, никогда ты не перестанешь быть мне нужна!

Теперь уже я (как прежде, в Орле, она) хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим.

Да, больше всего трогала она меня в тот час, когда, заплетая на ночь косу, подходила ко мне поцеловать меня на прощанье, и я видел, насколько она, без каблуков, меньше меня, как она смотрит мне в глаза снизу вверх.

Сильнее всего я чувствовал к ней любовь в минуты выражения наибольшей преданности мне, отказа от себя, веры в мои права на какую-то особенность чувств и поступков.

Мы часто вспоминали нашу зиму в Орле, то, как мы расстались там, как я уехал в Витебск, и я говорил:

— Да, вот Полоцк, что меня тянуло туда? С этим словом — Полоцк или, по-древнему, Полотьск — у меня давно соединилось предание о древнем киевском князе Всеславе, которое я где-то прочел еще в отрочестве: он был свергнут братом с престола, бежал «в темный край полочан» и доживал свой век «в скудной бедности», в схиме, в молитвах, в трудах и в «прельщениях памяти»: будто бы неизменно просыпался в предутренний час с «горькими и сладкими слезьми», с обманчивой мечтой, что он опять в Киеве, «на своем благоверном княжении» и что это не в Полоцке, а у Киевской Софии звонят к полунощнице. С тех пор Полоцк тех времен всегда представлялся мне совершенно чудесным в своей древности и грубости: какой-то темный, дикий зимний день, какой-то бревенчатый Кремль с деревянными церквями и черными избами, снежные сугробы, истоптанные конными и пешими в овчинах и лаптях... Когда я наконец попал в действительный Полоцк, я, разумеется, не нашел в нем

ни малейшего подобия выдуманному. И все-таки во мне и до сих пор два Полоцка — тот, выдуманный, и действительный. И этот действительный я тоже вижу теперь уже поэтически: в городе скучно, мокро, холодно, сумрачно, а на вокзале теплый большой зал с огромными полукруглыми окнами, уже горят люстры, хотя на дворе еще только смеркается, в зале множество народу, и штатского, и военного, поспешно наедающегося перед приходом поезда на Петербург, всюду говор, стук ножей по тарелкам, запах соусов, щей, которым дуют туда и сюда летающие лакеи...

Она, как всегда в такие минуты, слушала меня с особенным, напряженным вниманием и, выслушав, убежденно соглашалась: «Да, да, я понимаю тебя!» И я пользовался этим — внушал ей:

— Гете говорил: «Мы сами зависим от созданных нами креатур». Есть чувства, которым я совершенно не могу противиться: иногда какое-нибудь мое представление о чем-нибудь вызывает во мне такое мучительное стремление туда, где мне что-нибудь представилось, то есть к чему-то тому, что за этим представлением,— понимаешь: за! — что не могу тебе выразить!

Однажды мы с Вагиным ездили в Казачьи Броды, старинное село в Поднепровье, были на проводах переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую область. Возвратились утром, по железной дороге. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе. Мужественно загорелый и бодрый, очень довольный собой, возбужденный желанием поскорее рассказать ей и брату, какую редкую картину мне удалось видеть,— целая орда тронулась на моих глазах в эту сказочную область, десятью тысячами верст отделенную от Казачьих Бродов,— я быстро прошел по всему пустому и прибранному дому, вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, с какой-то радостной болью взглянул на всякие вещички ее туалета, на думку в прошивках на постельной подушке,— все это показалось мне бесконечно дорого и одиноко, остро отозвалось в сердце счастьем вины перед нею,— но увидел на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился: это было «Семейное счастье» Толстого, и на раскрытой странице были отмечены строки: «Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделались моими...» Я перевернул несколько страниц дальше и увидел еще отметки: «Часто в это лето я приходила в свою спальню и, вместо прежней тоски желаний и надежд в будущем, меня схватывала тревога счастья в настоящем... Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел и не боялся оставлять меня одну...»

Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть (и есть) тайные, неизвестные мне и, главное, печальные чувства и мысли и уже в форме прошедшего времени! «Все мои *тогдашние* мысли, *тогдашние* чувства... Часто в это лето я *приходила...*» Неожиданней всего было это последнее: «Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой...» Значит, ее слезы в ту ночь, когда я приехал из Шишак, были не случайными?

В управу я вошел особенно бодро, поцеловался с ней и братом весело, говорил и шутил, не умолкая. С тайным мучением дождавшись наконец, когда мы остались одни, я тотчас же резко сказал:

— Ты, оказывается, читала без меня «Семейное счастье»? Она покраснела.

— Да, а что?

— Поражен твоими отметками в нем!

— Почему?

— Потому что из них совершенно ясно, что тебе уже горько жить со мной, что ты уже одинока, разочарована.

— Как ты все всегда преувеличиваешь! — сказала она. — Какое разочарование? Просто мне было немного грустно, и я правда нашла некоторое сходство... Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось..

Кого она уверяла? Меня или себя? Я, однако, очень рад был слышать все это — мне очень хотелось, очень выгодно было верить ей. «Степная чайка с хохлом поднимается с дороги... Бежит, обтянутая синей запаской у пояса, и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют...» Каких только «за» не было тут! И мог ли я отказаться от них! Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней. Я под всякими предложениями внушал ей одно: живи только для меня и мной, не лишай меня моей свободы, своеволия, — я тебя люблю и за это буду еще больше любить. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне все можно, все простительно.

XXV

— Ты очень изменился, — говорила она. — Ты стал мужественней, добрей, милей. Ты стал жизнерадостный.

— Да, а вот брат Николай, да и твой отец все пророчили, что мы будем очень несчастны.

— Это потому, что Николай так не взлюбил меня. Что я испытывала в Батуристине от его холодной любезности, ты и представить себе не можешь.

— Напрóтив, он говорил о тебе с большой нежностью. Мне и ее ужасно жаль, говорил он, тоже совсем еще девочка, и подумай, что ждет вас впереди: чем твоё существование будет отличаться через несколько лет от существования какого-нибудь уездного акцизного чиновника? Помнишь, как я, бывало, шутя рисовал свою будущность? Квартирка в три комнатки, пятьдесят рублей жалованья...

— Он жалел только тебя.

— Плохо жалел — говорил, что у него вся надежда только на то, что нас с тобой спасет мое «беспутство», что я и на такую карьеру окажусь не способен, и что мы с тобой скоро расстанемся: или ты ее безжалостно бросишь, говорил он, или она тебя, посидевши некоторое время в этой милой статистике и понявши, какую ты приготовил ей участь.

— На меня он напрасно надеялся — я тебя не брошу никогда. Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе, твоей свободе, твоему призванию...

Когда с человеком случится несчастье, он непрестанно возвращается к одной и той же мучительной и бесполезной мысли: как и когда это началось? из чего все это слагалось и как я мог не придавать тогда значения тому, что должно было предостеречь меня? «Я тебя брошу только в том случае...» Как же я не обращал внимания на такие слова, — на то, что все-таки некоторый «случай» она не исключала?

Я слишком ценил свое «призвание», пользовался своей свободой все беспутнее — брат Николай был прав. И все больше не сиделось мне дома: как свободный день, я тотчас уезжал, уходил куда-нибудь.

— Где это тебя так обожгло солнцем? — спрашивает за обедом брат. — Где ты опять пропадал?

— Был в монастыре, на реке, на станции...

— И всегда один, — с укоризной говорит она. — Сколько раз обещал вместе пойти в монастырь, я там за все время только один раз была, а там так прекрасно, такие толстые стены, ласочки, монахи...

Мне было стыдно и больно поднять на нее глаза. Но, боясь за свою свободу, я только пожимал плечом:

— На что тебе эти монахи?

— А тебе на что?

Я старался переменить разговор:

— Я там видел нынче на кладбище нечто очень странное: пустую, но уж совсем готовую могилу — загодя приказал вырыть себе один из братии и даже с крестом в возглавии: на кресте уже написано, кто здесь погребен, когда он родился, написано даже «скончался» — только оставлено пустое место для даты

будущей кончины. Везде чистота, порядок, дорожки, цветы — и вдруг эта ждущая могила.

— Ну, вот видишь.

— Что ж тут видеть?

— Ты нарочно не хочешь меня понимать. Но бог с тобой.

Верно сказано у Тургенева...

Я перебивал:

— Ты, кажется, читаешь теперь только затем, чтобы найти что-нибудь насчет себя и меня. Впрочем, все женщины так читают.

— Ну, что ж, пусть я женщина, зато я не так эгоистична...

Брат ласково вмешивался:

— Да будет вам, господа!

XXVI

В конце лета положение мое в управе еще более устроилось: прежде я только «состоял» при ней, теперь был зачислен в штат и получил новую должность, как нельзя более мне подходящую: стал «хранителем» управской библиотеки — накопившихся в подвалах управы разных земских изданий. Должность эта, выдуманная для меня Сулимой, предписывала мне: разбор и приведение в порядок этих изданий, водворение их в помещение, на сей предмет особо предоставленное, — в длинную сводчатую комнату в полуподвальном этаже, — и оборудованное потребным количеством полок и шкапов, а затем надзор за ними и выдачу по управе во временное пользование тех из них, кои окажутся нужными для того или иного отделения в тот или иной момент. Я разобрал, водворил — и приступил к надзору и обязанности выдач. Но так как выдавать ничего не приходилось, — кое-что требовалось для отделений только осенью, перед земским собранием, — то остался мне один надзор, просто сидение в этой полуподвальной комнате, полюбоившейся мне необыкновенно крепостной толщью своих стен и свода, своей глубокой тишиною, — ни единый звук не достигал в нее ниоткуда, — и своим небольшим, высоко от пола отстоящим окном, в которое сверху светило солнце и видны были основания всяких диких кустов и трав, росших на пустыре за управой. Жизнь моя стала с тех пор еще свободней: я по целым дням сидел в этом склепе в полном одиночестве, писал, читал, а когда хотел, мог хоть неделю не заглядывать сюда, запирает низкую дубовую дверь на замок и уходить, уезжать куда вздумается.

Я зачем-то съездил в Николаев, часто ходил на один пригородный хутор, где поселились ради праведной жизни два брата толстовца, одно время каждый воскресный вечер проводил

в большом хохлацком селе за первой от города станцией, возвращаясь домой с поздним ночным поездом... Зачем ездил, ходил? Она чувствовала то тайное, что, помимо всего прочего, было целью моего бродяжничества. Мой рассказ о фельдшерице в Шишаках поразил ее гораздо больше, чем я думал. С тех пор в ней стала развиваться и ревность, которую она старалась и не всегда могла скрывать. Так, недели через две после этого рассказа о Шишаках, она, в полную противоположность своему доброму, благородному, еще девичьему характеру, вдруг поступила как самая обыкновенная «хозяйка дома» — нашла какой-то предлог и имела резкую твердость расчитать казачку, служившую нам:

— Я хорошо знаю,— неприятно сказала она мне,— что тебя это огорчило: еще бы, так отлично «постукивает» башмаками по комнатам эта, как ты говоришь, «кобылка», такие у нее точеные шиколки, такие раскосые сверкающие глаза! Но ты забываешь, как эта кобылка дерзка, своенравна и что моему терпению все-таки есть мера...

Я ответил от всей души, с полной искренностью:

— Как ты можешь меня ревновать? Я вот смотрю на твою несравненную руку и думаю: за одну эту руку я не возьму всех красавиц на свете! Но я поэт, художник, а всякое искусство, по словам Гете, чувственно.

XXVII

Однажды в августе я пошел на хутор к толстовцам перед вечером. В городе было безлюдно в этот еще знойный час, к тому же была суббота. Я шел мимо еврейских закрытых магазинов и старых торговых рядов. Медленно звонили к вечерне, в улицах уже лежали длинные тени от садов и домов, но все еще стоял тот особый предвечерний зной, что бывает в южных городах в конце лета, когда все сожжено даже в садах и палисадниках, которые изо дня в день пеклись на солнце, когда все и всюду — и в городе, и в степи, и на баштанах — сладко утомлено долгим летом.

На площади, у городского колодца, богиней стояла рослая хохлушка в подкованных башмаках на босу ногу; у нее были карие глаза и та ясность широкого чела, которая присуща хохлушкам и полькам. В улицу, которая шла с площади под гору, в долину, глядела предвечерняя даль южного горизонта, чуть видных степных холмов. Спустился по этой улице, я свернул в тихий переулок между мещанскими поместьями городской окраины и вышел на леваду, чтобы подняться на гору за ней, в степь. На леваде, на гумнах среди голубых и белых мазанок, мелькали в воздухе цепы: это молотили те самые парубки, ко-

торые так дико и чудесно гукали или пели на церковный лад в летние ночи. На горе вся степь, насколько хватал глаз, была золотая от густого жнивья. На широком шляхе лежала такая глубокая и мягкая пыль, что казалось, будто идешь в бархатных сапогах. И все вокруг — вся степь и весь воздух — нестерпимо блестело от низкого солнца. Влево от шляха, на обрыве над долиной, стояла хата с облупившимся мелом стен — это и был хутор толстовцев. Я со шляха пошел к нему целиком, по жнивью. Но на хуторе все оказалось пусто — и в хате и вокруг хаты. Я заглянул в ее открытое окошечко — там густо зашумела по стенам, по потолку и в горшках на полках чернота несметных мух. Я заглянул в открытые ворота скотника — одно вечернее солнце краснеет на сухом навозе. Я пошел на баштан и увидел жену младшего толстовца — она сидела на крайней меже баштана. Я подходил — она не замечала или делала вид, что не замечает меня: неподвижно сидит боком, маленькая, одинокая, откинула в сторону босые ноги, одной рукой упирается в землю, другой держит во рту соломинку.

— Добрый вечер, — сказал я, подойдя. — Что это вы так грустны?

— Бувайте и сидайте, — ответила она с усмешкой и, бросив соломинку, протянула мне загорелую руку.

Я сел и посмотрел: совсем девчонка, стерегущая баштаны! Выгоревшие от солнца волосы, деревенская рубашка с большим вырезом на шее, старенькая черная плахта, обтягивающая поженски развитые бедра. Маленькие босые ноги ее были пыльны и тоже темны и сухи от загара, — как это, подумал я, ходит она босиком по навозу и всяким колким травам! От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко и очень тянуло смотреть на ее ноги. Почувствовав мой взгляд, она поджала их.

— А где же ваши?

Она опять усмехнулась.

— Наши ушли кто куда. Один святой братец ушел на леваду, молотить, помогает какой-то бедной вдове, другой понес в город письма к великому учителю: очередной отчет за неделю во всех наших прегрешениях, искушениях и плотских одолениях. Кроме того — очередное «испытание», о котором тоже надо сообщить: в Харькове арестовали «брата» Павловского за распространение листовок — против военной службы, конечно.

— Вы что-то очень не в духе.

— Надоело, — сказала она, тряхнув головой, откидывая ее назад. — Не могу больше, — прибавила она тихо.

— Что не могу?

— Ничего не могу. Дайте мне папиросу.

— Папиросу?

— Да, да, папиросу!

Я дал, зажег спичку, она быстро и неумело закурила и, отрывисто затягиваясь и по-женски выдувая из губ дым, замолчала, глядя вдаль за долину. Низкое солнце еще грело нам плечи и тяжелые длинные арбузы, которые лежали возле нас, вдавившись боками в сухую землю среди сожженных плетей, перепутанных, как змеи... Вдруг она швырнула папиросу и, упав головой на мои колени, жадно зарыдала. И по тому, как я утешал ее, целовал в пахнувшие солнцем волосы, как сжимал ее плечи и глядел на ее ноги, очень хорошо понял, зачем я хожу к толстовцам.

А Николаев? Зачем нужен был Николаев? Едучи, я кое-что записывал:

— Только что выехали из Кременчуга, вечер. На вокзале в Кременчуге, на платформе, в буфете, множество народу, южная духота, южная толкотня. В вагонах тоже. Больше всего хохлушек, все молодых, загорелых, бойких, возбужденных дорогой и жарой, — едут куда-то «на низы», на работы. Так волнуют горячим запахом тела и деревенской одежды, так стрекочут, пьют, едят и играют скороговоркой и ореховыми глазами, что даже тяжело...

— Длинный, длинный мост через Днепр, красное слепящее солнце в окна справа, внизу и вдали полнота мутной желтой воды. На песчаной отмели множество совершенно свободно раздевающихся догола и купающихся женщин. Вон одна скинула рубашку, побежала и неловко упала грудью в воду, буйно забила в ней ногами...

— Уже далеко за Днепром. Вечерняя тень в пустынных горах, покрытых скошенной травой и жнивьем. Почему-то думал с Святополке Окаянном: вот в такой же вечер он едет верхом по этой долине впереди небольшой дружины — куда, что думает? И это было тысячу лет тому назад, и все так же прекрасно на земле и теперь. Нет, это не Святополк, это какой-то дикий мужик шагом едет на потной лошади в тени меж горами, и сзади него сидит женщина со связанными за спиной руками, в растрепанных волосах, с заголенными молодыми коленками, стиснув зубы, смотрит ему в затылок, он зорко глядит вперед...

— Лунная мокрая ночь! За окнами ровная степь, черная грязь дорог. Весь вагон спит, сумрак, огарок толстой свечи в пыльном фонаре. В опущенное окно дует полевой сыростью, которая странно мешается с густым, вонючим воздухом вагона. Некоторые хохлушки спят навзничь, раскинувшись. Раскрытые губы, груди под сорочками, тяжелые бедра в плахтах и юбках... Одна сейчас проснулась и долго смотрела прямо на меня. Все спят — так и кажется, что вот-вот позовет таинственным шопотом...

Село, где я бывал по воскресеньям, лежало недалеко от станции, в просторной и ровной долине. Я бесцельно доехал однажды до этой станции, слез и пошел. Были сумерки, впереди белели хаты в садах, ближе, на выгоне, темнел дрыхлый ветряк. Под ним стояла толпа и за толпой подмывающе взвизгивала скрипка и топали танцующие ноги... Я простоял потом несколько воскресных вечеров в этой толпе, до полуночи слушал то скрипку и топот, то протяжные хоровые песни; становился, подойдя, возле высокогрудой рыжей девки с крупными губами и странно ярким взглядом желтых глаз, и мы тотчас, пользуясь теснотой, тайком брали друг друга за руку. Мы стояли спокойно, старались не смотреть друг на друга — понимали, что плохо мне будет, если парубки заметят, ради чего стал появляться под ветряком какой-то городской паныч. В первый раз мы оказались рядом случайно, потом, как только я подходил, она тотчас на мгновение обертывалась и, почувствовав меня возле себя, брала мои пальцы уже на весь вечер. И чем больше темнело, тем все крепче стискивала она их и все ближе прижимала ко мне плечо. Ночью, когда толпа начинала редеть, она незаметно отходила за ветряк, быстро пряталась за него, а я тихо шел по дороге на станцию, ждал, пока под ветряком не останется никого, и, согнувшись, бежал назад. Мы без слов сговорились делать так, молча стояли и под ветряком, — и молча, блаженно истязались. Раз она пошла провожать меня. До поезда оставалось еще полчаса, на станции была темнота и тишина — только успокоительно трюкают кругом сверчки и вдали, где село, багрово краснеет над черными садами поднимающаяся луна. На запасных путях стоял товарный вагон с раздвинутыми дверцами. Я невольно, сам ужасаясь тому, что делаю, потянул ее к вагону, влез в него, она вскочила за мной и крепко обняла меня за шею. Но я чиркнул спичкой, чтобы осмотреться, — и в ужасе отшатнулся: спичка осветила посреди вагона длинный дешевый гроб. Она козой шаркнула вон, я за ней... Под вагоном она без конца падала, давилась смехом, целовала меня с диким весельем, я же не чаял, как уехать, и после того в село уже не показывался.

XXVIII

Осенью мы пережили ту праздничную пору, что бывала в городе в конце каждого года, — съезд со всей губернии земских гласных на губернское собрание. Празднично прошла для нас и зима: были гастроли малорусского театра с Заньковецкой и Сакаганским, концерты столичных знаменитостей — Чернова, Яковлева, Мравиной, — было немало балов, маскарадов, званых вечеров. После земского собрания я ездил в Москву, к Толстому, и, возвратившись, с особенным удовольствием предался мир-

ским соблазнам. И они, эти соблазны, очень изменили нашу жизнь внешне — кажется, ни одного вечера не проводили мы дома. Незаметно изменяли, ухудшали и наши отношения.

— Ты опять делаешься какой-то другой,— сказала она однажды.— Совсем мужчина. Стал зачем-то французскую бородку носить.

— Тебе не нравится?

— Нет, почему же? Только как все проходит!

— Да. Вот и ты становишься похожа уже на молодую женщину. Похудела и стала еще красивее.

— И ты опять стал меня ревновать. И вот я уже боюсь тебе признаться.

— В чем?

— В том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, легкое, длинное...

— Что же это будет обозначать?

— Ночь.

— Значит, опять начинается нечто орловское? Ночь! Это довольно пошло.

— Ничего не вижу тут орловского и пошлого,— ответила она сухо и независимо, и я со страхом почувствовал в этой сухости и независимости действительно нечто прежнее.— Просто ты опять стал ревновать меня.

— Почему же стал опять ревновать?

— Не знаю.

— Нет, знаешь. Потому что ты опять стала отдаляться от меня, опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги. Она неприязненно улыбнулась:

— Не тебе бы говорить об этом. Ты вот всю зиму не расстаешься с Черкасовой.

Я покраснел.

— Уж и не расстаешься! Точно я виноват, что она бывает там же, где и мы с тобой. Мне больней всего то, что ты стала как-то менее свободна со мной, точно у тебя образовалась какая-то тайна от меня. Скажи прямо: какая? Что ты таишь в себе?

— Что таю? — отвечала она.— Грусть, что уж нет нашей прежней любви. Но что ж об этом говорить...

И, помолчав, прибавила:

— А что до маскарада, то я готова и совсем отказаться быть на нем, раз это тебе неприятно. Только уж очень ты строг ко мне, каждую мою мечту называешь пошлостью, всего лишаешь меня, а сам себе ни в чем не отказываешь...

Весной и летом я опять немало странствовал. В начале осени снова встретился с Черкасовой (с которой до той поры у меня

действительно ничего не было) и узнал, что она переселяется в Киев.

— Навсегда покидаю вас, милый друг, — сказала она, глядя на меня своими ястребиными глазами. — Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода...

XXIX

Это было в ноябре, я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные, темные будни в глухом малорусском городе, его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким тротуарам и с черными садами за заборами, голую высоту тополей на бульварах, пустой городской сад с забитыми окнами летнего ресторана, влажный воздух этих дней, кладбищенский запах листовного тления — и мои тупые, бесцельные блуждания по этим улицам, по этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания... Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них.

В какой-то роковой час ее тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, я еще поздней, — и она знала, что мы поздно придем, управа опять готовилась к годовому земскому собранию, — она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда каждый месяц, и, как всегда в эту пору, была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на тахте в нашей спальне, поджав под себя, по своей привычке, ноги, много курила, — она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь не шедшее к ней занятие, — все смотрела, должно быть, перед собою, потом вдруг встала, без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашел на туалете в этой опустевшей спальне, и кинулась собирать кое-что из своих вещей — прочее просто бросила — и это прочее, как попало раскиданное, я долго не имел потом решимости собрать и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уже далеко, в пути домой, к отцу... Отчего я тотчас же не погнался за ней? Может быть, от стыда и оттого, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло в конце концов только два слова: «Дочь моя уехала и местопребывание свое запретила сообщать кому бы то ни было».

Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата (при всей его беспомощности, растерянности). Те несколько строк, что она написала в объяснение своего бегства, он не сразу передал мне, все сперва подготовлял меня, —

и с большой неловкостью, — наконец решился, скупно заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком: «Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви, не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах, молю бога, чтобы он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни...» Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами и кожа на лице и голове леденеет, стягивается:

— Что ж, этого надо было ожидать, обычная история эти «разочарования»!

После этого я имел мужество пройти в спальню и с равнодушным видом лечь на тахту. В сумерки брат осторожно заглянул ко мне — я притворился, что сплю. Терявшийся во всех несчастиях и, подобно нашему отцу, не выносивший их, он поспешил поверить, что я действительно сплю, и воспользовался необходимостью опять быть в этот вечер на заседании в управе, тихо оделся и ушел... Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь не нынче, так завтра. Когда в комнате посветлело от лунной млечности за окном в саду, я вышел в столовую, зажег там лампу, выпил у буфета один чайный стакан водки, другой... Выйдя из дому, я пошел по улицам, — они были страшны: темно, тепло, сыро, всюду вокруг, в голых садах и среди тополей бульвара, густо стоит белый туман, смешанный с лунным светом... Но вернуться домой, зажечь в спальне свечу и увидеть при ее темном свете все эти разбросанные чулки, туфли, летние платья и тот пестрый халатик, под которым я, бывало, обнимал ее перед сном, целуя ее поднятое, отдающееся лицо, чувствуя ее теплое дыхание, было еще страшнее. Спасти от этого ужаса испуганными слезами можно было только с ней, перед ней, а ее-то и не было.

Потом была другая ночь. Тот же скудный свет свечи в неподвижном молчании спальни. За черными окнами ровно кипит в темноте ночной дождь глухой осени. Я лежу и смотрю в передний угол — в его треугольнике висит старая икона, на которую она молилась перед сном: старая, точно литая доска, с лицевой стороны крашенная киноварью, и на этом лаково-красном поле образ богоматери в золотом одеянии, строгой и скорбной, — большие, черные, запредельные глаза в темном ободке. Страшный ободок! И страшное, кощунственное соединение в мыслях: богоматерь — и она, этот образ — и все то женское, что разбросала она тут в безумной торопливости бегства.

Потом прошла неделя, другая, месяц. Я давно отказался от службы, никуда не показывался на люди. Я одолевал воспоминание за воспоминанием, день за днем, ночь за ночью — и мне все почему-то думалось: вот так когда-то, где-то, какие-то славянские мужики «волоком» переволакивали с ухаба на ухаб по лесным дорогам свои обремененные тяжелой кладью лады.

XXX

Я еще с месяца мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе. Наконец почувствовал, что нет больше сил выносить эту муку, и решил уехать в Батурино — прожить там некоторое время, не загадывая о будущем.

Было очень странно войти в двинувшийся вагон, наспех обняв брата в последний раз, — войти и сказать себе: ну вот, опять свободен, как птица! Был темный зимний вечер без снега, вагон гремел в сухом воздухе. Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и вспоминал, как любил повторять при ней польскую пословицу: «Человек создан для счастья, как птица для полета» — и упорно смотрел в черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез. Ночь до Харькова... И та, другая, ночь — от Харькова, два года тому назад: весна, рассвет, ее крепкий сон в светлеющем вагоне... Я напряженно сидел в сумраке под фонарем, среди тяжелой и грубой вагонной тесноты, и ждал одного — утра, людей, их движения, стакана горячего кофе на харьковском вокзале...

Потом был Курск, тоже памятный: весенний полдень, завтрак с ней на вокзале, ее радость: «В первый раз в жизни завтракаю на вокзале!» Теперь, к вечеру серого и жесткого морозного дня перед этим вокзалом стоял наш непомерно длинный и необыкновенно будничным пассажирский поезд, бесконечная стена третьеклассных вагонов, больших, тяжелых, какими отличалась Курско-Харьково-Азовская железная дорога. Я вышел, посмотрел. Паровоз чернеет так далеко впереди, что едва виден. С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках, — все одинаково противные, — спешат в буфет за кипятком. Вышли и мои соседи по вагону: равнодушный, утомленный своей нездоровой полнотой купец и страшно живой и ко всему любопытный малый, простонародная сухость лица и губ которого весь день вызывала во мне отвращение. Он бросает на меня подозрительный взгляд, — я тоже весь день привлекал к себе его внимание: все, мол, что-то сидит, молчит этот не то барчук, не то кто его знает кто! — однако предупреждает меня дружеской скороговоркой:

— Имейте в виду, тут завсегда жареных гусей продают, дешевка баснословная!

Я стою, думая о буфете, куда не могу пойти,— там тот стол, за которым мы когда-то сидели с ней. Пахнет уже крутой русской зимой, хотя снегу и тут еще нет. Какая убогая ждет меня там, в Батуристне! Старость отца и матери, увядание моей несчастной сестры, нищая усадьба, нищий дом, голый, низкий сад, по которому дует ледяной ветер, зимний лай собак,— зимой, когда дует вот такой ветер, он какой-то особенный, ненужный, пустынный... Хвост поезда тоже бесконечен. Напротив, за барьером платформы, высятся метлы голых тополей, за тополями, на мерзлой булыжной мостовой, ждут седоков захоластные извозчики, вид которых без слов говорит о тоске, о скуке того, что называется Курском. Под тополями стоят на платформе закутанные и подпоясанные концами шалей бабы с посиневшими от стужи лицами, угодливо кричат, заывают — продают этих самых баснословных гусей, огромных, ледяных, в пупырчатой коже. Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад, в теплые вагоны, с удовольствием зябнут, с ернической веселостью торгуются на бегу с бабами... Наконец с адской мрачностью взрывается вдали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем... Безвыходней всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если бы не это, я бы превозмог всякий стыд, давно бы настиг ее где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе,— дикий поступок ее был, несомненно, припадком безумия, раскаяться в котором ей мешает тоже только стыд.

Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было три года назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батуристне оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге: убогие избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо высокой и тяжелой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности,— все старое, какое-то заброшенное, бесцельное — и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада... В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности — замасленные глиной трещины печей, полы для тепла постланы мужицкими попонами... Один отец старался держаться как бы в противовес всему этому: похудевший, уменьшившийся, совсем седой, он был теперь всегда чисто брит, гладко причесан, одет не с прежней небрежностью,— мучительно было видеть эту подтянутость старости и бедности, — держался (очевидно, ради меня, ради моего позора и несчастья) бодрее и веселее всех. Раз он сказал, держа папиросу дрожащей, уже высохшей рукой, глядя на меня с нежной грустью:

— Ну, что ж, друг мой, все законо — и все треволнения, все горести и радости молодости, и мир, покой старости... Как это? — сказал он, засмеявшись глазами: — «мирны наслажденья», чорт бы их побрал совсем:

Мы в сей глуши уединенья,
Дыша свободою полей,
В смиренной хижине своей,
Вкушаем мирны наслажденья...

Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние — все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость, — слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было! И все стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек, — человек совсем особого века и особого племени, удивительный какой-то бесплодной и совершенно чудесной в своей легкости и разнообразности талантливостью всей своей природы, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоу и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичность сердца. В ту зиму мне было двадцать лет, а ему шестьдесят. Как-то даже не верится: мне было когда-то двадцать лет, и только еще расцветали, невзирая ни на что, мои молодые силы! А у него вся жизнь была уже позади. И вот, никто в ту зиму не понимал так, как он, что у меня на душе, и, верно, никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег, был тихий и скромный солнечный день, освещенный им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, теплого, накуренного, запущенного, милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе. И он, сказав про «мирны наслажденья», отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое любимое, народное, и взгляд его стал тверд и весел, что-то тая в себе в то же время, — в лад нежному веселью гитары, с грустной усмешкой бормотавшей о чем-то дорогом и утраченном и о том еще, что все в жизни все равно проходит и не стоит слез...

Вскоре после приезда я не выдержал, сорвался однажды с места, кинулся очертя голову в город — и в тот же день вернулся ни с чем: в дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчичьих санок у знакомого, теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузавешанные

окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда-то на диване, — тех осенних, первых наших дней! — дернул звонок... Дверь отворилась, и я очутился лицом к лицу с ее братом, который, бледнея, раздельно сказал мне:

— Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсуствии.

Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с Волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный, очень смуглый юноша в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах, с пробивающимися черными усами, с непреклонно-злым взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный.

— Уходите, пожалуйста, — прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце.

И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма, — не мог поверить, что она оказалась столь каменно-жесточкой.

XXXI

Весной того же года я узнал, что она приехала домой с воспалением легких и в неделю умерла. Узнал и то, что это была ее воля — чтобы скрывали от меня ее смерть возможно дольше.

У меня сохранилась до сих пор та тетрадь в коричневом сафьяне, что она купила мне в подарок из своего первого месячного жалованья: в день, может быть, самый трогательный за всю ее жизнь. На заглавном листе этой тетради еще можно прочесть те немногие слова, что она написала, даря ее мне, — с двумя ошибками, сделанными от волнения, поспешности, застенчивости...

Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда.

Приморские Альпы. 1933

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

— Налево, ваше превосходительство,— грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло

щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

— Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернбровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

— Самовар. Хозяйка тут или служишь?

— Хозяйка, ваше превосходительство.

— Сама, значит, держишь?

— Так точно. Сама.

— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.

— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.

— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.

— Боже мой, боже мой, — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

— Вроде этого... Боже мой, как странно!

— Что странно, сударь?

— Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решитель-

но заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

— Мне господа вскоре после вас вольную дали.

— А где жила потом?

— Долго рассказывать, сударь.

— Замужем, говоришь, не была?

— Нет, не была.

— Почему? При такой красоте, которую ты имела?

— Не могла я этого сделать.

— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

— Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.

— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».

— Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

— Ведь не могла же ты любить меня весь век!

— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили, сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.

— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

— А! Все проходит. Все забывается.

— Все проходит, да не все забывается.

— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор

наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей,— ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом.— Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно,— жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал,— пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

— Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебна прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

— Давно, Клим.

— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

— Это ничего не значит.

— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал во-время — пеняй на себя.

— Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи...» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»

И, закрывая глаза, качал головой.

КАВКАЗ

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником — от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно, со словами:

— Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

— Мне кажется,— говорила она,— что он что-то подозревает, что он даже знает что-то,— может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи,— молодой, одинокий,— на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря...» В осуществление нашего плана мы не верили

до последней минуты — слишком великим счастьем казалось нам это.

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокры и черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто.

В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедленно опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее — их все не было. Ударил второй звонок — я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса — я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, — хорошо ли устроил ее носильщик, — и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...

Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.

— Я совсем не могла обедать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану, — сказала она, в первый раз говоря мне ты. — Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...

Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется.

Потом мы спустились вдоль берега к югу.

Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов,— по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев,— плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака — все жаренная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты — в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света.

Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на

тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две-три недели — и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тьякали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, — они всегда сбегаются в такие ночи к жилью, — мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тьякали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвращаясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

12.11.37

СТЕПА

Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутым картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, над головой с треском летел шипящий хвост, разрывающийся вслед затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом

году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сиденье в кофейне Трамблэ, вечером ожидание ее у себя на квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нет... Потом наконец звонок — и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоянный двор старика вдовца, помещика Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, — надо перегадить, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоялому двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца.

— Дед! — громко крикнул он. — Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой, — вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно, — сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ремненным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирает, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачнее чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя — и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке.

— Как подошли! — вслух сказал он — и тотчас услышал

скорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте с нар Степы, дочери хозяина:

— Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпуха поругалась с папашей и ушла домой, а папаша взяла работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугалась грозы досмерти, а тут, слышу, кой-то подъехал, еще пуше испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

— Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да вишь что делается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

— Я сейчас лампу зажгу,— поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом.— Вас сам бог послал, что бы я тут делала одна,— певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

— Погоди, не надо,— вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию.— Постой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе,— она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:

— Еще пуше испугалась?

— Василь Ликсеич...— пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

— Погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю.

— Лучше вас на свете нету,— выговорила она тихо и горячо.

— Ну вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

— Василь Ликсеич... за ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой

накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо заплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смиренно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: «А папаша в город уехали...» Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет — такой сухонький и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно-грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в избе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

— Степа,— сказал он осторожно.— Мне пора.

— Уж едете? — прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест на крест ударила себя в грудь руками:

— Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

— Степа, я опять скоро приеду...

— Да ведь папаша будут дома,— как же я вас увижу? Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!»

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

— Василь Ликсеич... за ради Христа... за ради самого царя небесного, возьмите меня замуж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать — возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...

— Замолчи,— строго сказал Красильщиков.— На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

— Правда?

— Конечно, правда.

— Мне на Крещение уж шестнадцатый год пошел,— поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Ки-словодске.

5.10.38

МУЗА

Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи,— у меня всегда была страсть к ней,— и, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все что полагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутые назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры,— я их особенно ненавидел,— небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

— Занятно, занятно... Несомненные успехи...

Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его «артистически» запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане... Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование,— был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные форточки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто

там?—но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул—опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

— Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?

Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью:

— Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

— Во всяком случае дайте мне войти, не держите меня перед дверью,— сказала она, все так же прямо смотря на меня.— Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала как дома снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

— Снимите с меня ботики и дайте из пальто носовой платок.

Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги:

— Я вас видела вчера на концерте Шора,— безразлично сказала она.

Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения,— что за странная гостья! — я покорно снял один за другим ботики. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно-молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке,— во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботики из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она, где и с кем живет. Она ответила.

— От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил:

— Чаю хотите?

— Хочу,— сказала она.— И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет,— тут, на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива.

— А кажетесь такой спокойной.

— Мало ли что кажется...

Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки... А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя:

— Теперь сядьте ко мне.

Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала — старательно, долго.

— Ну вот,— сказала она как будто облегченно. — Больше пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно,— только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слышал однообразный звон конок, цоканье копыт...

— Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге»,— сказала она.— Никогда не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь.

— Любовь?

— А как же это иначе называется?

Ученье свое я, конечно, вскоре бросил, она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае я переселился, по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого — дачи под Москвой: никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекачивается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар... Все мокро, жирно, зеркально... В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные

в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена,— неконопаченные стены, неструганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию,— и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно обедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась соннамбулична, шла, клоня голову на мое плечо... Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озерà.

В июле она уехала со мной в мою деревню,— не венчаясь, стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий — и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один.

— А где барыня, Дуня? Гулять ушла?

— Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.

— Оделись и ушли,— сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.

«Верно, к Завистовскому пошла,— подумал я.— Верно, скоро придет вместе с ним — уже семь часов...» И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул — весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час — с ясной и дикой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и уехала на станцию, в Москву,— от нее все станется! Но, может быть, вернулась?» Пошел по дому — нет, не вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая: «Как нарочно и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, пошел к жалкой усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, нищий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки,— в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота... Но темно и в зале.

— Викентий Викентьич!

И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно:

— Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...

Я вошел и сел на бугристый диван.

— Представьте себе, Муза куда-то исчезла...

Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:

— Да, да, я вас понимаю...

— То есть что вы понимаете?

И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.

— Вы с ружьем,— сказала она.— Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня.

И села на другой диван, напротив.

Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой,— все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна,—хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»

— Дело ясно и кончено,— сказала она.— Сцены бесполезны.

— Вы чудовищно жестоки,— с трудом выговорил я.

— Дай мне папиросу,— сказала она Завистовскому.

Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек...

— Вы со мной говорите уже на вы,— задыхаясь, сказал я,— вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на ты.

— Почему? — спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу.

Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.

17.10.38

РУСЯ

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва — Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:

— Послушайте, почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой местности на каникулах,— сказал он.— Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный,— хозяева были люди обедневшие,— за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как

дикарь,— то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам,— оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

— Тоже, значит, в русском стиле?

— Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие, слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что же за имя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо ответил:

— Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

— Да ничем. Уехал и делу конец.

— Почему же ты не женился на ней?

— Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

— Нет, серьезно?

— Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевиное полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни — подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда — и как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и крошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под

березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

— Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?

— Историю французской революции.

— Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.

— А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.

— А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

— Вы страшно самолюбивы.

— Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

— Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! — бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем еще девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

— Правда хорошо? — крикнула она.

— Очень! — ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: — Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пьявок.

Она положила картуз к себе на колени.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу у рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула—и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой — он едва успел вскочить и поймать ее подмышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

— С первого дня нашей встречи!

— И я, — сказала она. — Нет, сначала ненавидела — мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно

осторожнее — мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачем?

— Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и гребни к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она испуганно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, — стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или ёж в лесу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай, выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско

белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары — и летали, летали с тихим треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги — и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее:

— Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза — все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой неся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это — перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли — как же он вабыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на побережье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распутивши на влажной и теплой зелени побережья свой

желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки,— даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки — у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступили медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел — видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, к мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — ответил он, неприятно усмехаясь. — Дачная девица... *Amata nobis quantum amabitur nulla!*¹

— Это по-латыни? Что это значит?

— Этого тебе не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27.9.40

¹ Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет!
(лат.)

КРАСАВИЦА

Чиновник Казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета иода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице — и все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме.

Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью.

Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной:

— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной ото всего дома жизнью,— неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголку гостиной, рисует на грифельной доске домики или шопотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его.

28.9.40

ДУРОЧКА

Дьяконов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением: днем, перед обедом, подсматривал из прибрежного лозняка над заводью речки, как приходили туда с работы девки и, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду; потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сенцы в кухню, где было черно и жарко, как в топленой печи, нашарил, протягивая вперед руки, нары, на которых спала кухарка, нищая, безродная девка, слышшая дурочкой, и она, от страха, даже не крикнула. Жил он с ней с тех пор все лето и прижил мальчика, который и стал расти при матери в кухне. Дьякон, дьяконица, сам батюшка и весь его дом, вся семья лавочника и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за свое прошлое: жил с дурочкой!

Когда он кончил курс,— «блестяще!», как всем рассказывал дьякон,— и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же праздник назвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком. Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы зашипевший и потом громко закричавший граммофон. Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмывающие звуки «По улице мостовой», как вдруг в комнату влетел и неловко, не в лад заплясал, затопал кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умилисть им, сдуру шепнула: «Беги, попляши, деточка». Все растерялись от неожиданно-

сти, а дьяконов сын, побагровев, кинулся на него подобно тигру и с такой силой швырнул вон из комнаты, что мальчик кубарем покатился в прихожую.

На другой день дьякон и дьяконица, по его требованию, кухарку прогнали. Они были люди добрые и жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смириться. Но он остался непреклонен, и его не посмели послушаться. К вечеру кухарка, тихо плача и держа в одной руке свой узелок, а в другой ручку мальчика, ушла со двора.

Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, побираясь Христа ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селам молча кланялась перед каждой избой. Мальчик шел за ней сзади, тоже с мешком через плечико, в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь в овраге.

Он был урод. У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.

ВОЛКИ

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками — мелкопоместной барышней и юношей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам еще ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее — во-время выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевавшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

— Волков боюсь!

Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного ситцевого платья открывает ее круглую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

— Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

— Сейчас, сейчас! — кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком

мотнув их обоих, тележка точно натывается на что-то — маленький круто осаживает лошадей.

— Волки! — вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара в дали направо.

Тележка стоит против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире,— кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный,— прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, маленький, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она сразмаху полетела в козлы и рассекла щеку обо что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась:

— Дела давно минувших дней! — говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд.— Волки испугали, лошади понесли,— говорила она.— А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.

7.10.40

В ПАРИЖЕ

Когда он был в шляпе,— шел по улице или стоял в вагоне метро,— и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он, как человек много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, слышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее,— неприятно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien.¹

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина — он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеребрившими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бума-

¹ Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину (*франц.*).

гой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидел безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

— Bon soir, monsieur ¹,— сказала она приятным голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

— Bon soir... Но вы ведь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

— Да разве у вас много бывает французов?

— Довольно много и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

— Нет, тут столько всего... Вы уже сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

— Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки... можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

— Водочки желаете?

— Охотно. Сырость на дворе ужасная.

— Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней полочки, коркуновские огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые,— виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь.— Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное,— какое у вас всегда дают к столу.

¹ Добрый вечер, сударь (франц.).

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

— Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. L'eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme — l'âme.¹

— Хорошего же вы мнения о нас! — безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье... Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный «ami»²... Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, — счастливой любовной встречи, живешь в сущности только надеждой на эту встречу — и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте:

— Gaviar gouge, salade gusse... Deux chachlyks...³

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

— Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платонович.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

— Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, рассольник, так рассольник... А вы тут давно работаете?

— Третий месяц.

— А раньше где?

— Раньше была продавщицей в Printemps.

— Верно, из-за сокращений лишились места?

— Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал: «значит, дело не в «ami», и спросил:

— Вы замужняя?

— Да.

¹ Вода портит вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу (франц.).

² «Друг» (франц.).

³ Красной икры, русского салата... Два шашлыка... (франц.)

— А муж ваш что делает?

— Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже?

— Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.

— Это сразу видно. И, вероятно, генерал,— сказала она, улыбаясь.

— Бывший. Теперь пишу историю этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третий вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

— Мерси. Я свободна по понедельникам.

— Ну вот и пойдем в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит послезавтра. Идет?

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

— И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

И поспешил переменить разговор:

— Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

— Возле метро Motte Picquet.

— Видите, как удобно,— прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

Он шутливо поклонился:

— C'est moi qui vous remercie.¹ Уложите детей,— улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, — и приезжайте.

— Слава богу, этого добра у меня нет,— ответила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes á ceux qui n'ont pas de derrière...²

Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеясь поужинать с ней на Монпар-

¹ Это я вас благодарю (франц.).

² Господь бог всегда дает штаны тем, у кого нет зада... (франц.)

нассе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сандвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло банным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным криканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней на встречу:

— Ольга Александровна...

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, — он обрадовался еще больше: «вечернее платье, — значит тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь», и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

— Бедный, вы долго ждали?

— Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...

И с давно неиспытанным волнением он вошел за ней в полутемную пахнущую сырým сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, — он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидел ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

— Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?

— Одна. В сущности ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно — ни души нигде, совсем мертвый город, бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов — дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. История очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours.*¹ А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

— Где же она теперь?

— Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурачки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, верно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что ж, надо терпеть. *Patience — médecine des pauvres.*²

— Очень грустная *médecine*.

— Да, невеселая. До того, — сказал он, усмехаясь, — что я иногда даже в «Иллюстрированную Россию» заглядывал, — там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: «Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна...» Вполне ее понимаю — не обязательна.

— Но разве у вас нет друзей, знакомых?

— Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

— Кто же ваше хозяйство ведет?

— Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de ménage*.³

— Бедный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломанный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, — они сидели на балконе, — гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

¹ Бывает, что женятся из-за того, что нравятся хорошие ночи и скверные дни (*франц.*).

² Терпенье — медицина бедных (*франц.*).

³ Уборщица (*франц.*).

— Знаете, что? Поедемте куда-нибудь, на Монпарнас. например, тут ужасно скучно и дышать нечем...

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе «Souple» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

— Но скажите правду,— говорила она, шепотками снимая с кончика языка крошки табаку,— ведь были же у вас встречи за эти годы?

— Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна очень тяжелая история... Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец гречонок, чрезвычайной богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лет. Не легко было забыть ее,— прежнюю, екатеринодарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

— Поедемте ко мне,— сказал он печально.— Посидим, поговорим еще...

— Да, да,— ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого, в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь.

Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

— Нет, дорогой мой,— сказала она,— я больше не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу, белого, у меня стоит за окном отличное пуи.

— Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам... И вообще, зачем нам расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

— Нельзя сюда! — сказала она и накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску.

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском Кредите и положить туда все, что им было заработано:

— Предосторожность никогда не мешает,— говорил он.— *L'amour fait danser les ânes*¹, и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

На третий день пасхи он умер в вагоне метро,— читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной— и о ее, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

26.10.40

¹ От любви даже ослы танцуют (франц.).

НАТАЛИ

I

В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерский, в монахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики и, в силу этого решения да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой, со своей обычной насмешливостью:

— Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!

— Ну уж на этот раз никак не по своей вине,— ответил я.— Опоздал не молодой человек, а поезд.

— Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком, Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась, одна я

оказалась терпелива и верна тебе... Ну, раздевайся и пойдем ужинать.

Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча, рукой:

— Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно — ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет!

Она засмеялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то, что я. Представь себе: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.

— Чего прочего? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь, чего. И сложена, как молоденькая нимфа...

На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина.

— Не прогневайся, больше ничего нет, — сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. — И водки нет. Ну, дай бог, чокнемся хоть вином.

— А что именно дай бог?

— Найти мне поскорее такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу: с кем же останется папа?

— Ну, дай бог!

И мы чокнулись и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилок, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде...

И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блесст ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара; на левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну, а что папа?

Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава богу, молодцом. Попрежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежнего и еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается,— сказала она и засмеялась.— Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном:

— Да, пока все слава богу. И прекрасное лето,— ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие — сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и наконец услышать, что едут, погромыхивают бубенчиками, подкатывают к крыльцу...

Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

— Вот ты говоришь Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой

когда-то, теперь же просто нишей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего... Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так,— сказал я.— Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помешает,— ответила она.— Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.

— Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколотная, ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству.

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин,— такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых,— я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всех, не смей пожирать меня «страстными взорами»! Избавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди пожалуйста по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне...

Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что, когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня мягко метнулась круп-

ная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

II

В первый раз я увидел Натали на другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула,— была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого,— и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе,— улан кончил раньше и ушел,— и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое,— особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка,— покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню улана. Зная, что он встает летом часов в пять, постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился в неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь: налево вся стена в дубовых книжных шкапах, между ними в одном месте висятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим зеленым сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клещи, молотки, гвозди, медная подзорная труба; на стене возле двери, над стопудовым деревянным диваном, целая галерея выцветших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размеров; правее, над широчайшей дубовой кроватью, картина во всю стену: почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленоватоголубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая в полуоборот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок

груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившего ко мне из прихожей:

— Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят,— ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными.— Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях помещиках, на все лады браня и высмеивая их, я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Сою, что не сиделось на месте: что это за Натали и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни... Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей,— отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника,— молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выпавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще более помолодевших после сна щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный... А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображение всегда было живо у меня, я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата

слизи, выросшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в воде голубовато-меловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка...

— Ну, до обеда, ты ведь помнишь: обед в двенадцать, — отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучовом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный: в самом деле красавица! — и долго стоял там, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад, — охватил какой-то страх не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос:

— Мы уже виделись!

Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы, и Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала: «Средь шумного бала, случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне:

— Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.

И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покосясь на дверь, тихо прибавила:

— Приду к тебе после обеда...

Когда они вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежья, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что

я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они...

После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядело из сада в открытые окна,— небо, зелень, солнце,— после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время и Соня (вышедшая к обеду с темнокрасной бархатистой розой в волосах) тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она, в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню! В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, к сухозолотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски,— я глядел и думал: что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые шиколки в сером прозрачном чулке...

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — и схватил ее руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она села на диван, закрывая глаза,— «ну, иди ко мне» — и мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркого тела, позволяла целовать

себя уже всюду — только целовать — и все сумрачнее закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шопотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темнокрасный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам, — она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, — и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком: встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад, — они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом, — я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня, — в сумерки ужин в столовой... После ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» — и, простясь с ними, я шел к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:

— Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать, Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и, небось, наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски

ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?

Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она резко взглянула на меня:

— Как это?

— Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский...

Она не дала мне договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мне! Даже пошутить нельзя! Ну, простите меня,— сказал я, беря ее руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вздохните — какой ветер? Какой радостью могло бы быть все!

Она помолчала:

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?

Она гордо пожала плечом:

— Что и почему я могу иметь против вас?

Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали,— звезды только кое-где мелькали в тем-

ных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, там дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется,— сказала Соня, подавляя зевок.— Нянька сказала, родился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться».— И, помолчав, добавила: — Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали откликнулась из темноты:

— Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.

Соня подумала:

— Ну, и девушки бывают разные...

И решительно встала:

— Нет, спать, спать!

— А я еще подремлю тут, мне ночь нравится,— сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!

Она ответила:

— Да, да, мы нехорошо говорили...

На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете улана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волосы, прилежавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее груди, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел...

— Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела... Не мешайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.

— Что, где?

Я указал ей на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет:

— Правда?

И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:

— Но вы же любите Соню!

Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью оторвался от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!

IV

На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду — «Соня, что с Натали?» — спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:

— Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит». — Уж не влюбилась ли!

— Очень просто, — сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, — я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник», несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью.

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснея: — Вы вчера мне поверили?

Она тоже покраснела — тонко и ало — и отвернулась:

— Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам... и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:

— Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?

— Ты глуп...

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видеть по ночам у себя Сони!

С неделю правила домом, всем распорядилась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик повар и Христя, хохлушка горничная, приносили и подавали во-время, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боятся Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнувшей мечтой: не на век же я связан с Соней, не век же мне — да и Натали — гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать — и тогда конец моим мучениям... найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно, — разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее? — но что же делать, этого, рано или поздно, все равно не избежишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее — и терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, — как нарочно дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке

и на лампе в столовой спали мухи,— но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы...

Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:

— Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное... Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами...

Я, втайне раздражаясь, отвечал:

— Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по руке:

— Не смей возражать больной!

Наконец стала выходить и к обеду и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христя понесла со стола самовар в поварскую:

— Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.

— Я скучаю только без вас,— ответил я.— Когда вас нет...

Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, славу богу, не сбьются, ночь будет прекрасная...

— Соне меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль,— ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду.— Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! Это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролежавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там

только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, блестела половина его, не сулившая ничего доброго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вместе напоминало жолудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко — я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уезжать?

Я притворно засмеялся:

— Не могу же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

— Я не имею никаких прав на Виталия Петровича,— сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улан хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

— В поле было уже слишком чисто, ясно,— сказал я.— И месяц очень чист и похож на жолудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:

— Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...

В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные... Молодой месяц играл все выше и ярче в горах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и

мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

— Вы еще не спите?

— Но вы же мне сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшебю блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине...

Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:

— Вы правда уезжаете?

— Да, пора.

— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.

— Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.

— Натали...

— Да, да, я вас люблю,— сказала она, поспешно и невыразительно, пошла назад, к дому. Я лунатически пошел за ней.

— Уезжайте завтра же,— сказала она на ходу, не оборачиваясь.— Я вернусь домой через несколько дней.

V

Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом

затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекло, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидел это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шопот:

— Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь...

Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.

— Или нет, нет, не надо, — поспешно сказала она, — иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь...

Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:

— Ну, поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана.

В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидела нас, но все-таки бессознательно крикнула:

— Соня, где ты? Я страшно боюсь...

И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.

VI

Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.

В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил святки дома, в деревне, приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции и в городе, пока извозчицы сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близ-

кое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился,— во всяком случае привык к тому состоянию душевнобольного человека, которым втайне был, и внешне жил как все.

Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе,— и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фракком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах,— хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под

стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — *Gaudeamus igitur!*¹ — остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно бледный!

Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце...

И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара». Отец перекрестился и сказал:

— Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такие годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, — он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне, — но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ехать тебе...

Отказаться было нельзя, — в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.

Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлomu закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, — и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего — полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парад-

¹ «Будем же веселиться!» (лат.) — первая строка средневековой студенческой песни.

ном крыльце, у настезь раскрытых в сени дверей, стоямя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей,— вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее,— впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос,— и уже, как от иконы, не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное,— там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, после отпевания и погребения, я немедленно уехал.

Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно-молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!», и она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, — маленького, черненького мальчика, — и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:

— Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. — Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.

Я посмотрел на нее — ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет... Влюбиться, жениться — этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни.

Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали — и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу... И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как выживаете».

Она встретила меня на крыльце, — сзади нее светила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мне обе руки:

— Я страшно рада!

— Как это ни странно, вы еще немного выросли, — сказал

я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки, черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.

— Да, я все еще расту,— ответила она, грустно улыбаясь.

В зале попрежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.

— Ах, пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной, не обращайтесь на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — ведь все, что было, былшем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение — оно теперь бескорыстно и спокойно...

Она склонила голову и ресницы, — к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, — и лицо ее стало медленно розоветь.

— Это совершенно точно, — сказал я, бледнее, но крепнувшим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. — Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже и в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она помолчала.

— Я видела вас на балу в Воронеже... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! — Хотя разве бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. — Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? — Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне?

Я с усилием спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нежность, но и только.

— Расскажите мне все.

И я рассказал все — вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.

— Не в браке дело, — сказал я. — Бог мой! Мне, жениться! Она в раздумье посмотрела на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?

И положила руку на руку мне:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена...

Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресло возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно

пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно... И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестящем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:

— В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.

— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии, тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее...

— Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.

— Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на балу — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, — как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и гибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко — разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?

В декабре она умерла на Женевском озере в прежнеевременных родах.

В ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ УЛИЦЕ

Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестяли фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешанным окном...

— Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...

Там огонек таинственный
До полночи светил...

— И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...

Ах, что за чудо девушка,
В заветный час ночной,
Меня встречала в доме том
С распушенной косой...

— И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась — и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от

ветра, и мы бежали наверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросил куда попало шинель, картуз и брал ее к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточки... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушек...

Как не по-детски пламенно
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
«Послушай, убежим!»

— Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: «убежим!» У нас «убежим» не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы, тяжкое томление юных тел, от которого мы клонили на плечо друг другу головы, и губы ее уже горели, как в жару, когда я расстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим незрелой земляникой острием... Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом... «В одной знакомой улице я помню старый дом...» Что еще помню? Помню, как весной провожал ее на Курском вокзале, как мы спешили по платформе с ее ивовой корзинкой и свертком красного одеяла в ремнях, бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывали в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного из них и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню. Ничего больше и не было.

«ДУБКИ»

Шел мне тогда, друзья мои, всего двадцать третий год,— дело, как видите, давнее, еще дней блаженной памяти Николая Павловича,— только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где, по кончине родителя, одиноко жила моя матушка, и, приехав, вскорости жестоко влюбился: заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском, по соседству нашей, да и стал под всякими предлогами заглядывать туда все чаще и чаще. Дика и поныне русская деревня, зимой пуше всего, а что ж было в мои времена! Таково дико было и Петровское с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся «Дубки», ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенные временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенные снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сиживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в ней нашему старосте Лавру, даже низко ища его дружества и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простою русскою дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом в темнокрасной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал что попадет под руку, бренчал на фортепьяно, подпевая с томлением: «Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить», а пообедав, уезжал до вечера в «Дубки», не взирая на жгучие ветры и вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли святки

и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская, вестимо, первое всего, и тут за чем-то вышел из избы, Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими кастильскими очами и, лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно-страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шопотом:

— Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощанье. Таилась я, а теперь скажу: горько мне будет расставаться с вами!

Я, конечно, был сражен таким признанием и только успел головой кивнуть в знак согласия — Лавр воротился в избу.

После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и дожить до завтрашнего вечера, не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра — и прочее подобное... «Ведь он уже стар, — думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было, — он должен скоро умереть...» Наконец прошла ночь, — я до самого утра то трубку курил, то ром пил, нимало не пьянея, все разгораясь в своих безрассудных мечтах, — прошел и короткий зимний день, стало темнеть, а на дворе — прежестокый буран. Как тут уехать из дому, что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть, как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга! Сказался недомоганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель, а как только матушка откушала и удалилась к себе, — наступила уже ранняя зимняя ночь, — с великою поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запрячь легонькие санки и был таков. На дворе зги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая, пустил ее наугад, и не прошло и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой, засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону — и, вне себя, через сугроб, в темные сенцы! Нашарил дверь избы, шагнул за порог, а она уж наряжена, набежена, нарумянена, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением, во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму, но глаза и сквозь них видны — столь они широки и пристальные! Лучина в светце на припечном столбе, над лоханью с водой, трещит, слепит быстрым багровым пламенем, роняет огненные искры, шипящие в воде, на столе тарелки с орехами и мятными жамками, штоф с наливкою, два стаканчика, а она, близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит

в шелковом лиловом сарафане, в миткалевой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье — смоляная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги... Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке, — все как в иступлении, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности, — бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты...

— Что ж ты таилась, говорю, дождалась до разлуки нашей!

Отвечает отчаянно:

— Ах, что ж я могла! Сердце заходило, как ты приезжал, видела твое мучение, да я крепка, не выдавала себя! Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаза-на-глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься, зорек, как орел, заметит что — убьет, рука не дрогнет!

И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет на колени себе... Чувствую ее тело на своих ногах сквозь легкий сарафан и уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами Пифии:

— Слышишь?

Слушаю — и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной: что, мол, такое?

— Подъехал кто-то! Лошадь заржала! Он!

И, забежав и сев за стол, превозмогая тяжелое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукою из штофа:

— Выкушайте, сударь, наливочки. Поедете — озябнете...

Вот тут он и взошел, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе, глянул, молвил: «Здравствуйте, сударь», усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полой полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил:

— Ну и погодка! Добился кое-как до Больших Дворов, — нет, думаю, пропадешь, не доедешь, — въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу, за щи, — попал как раз в обед, — да так и просидел почесть до вечера. А потом думаю — э, была не была, поеду-ка я домой, авось бог донесет, — не до города, не до дел в этакую страсть! Вот и доехал, слава богу...

Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимаем, что он сразу понял все, она не подымает ресниц, я изредка на него взглядываю... Признаюсь, живописен он был! Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит

с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза — грозным умом... Подойдя к светцу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону:

— Уж и не знаю, сударь, как вы теперь доедете. А ехать вам давно пора, лошадь вашу всю снегом занесло, вся согнулась стоит... Уж не гневайтесь, что не выду провожать—больно намаялся за день, да и жену весь день не видал, а есть у меня о чем с ней побеседовать...

Я, без слова в ответ, поднялся, оделся и вышел...

А наутро, чем свет, верховой из Петровского: ночью Лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной притолке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам:

— У меня, соседи, горе. Жена удавилась — видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете, а она висит уж вся синяя с лица, голова на грудь свалилась. Нарядилась зачем-то, нарумянилась — и висит, малость не достает до полу... Привидетельствуйте, православные.

Те посмотрели на него и говорят:

— Ишь ты, что с собою наделала! А что ж это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? — Вяжи его, ребята!

Был он бит плетью и отправлен в Сибирь, в рудники.

ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ

В июне того года он гостил у нас в имении — всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

— Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, — были именины отца, — и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки — проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

— Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресле, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, — мы знали, какой, — и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

— Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

— Да, если позволите, утром,— ответил он.— Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

— Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой,— я вздумала раскладывать пасьянс, он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

— Хочешь пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

— Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет,— сказала я.— А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах: «Надень свою шаль и капот...» Времена наших дедушек и бабушек... Ах, боже мой, боже мой!

— Что ты?

— Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

— Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

— Как блестят глаза,— сказал он.— Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то короткий срок — ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

— Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

— Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты живи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером,— в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед,— и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, стояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его — какое странное слово! — через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня,— то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к Добровольцам, чуть не две недели,— я бабой, в лаптях, он в истертom казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой,— и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках.

Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем французенкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году — и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни,— остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне...» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

ПАРОХОД «САРАТОВ»

В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке:

— Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

— Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах — в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги.

— Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестели; с часу до шести он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд — он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

— Валяй живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был свеж и прян, лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрас-

но: и зелень, и фонари, и предстоящее свиданье, и вкус папиросы, которую умудрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь отворила маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблукках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблукках туфель без задка, на босу ногу с розовыми пятками, — длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он шелкнул каблуками:

— Прости ради бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах.

— Вина давно известная...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив нога на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар.

— Понимаешь, какая вышла история...

— Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горячей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота.

— Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то «Японская ночь», — знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, «за красоту я получила первый приз...»

Она покачала головой:

— Никаких программ. Я нынче сижу дома.

— Как хочешь. И это неплохо.

Она повела глазами по комнате:

— Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

— То есть как это последнее?

— А так.

У него еще веселей заиграли глаза.

— Позволь, позволь, это забавно!

— Я ничуть не забавляюсь.

— Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит? Яка така удруг закавыка, как говорит наш вахмистр?

— Как говорят вахмистры, меня мало интересует. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.

— Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.

— Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати.

— Однако, чорт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?

— Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.

— Мамочки мои! Да ты это серьезно?

— Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.

— Ка-кое великодушие!

— Не паясничай. Я виделась с ним еще великим постом...

— То есть тайком от меня и продолжая...

— Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним,— и, разумеется, тайком, не желая тебе же причинять страдание,— и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его.

Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы:

— То есть его деньги?

— Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я захотела...

— Прости, так говорят только кокетки.

— А кто ж я, как не кокетка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?

Он пробормотал офицерской скороговоркой:

— При любви деньги не имеют значения.

— Но ведь я люблю его?

— А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных содержателей?

— Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.

— Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!

— Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...

Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все,

с которой мчался на извозчике, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволосую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канapé, в упор глядя на нее:

— Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?

Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папирсой.

Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, раздельно говоря:

— И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет целовать вот это колено, которое еще вчера целовал я?

Она подняла брови:

— Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по какому праву...

Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, цветистый браунинг, на ладони покачал его:

— Вот мое право.

Она покосилась, скучно усмехнулась:

— Я не любительница мелодрам.

И бесстрастно повысила голос:

— Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель.

— Что-о?

— Ничего. Вы пьяны. Уходите.

— Это ваше последнее слово?

— Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на ноге.

Он шагнул к ней с радостной решительностью:

— Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

— Пьяный актер,— сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутым на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до поя-

са гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко остриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплеывал туда.

16.5.44

ВОРОН

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидел однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в «Полярных путешествиях» Богданова,— так похож показался мне Наполеон на пингвина,— а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно жестокого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо черноволосый, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон — особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах,— рослую даму в парче и кокошнике, с носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое,— я да маленькая сестра моя Лиля,— и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходявших фасадами на бульвар в тополозах между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал

домой лишь на святки и летние каникулы. В том году встретило меня однако дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире,— всю ее озарило присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертвешей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваем стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил,— медленно, но говорил,— обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству,— «любезная Елена Николаевна»,— даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом — лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх,— радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете: теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она — Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил — нечто очень странное:

— Белокурый, любезная Елена Николаевна, идет или черное или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым стоячим воротником а ля Мария

Стюарт, унизанным мелкими бриллиантами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темносинего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты,— говорил он, усмехаясь.— Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше,— значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются? Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч,— простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляя себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше,— вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

— Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, померет в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть,— например, именьице в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии,— только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует и, насколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день,— очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора — на завтрак к имениннику губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату,— она брыкалась, кусала нам руки,— умоляли ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом — в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

— Это на нее так гроза подействовала,— радостно сказала она шопотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась:

— О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно — мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, — гроза уже прошла, точно он погасил ее, — в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцев над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски игриво, предостерегающе пел рожок горниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Воина на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забило сильнее, лоб стянуло — я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, — этих коротких встреч и отчаянно-долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, прищипленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, — отойти было нельзя: Лиля поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрерывного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

— Что, заснула?

Она махнула рукой:

— Ах, нет! Ты не знаешь — она может по двое суток не спать и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши...

И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову:

— Боже мой, когда же это кончится! Скажи же наконец

ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, — мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание: я взглянул через ее плечо — отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий: «Папаша просят вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

— Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург — «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищулив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом — на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

КАЧЕЛИ

В летний вечер сидел в гостиной, брэнча на фортепьяно, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел:

Не завидую богам,
Не завидую царям,
Как увижу очи томны,
Стройный стан и косы темны!

Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице:

— Это все про меня? И ария собственной композиции?

— Да!

И опять ударил и закричал:

Не завидую богам...

— Ну и слух же у вас!

— Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам!

— Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про вашего Андреева.

— Посмотрим, посмотрим!

— А дедушкин костыль?

— Дедушка хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги,— заплачет и простит...

В сумерки, перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в росистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дуя ветром, развевавшим ее подол. Он, натягивая веревки и

подавая взмах доски, делал страшные глаза, она, покраснев-
шись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно.

— Ау! А вон первая звезда и молодой месяц и небо над озером зеленое, зеленое — живописец, посмотрите, какой тонкий серпик! Месяц, месяц, золотые рога... Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя друг на друга.

— Ну что? Я говорил!

— Что говорил?

— Вы уже влюблены в меня.

— Может быть... Постойте, зовут к ужину... Ау, идем, идем!

— Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, — верно, опять мои любимые битки в сметане! — и синие глаза и прекрасное, счастливое лицо...

— Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет...

— Данте говорил о Беатриче: «В ее глазах — начало любви, а конец — в устах». И так? — сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо:

— Конец в устах?

— Да...

Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги:

— Что ж нам теперь делать? Итти к дедушке и, упав на колени, просить его благословения? Но какой же я муж?

— Нет, нет, только не это.

— А что же?

— Я не знаю. Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет.

ЧАСОВНЯ

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище,— бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...

— А зачем он сам себя застрелил?

— Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют в себя...

В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.

ПАМЯТНЫЙ БАЛ

Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти всё покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующе гремевшей с хор...

Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, — она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать, — и настолько рассеянный, что меня по минутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее — фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы, — только лоб в поту был холоден, как лед, и я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами: все было обострено во мне, я уже давно был болен любовью к ней и как-то волшебным боялся ее породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером! И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, — оказалось ровно двенадцать, — и кинулся вниз по лестнице, навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фрак, легкость и тонкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я несмотря на толпу с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-таки опоздал: она стояла,

среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в одном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белой и длинной до круглого локтя перчатке. Я от страха едва коснулся губами перчатки, она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице, я вел ее как что-то священное. Наконец зачем-то спросил пересохшими губами:

— Вы нынче танцуете?

Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко:

— Не танцую.

И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой: боясь, что потом может и не представиться удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страсовых перьев.

— Я знаю,— говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительно сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть только делая вид, что занята танцующими,— я знаю,— говорил я, уже не веря своим словам,— что я не смею ни на что надеяться... Вот вы нынче не позволили мне заехать за вами...

Тут она, все так же не глядя на меня, безразлично заметила:

— Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда.

Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей:

— Да, я ничего не жду, с меня довольно и того, что вот я стою возле вас и имею жалкое счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривал... Уж одно это,— бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пылинках пудры и с разреза губ,— уже только это одно...

Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела

и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел,— заговорила и она наконец:

— Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится,— сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером грузином.— Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале... Впрочем, он и так будет памятен мне.

Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил:

— Памятен?

Она слегка повернула ко мне голову:

— Да. Я уже не раз слышала ваши признания. Но нынче вы имели, как выразились, «жалкое счастье» высказаться наконец «полностью» относительно своих чувств ко мне. Так вот нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже «полностью» возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви! Но что может быть несноснее, нестерпимей ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так «холодна и безжалостна» к вам. Да, я влюблена — и знаете в кого? В своего столь презираемого вами супруга. Подумать только! Ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб как унтер, днюет и ноочует у какой-то распутной венгерки, а вот поди ж ты! Влюблена!

Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки с шапокляком за спину, немолодого господина, грубого и крупного, в просторном поношенном фраке, в прическе а ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожавшей руке тонкая, высокая девушка в бледно-розовом газовом платье, невнятно, мертво, закрываясь веером, выговорила: «завтра, в четыре» и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком, с самодовольной усмешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и раздельно сказал, как заправский скандалист:

— Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь.

Он удивленно поднял брови:

— Что с вами? И с кем я имею честь...

Я запальчиво перебил его:

— Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и я вызываю вас.

Он сдвинул ноги, выпрямился:

— Вы пьяны? Вы сумасшедший?

Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь, с торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз...

Вызова с его стороны, конечно, не последовало.

АЛУПКА

Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнушем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами Алупки, уже реют и дрожат чуть видные, как паутина, летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, который все вертела на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и взбегает на террасу, где доктор один полулежит на качалке в ожидании обеда: в пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты.

— Слышал? — возбужденно говорит она, входя. — В Ялту приехали артисты Малого театра! Не играть, конечно, а так... Чуть не вся труппа, Лешковская с Южиным...

— От кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дилижанс?

— Да, и встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и сказал это...

— Очень рад, только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, словно случилось нивесть что? Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, завитушки на лбу растрепаны...

— Будешь вне себя, когда в этой милой Алупке день и ночь задыхаешься от жары и духоты! Но дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотела тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут!

— А где же ты хочешь сидеть? В Ялте?

— Да, хотя бы в Ялте.

— И все потому, что туда приехали артисты Малого театра? Да ты что — из Чухломы, что ли? И почему ты вдруг

стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом Малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом!

— Ничем я не поражена, но как ты наконец не понимаешь...

— Что не понимаешь?

— То, что мне твоя Алупка и этот «семейный» пансион осточертели! В Ялте...

— В Ялте, разумеется, совсем не то! В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южиным. Какое же сравнение! Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха.

— Мы, мы! Слышать не могу этого мы! Мы ведь все-таки не сиамские близнецы, Алексей Николаевич!

Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму, чуть не с утра до вечера лежала на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь: загорелое лицо окрепло и округлилось, глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сарпинки, вся горячо пахнет этой сарпинкой и загорелым телом, обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы... Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим:

— При чем тут сиамские близнецы?

— При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь. И перееду, а ты как знаешь.

— Постой. Да ты в своем уме? Что с тобою? Внезапное острое помешательство? «Приехали артисты Малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь...»

— Разумеется, как знаешь, раз ты...

— Что я?

— Раз ты вот настолько не думаешь обо мне! Ты, за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают «идеальным»...

— Помилуй бог, какая едкая ирония!

— Да, для тебя оно, разумеется, «идеальное»! Сиди себе в кабинете да раздевай своих несчастных идиотов — вздохните — не дышите, вздохните — не дышите, а я... И вот-вот опять Мерзляковский переулочек, и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как «чудно» отдохнули «мы» летом! В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, в нынешнем будешь расписывать Алупку... Довольно с меня этих отдыхов!

— Да ты что? Сбежать от меня решила?

— Я ничего не решила, только я больше не могу! Не могу и не могу!

— Все это прекрасно, но, во-первых, надо решить, куда именно и с кем и с чем бежать, а во-вторых, все-таки не кричать на весь дом.

— Хочу и кричу! И буду кричать! Нарочно буду!

В их комнате на втором этаже, очень тесной от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучими, разохшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой, воздух горяч и неподвижен, в окно, открытое на совсем уже померкшее небо, нет ни малейшего дуновения. Вбежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат, еще не высохший, противно пахнувший теплой сыростью, и с бьющимся сердцем, зло и решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика.

21.4.49

ЛОВЧИИ

В людской избе, на большой печи, в сумраке, зиму и лето лежал Леонтий, длинный и невероятно худой, заросший седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто, один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты ряднóм черные хлеба. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил:

— Да, барчук, не всегда я так лежал, мусором голову пересыпал. Не всегда и поваром был. Я у вашего дедушки по бабушке, у Петра Алексеича Чамадунова, ловчим был, стаей правил.

— Стаей собак?

— Так точно. Не телят же! Был сперва простым доезжачим, борзых, значит, вел, а вследствие времени ловчим стал. А ведь это вам не книжку прочесть, тут даже простого русака оследить, и то надо ум иметь. Вот хоть взять охотничий подклик — тут не одно хайло нужно! Тут кураж нужен. А я, бывало, как надам: «О, гой!», так весь лес дрогнет! Оприч того был дедушка ваш охотник смертный, завятой, — ему угодить не всякий мог. Была у него заветная наложница, девка именем Малашка, — я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за нее погиб, попал под страшный сюркуп... Уж как он людей своих терзал, до чего неприступен был! А эта Малашка просто веревки из него вила, он за нежное ее притворство на все был готов. «Она мне, Леонтий, милые всех на свете!» Так прямо и говорил мне. Я ему в ответ, что не может того быть, что, мол, это вы только замысловато шутить изволите, а он мне еще тверже того: «Нет, не шучу и ты изволь слушать меня с примечанием». Ну, а я все противных мыслей был, все думал про себя: погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок! Ведь на сусле

пива не узнаешь, ведь сейчас-то она пока девчонка, а вот как станет в летá входить... Они же между тем вдаль свои мечты не простирали,— мол, когда-то еще это будет! Мы такое заведение имели, после осенних охот был у нас завсегда большой публичный стол, так что же вы думаете? — они эту девку с гостями сажали! Ну, а после Малашки нащел охоты с ума сходили, и охоту держали мы истинно знаменитую. Так собаку любить, как дедушка любили, никто во вселенной не мог. Они всякую охоту обожали,— *и ла шас о леврье и о шьен куран*,— иной раз интересовались даже и мокрой, а весной по брызгам...

— Какой мокрой?

— А всякой, значит, болотной. И каких только собак у нас не было! Были понтеры, были сеттеры, были лягавые, а борзым и гончим и счет потеряешь — их за усадьбой целый стан у нас стоял. Ну и я гончих и борзых любил — может, не меньше дедушки. Из того и холостой на век остался, не увлекался самыми первыми красавицами. Да и некогда было, круглый год только стая на уме. Да и что эти красавицы, барчук! Все, как говорится, на один и тот же вкус, подобно курице,— что черный, что белый хохол. Все эти понтеры, сеттеры, лягавые мне были не по чем, ружья я и не знал. Бывало, спросит дедушка: «Ну как, Леонтий, на твой взгляд моя новая лягавая?» Хороша, скажешь, сударь. Стоит мертво, подает отлично. Они опять изволят ко мне приставать: «Нет, ты скажи мне пожалуй хорошенько, что ты точно думаешь?» Да что ж, говорю, могу я точно думать? Не возьмите во гнев: не могу я ни понтера, ни сеттера, ни лягавую любить, из какого гнезда они ни будь.

— Как из гнезда?

— А это всегда так, сударь, говорилось: из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда собака... из какой фамилии, значит.

— А как еще говорилось?

— А мало ли как. Теперь так уж не могут говорить.

— Ну скажи что-нибудь.

— Да что ж не к делу говорить? Это подобно тому, как песню петь не кстати. Вот была, к примеру сказать, самая главная песня у нас — лучше этой песни, на мой сгад, на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени. Это была самая наша задушевная: «Выпьем, други, на кровй!» Эту песню, сударь, пели на добыче:

Выпьем, други, на кровй!

И вот уж истинно картина была: лежит на поляне взятый зверь, кровяной, гордый, уж с пленкой на глазах, с закушенным языком, а округ него целой ассамблеей охотники — вдарись в рог, и грянут все хором: «Выпьем, други, на кровй!» И вот

какое дивное дело бывало почесть всегда: как нарочно о ту пору солнце выглядывало! То все дождь сеет, а тут как раз стихнет, разойдется мгла, засинеет в небе и солнце глянет: весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз — во век не забудешь! А дедушка стоят во всем своем охотничьем наряде замечательнее всех, с чаркой в руке, а возле них — их самый главный фаворит Победим...

— Это его гончий кобель?

— Так точно-с.

— Так ведь ты как-то говорил, что Победим уж старый был?

— Что ж что старый! Прямо герой был даже и в ту пору! Он раз в одно поле...

— Это значит сразу?

— Никак нет. За один день, лучше сказать, за одно полевание. Он за этот день взял целых пятерых лобанов! Был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать, усатый, а мастью муругий, — вроде как черный, только с красниной, — лапы стойкие, в лакотках с кривизной немножко, а уж про грудь и говорить нечего: Еруслан! И весь в цапинах и хватках — волки не раз пятнали. Мы его на Бушуя у князя выменяли, молодым еще, он тогда еще не опсовел как следует, а уж видно было, что из него будет. А Бушуй, хоть и знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать...

— Как это на балалайке?

— Паршиветь с годами стал. Сядет — и ну лапой бить по бокам, по ушам!

— А что значит не опсовел?

— А это всегда так говорится про молодого кобеля, — значит, еще не стал настоящим псом. Да и про суку тоже: молода, мол, еще не опсовела. Это как про зверя говорят, про волка: прибылой, значит, молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, матерый. Если же взять, к примеру, зайца, то он бывает, во-первых, февральский, настовик...

— Почему настовик?

— По той причине, что о ту пору снег уж крепко занастел, коркой, настом покрылся, а он любит по этому насту жировать, иначе сказать, играть, петли делать. Вон лисица, та любит мышковать, мышей по полю промышлять, вроде как дворовая сучка по полю за ними мышкует, сычует, — ведь сычи и совы тоже за ними охотятся, — а заяц, он только с жиру играет, жирует. И это настовик называется, а старый русак, он голубой: он уж, значит, выцвел, серую шерстку спустил.

— Ну, хорошо, а как же это Победим в одно поле пять лобанов взял?

— А так и взял. Очень лют был. И характера самодурного,

угрюмого. Пока не разровнялась охота, идет будто скучный, равнодушный. Он от свор, от стаи всегда одиночкой ходил, беспрерывно возле дедушки, и все будто чтой-то думает, хмурится, никуда не спешит. Да и дома такой же. Бывало кричишь на-корму: «Атрыш!» — чтобы, значит, не кидались собаки не вовремя к корму, а он и не слушает — стоит отвернувшись, сам, мол, знаю время. Кричишь наконец того: «Надбруц!» — значит, разрешаешь на корыто с запаркой кинуться — он опять не спешит, подходит будто нехотя и уж тут не стой другая собака возле него близко — так рыкнет да оскалится, что дай бог ноги унести! Вот я и говорю: все, бывало, сам по себе ходил, возле дедушки. И умен до того, что только не говорит: будто и не смотрит, а всякий дедушкин взгляд видит, знает и от его стремени, пока работы нету, ни на шаг. А уж это, по охотничьим замечаниям, много значит. Так и говорится: умница собака, от стремени без дела ни на пядь.

— А еще какие у вас знаменитые кобели были?

— Гончие, то есть? Был Будило, Карай, Вопило, Пылай... Были сучки отменные, чистопсовые, все больше краснопегие: Вьюга была, Стрелка, Заира... Эта Заира воейковскую Ласку с ушей обрывала!

— Перегоняла?

— Так точно.

— А у ней шипец хорош был?

— Некстати, сударь, говорите. Слышали звон, да не знаете, где он. Шипец, а попросту говоря, пасть, это только у зверя бывает. Это как всякий хвост поленом называется, а лисий — трубой. Хвост не охотничье слово.

— А лисий след — нары́ск?

— Не нары́ск, а на́рыск,— тут надо на «на» упираться. Она рыскает, вот и выходит на́рыск.

— А где ее ждут? На лазу?

— И опять ни к чему вы говорите. Тут опять на «зу» надо упираться — на лазу! — а главное, это не лисицу, а волка ждут на лазу, там, значит, где он вылезает, да и то не всегда — мало ли где его ждут! И что ж это вы все меня сбиваете, слова не даете сказать? Вот я уж и забыл, о чем была речь.

— Ты про Победима хотел рассказать.

— Ну да, а вы все сбиваете. Вот я и говорю — приказали раз дедушка большой охоте быть. Раз говорят мне: «Знаешь, Леонтий, я даже ночь вчера не спал, упражнен будучи с самой ужины воображением насчет наших охот. Разбился в идеях, куда ж нам на полевание итить? Надоели мне наши скаредные места. Конечно, легче в безделицах упражняться, нежели в делах изрядных, одначе это не мой вкус. Будем брать поле в Верховьи». Уж очень, говорю, непролазные места, сударь. Тем

лутче, говорят, молчи и слушай мое готовое. Потом, после ужины...

— После ужина?

— Это теперь так выражаются, а мы говорили по-своему, по-старому. Ну так вот, дали после ужины повторительный приказ камердинеру, чтобы как можно скоряй кофий им нарани подали. Опочивать изволили рано, по разговорах со мной вскорости к себе ретировались, поутру же были изрядно строг, все в полслова приказывал. Чем свет опять меня зовут. Леонтий, говорят, повторяю тебе — мы нынешний год срамимся до девятой пуговицы, большой охотой все манкируем, с поля иной раз уходим, не видав ни шерстинки. Я отвечаю, что, мол, не наша в том вина, время все стояло теплое, всякая зверь хоронилась, не в рискú была...

— На «ку» надо упирать?

— Так точно. Значит, не рыскала. Ездили, говорю, раза два по белотропу...

— Это по первой пороше?

— Ах, сударь, замучили вы меня! Ну, конечно, так. Ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом таял — разве эта охота? Все перемóчки, изгарь, сырая прóхолодь... Вот теперь другое дело, и зверь уж вылез как следует...

— Откуда вылез?

— Из лесу. Это когда он позднюю осень почует и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит. Опять же, говорю, и Победим хворал, а мы все на Катая надеялись, с ним роль хотели разыграть. (Дедушка тогда только что выменяли у Рудина на Резвую этого Катая и увлекались, понятно.) Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная и с ногами, работает правильно, да разве Победиму чета?

— А какой Катая был? Чернопегий, краснопегий или полвопегий? Брудастый?

— Ишь как вы наострились, сударь! А спроси вас, какой такой полвопегий, ан и не знаете.

— Нет, знаю. Белый в желтых пятнах.

— Правильно-с. А брудастый?

— Ты это уже говорил. Усатый.

— Опять верно. А подъзудый?

— А это когда нижняя челюсть маленькая.

— В аккурат верно. А Катая был чернопегий и брудастый. Ну хорошо, только опять мы с вами с дороги сбились, надо вам досказать про Победима. Вышли в тот день дедушка на крыльцо раным-рано, огляделись — ну, говорят, с богом, на-конь! Двинулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровнялись на простор, поднялись дедушка на своем буланом на темя и приказали начинаться полю...

— На какое темя?

— Ах, царица небесная! Ну как это сказать? На возвышенное место, попросту говоря... Шли сперва по мелочам, по мелкому, значит, кустарнику, потом свалились в луга к лесу, перешиб я луга рысью и стал подвывать. Только отголосу не слышу никакого, — верно, думаю, они на добыче. Выскочила было лисица да скатилась в овраги и сразу понорилась, ушла в свое нырище, не стали мы на нее и время терять. Потом подбóзрил я русака, хлопнул арапельником — заложились за ним Стрелка с Заирой по грани, сладились...

— По грани? Это по рубежу, значит?

— По меже, по рубежу... Спят, спят...

— Настигают?

— Понятное дело. Спят за ним почесть ухо в ухо, только стал он вдруг отростать от них...

— Как это отростать?

— Уходить, сударь, уходить. Да Заира не глупей его была — наддала маленько, сбила его с грани и покати́лась вместе с ним, а тут стая и накрыла их. Дедушка кричат: «Прими!», а я уж давно принял...

— Заколот?

— Конечно, заколот, да кто ж так-то говорит? Приказная строка какая-нибудь! Да не в том дело, сударь, я все это к тому, что окромя этих пустяков ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечеру встрели охоту Рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к нему на наслег, подвалили к усадьбе...

— На ночлег?

— На наслег, сударь, на наслег. А у Рудина...

Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг становилось скучно, хотелось в сад, на пруд. Я начинал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина, и наконец под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию придти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи, в пустой избе, со своими думами о временах дедушки.

Париж. 1946

«ОСТРОВ СИРЕН»

На Капри есть «Лазурный грот», на Капри в древности жил Тиверий, а в прошлом веке Крупп, знаменитый своими пушками и некоторыми деяниями, в которых он подражал Тиверию и которые заставили его в конце концов прибегнуть к самоубийству... Вот, кажется, все, что общеизвестно о Капри.

Некоторым известно еще то, что был этот дивный остров когда-то под властью варваров, потом греков, норманнов... Историки и археологи вспомнили о нем сравнительно недавно. Они нарушили его вековую тишину, покой, начали раскопки и великое расхищение его античных ценностей. Ценности эти оказались лежащими в Каприйской земле чуть не на каждом шагу: крестьяне, в виноградниках которых то и дело находили их, все отлавали кому попало, за гроши, позволяли вывозить целыми барками. Затем — это было всего сто лет тому назад — какой-то немецкий поэт случайно открыл в скалистых обрывах северного берега Капри грот, столь волшебным образом освещаемый солнцем и волнами, проникающими в него, что Капри сразу стал известен всему миру, как «истинно обетованная страна всех живописцев и любителей Природы», непрестанное и многолюдное паломничество которых на «божественный остров» уже никогда не прекращалось с тех пор, невзирая на полную дикость острова в смысле даже малейших удобств жизни на нем и на сообщение между ним и Неаполем лишь на парусных лодках: только уже долго спустя открылась на Капри первая гостиница и соединило его с Неаполем пароходное сообщение. Сообщение это было даже и до нашей поры крайне убогое, но из года в год доставляло на Капри великое множество путешественников со всех концов света...

Чтобы представить себе Капри, надо прежде всего вообразить себя в Неаполе, среди лукоморья, полукруга огромного Неаполитанского залива, с гористыми берегами влево, с городками, белеющими вдоль их подножья, и громадой Везувия. Прямо перед Неаполем, в заливе, как бы тают в водной сини два высоких острова: Иския и Капри.

Капри «поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу» или затонувшему кораблю, как говорят другие. Байрон сравнил Капри с волной, гонимой бурей. Но, если говорить проще, это гигантская скала, торчащая из моря, дикая на вид и местами совершенно отвесная, хребет которой образует почти посередине своей глубокую седловину, давшую приют маленькому городку Капри, его оливковым садам и виноградникам. Над страшной стремниной того каприйского берега, что обращен к востоку, к материке Италии, к мысу Минервы, до сих пор сохранились следы дворца Тиверия, и обрыв этот так и называется: Монте Тиберио. А западная часть острова увенчана скалистой горой (Монте Соляро), на половине высоты которой висит другой городок, Анакапри. Что древнее — Капри или Анакапри — неизвестно. Страбон говорит, что оба эти города существовали с незапамятных времен, так что, может быть, самое название острова происходит от финикийского слова Капраим, что значит: два города.

Южный скат каприйской седловины называется Пикола Марина, северный — Марина Гранде. Пароходик, идущий из Неаполя до Капри часа два довольно быстрым ходом, пристает к последней. По мере приближения к острову, путешественник все больше поражается цветом воды: цвет этот — некое подобие яркого драгоценного камня, какого-то дивного сплава купороса и индиго. Затем видишь небольшую залив, а на его берегу каменистый рыбацкий поселок, первобытный, живописный в своей итальянской грубой старине. От этого поселка можно подняться в седловину острова, в городок Капри, двумя путями: прямо, по крутому отвесу фуникулера, или же по извилам шоссе среди виноградников. Начало этого пути проходит к тому месту, где город Капри стоял в древности, мимо византийской церковки С. Констанцо, существующей полторы тысячи лет и очаровательной своей убогой простотой, бедностью, хотя и украшенной внутри античными порфировыми колоннами. А из седловины, из улочек Капри можно любоваться сразу двумя морями: с одной стороны — Неаполитанский залив, Иския, Неаполь, с другой — открытое море, идущее вплоть до берегов Африки.

Когда подплываешь к Капри, указывают то на Монте Соляро, — там, на самой вершине, чудесно рисуются в небе развалины Замка Барбароссы («орлиное гнездо тунисского корсара,

некогда предавшего огню и мечу всю Неаполитанскую область и Капри»), — то на те места возле пристани, где стоял летний дворец Августа. А в путеводителе найдешь и кое-что из истории Капри: греки называли Капри «Остров Сирен» и учредили на нем поклонение этим милым и коварным морским существам; со времени римлян он получил другое имя, — Капрея, то есть Козий остров; Август посетил его, возвращаясь из сицилийского похода, и был так пленен им, что выменял его у неаполитанских греков на остров Искию. Смотри на Монте Соляро и на Анакапри, видишь и знаменитую «финикийскую лестницу», ведущую к Анакапри вправо от пристани: это чуть не тысяча каменных ступеней, высеченных почти отвесно в скалах (именно будто бы финикийцами, которые считаются самыми первыми владельцами острова). Теперь в Анакапри можно подняться довольно легко — по извивам шоссе до дороги. Но анакаприйцы все еще предпочитают ей свою каменную лестницу. Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственном наречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, от рода никогда не бывавшие в городке Капри.

Поднявшись от пристани на извозчике или по фуникулеру, выходишь на маленькую площадь, где стоит старинная башенка с часами и гербом испанской династии. Она стоит на самом краю площади, над глубоким обрывом, и отсюда открывается один из самых славных видов в мире, — на Неаполитанский залив, на Неаполь. Поглядев туда и повернувшись лицом к городку, пересекаешь площадь, вступаешь в узкую улочку, упирающуюся в богатый отель, когда-то построенный Круппом и подаренный им одному из своих слуг, потом идешь влево и выходишь на Виа Трагара, на дорогу, вьющуюся по южным обрывам острова. Тут сперва проходишь мимо небольшой долины, лежащей справа от тебя, за отелем, и сходящей к морю; в ней, на месте другого дворца Августа, зимнего, среди кустарников и оливковых деревьев, высится огромный остов уже давно пустующего шестисотлетнего картезианского монастыря, его древняя, крытая бурой черепицей церковь, стены келий, внутренний двор, заросший дикими розами и бурьянами. Далее все еще более дико и прекрасно: с одной стороны — блеск солнца и южного моря, с другой — южная пустыньность скал и непролазность кустарников, поднимающихся стенами в небо. Какой-нибудь мальчишка, привязавшийся к тебе на этой дороге, заученным бормотанием перечисляет ее достопримечательности: три скалистых островка, стоящих возле побережья, всем известных по Беклину, Арку Натурале, грот Митры, где

Тиверий будто бы приносил человеческие жертвы, и множество других гротов, известных чудесной разностью своих красок: в одном все кажется золотисто-желтым, в другом переливается прозрачно-зеленый свет, в третьем подводные растения озаряют стены чем-то вроде пурпурного пламени...

Тивериева дорога, идущая из городка Капри параллельно этой, только не по обрывам гор, а по вершинам, приводит к самому знаменитому месту острова, — к местожительству Тиверия. Тут все подымаешься, идешь по крутому плоскогорью, среди ферм, вилл и виноградников. Сады, цветы, кипарисы, пинии... Кое-где ступени, высеченные еще при Августе в скалистой почве, кое-где — стертые колени каменной дороги, по которой «рабы когда-то носили на носилках Тиверия»... Развалины его жилища огромны. Остров тут обрывается над морем совершенно отвесно, глубочайшей бездной. На самом обрыве — остатки маяка, который считался в древности одним из самых больших и ярких в мире и освещал мореходам путь чрезвычайно опасный, ибо это море есть довольно узкий пролив между Капри и материком. Ближе — самые развалины. Высота, пустыня, солнце, небо, шум солнечного ветра в диких травах и в развалинах. Развалины — целый лабиринт комнат и галерей. Уцелели своды и стены первого этажа и подземелья под ним. Центром дворца был перистиль, окруженный колоннадой и частными покоями цезаря, — кое-что из всего этого тоже сохранилось... Каков был при Тиверии атриум его? Мраморный потолок, в квадратных углублениях которого — бронзовые розетки, края сводов окаймлены бронзой. Стены покрыты полированной киноварью и украшены рельефами из алебастра, представляющими Крылатых Побед в легких, развевающихся туниках, с пальмовыми ветвями в руках, а равно и другими рисунками: в кругах, на синем поле — трагические и комические маски, людские страсти и заблуждения. К каменным пилястрам цвета слоновой кости и старого золота прислонены трофеи — громадные костяки допотопных животных и оружие древних, баснословных героев. Среди трофеев, на бронзовых подставках, — драгоценные коринфские вазы, которые Август всю жизнь собирал с великой любовью и вкусом. Пороги входов — из белого мрамора и блестящего египетского гранита, но завесы этих входов из грубого полотна. И вот, откинув их, входящий видел после яркого солнца легкую тень атриума, этот мраморный потолок, полированную киноварь стен, трофеи, костяки, вазы, узорчатый мозаичный пол, в глубине же — статую Августа, обожествленную атрибутами Юпитера, перед ней — полукруглый алтарь простого этрусского стиля из белоснежного мрамора, стол для приношений, покрытый белым по-

крывалом, вышитым по краям узором из листьев, бронзовый треножник для священного огня... В этих стенах, где некогда шуршали осторожные шаги рабов и царедворцев, звучали лидийские флейты и звенел смех прекрасных наложниц, нынче укрывается от дождей и бурь скот каприйских крестьян...

Светоний говорит, что в молодости Тиверий был красив, имел орлиный нос и большие глаза, которые могли будто бы видеть даже в темноте, высокий рост и крепкое сложение,— плечи и груди широкие, части всего тела соразмерные,— силу же такую, что мог щелчком пробивать темя взрослого человека; только он и в молодости был мало приветлив и приятен: ходил, склонив голову вбок, угрюмо и молча, а когда говорил, то медленно и трудно расставлял слова, помогал своей речи движением правой руки; и этому описанию Светония довольно соответствует статуя молодого Тиверия в ватиканском музее: он сидит твердо и прямо, со скипетром в руке; переносица тонка, остра, отчего глазные впадины кажутся глубокими и придают лицу выражение ястреба... В дворце на Капри сидел человек уже весьма мало похожий на этого.

Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. Х., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри,— в полном соответствии с предсказаниями звездочетов. Весь остров был в то время сплошным садом, покрыт каменным дубом, любимым деревом Августа; с уступов гор всюду сходили к морю высеченные в скалах террасы; водопроводы были проложены на арках и доставляли дождевую воду в нимфеи, украшенные мраморными и бронзовыми статуями; климат острова, его бальзамический воздух славился своим здоровьем, что на деле доказывали и еще доселе доказывают столетние каприйские старцы; сказочно было каприйское обилие всякой птицы, рыб, устриц, омаров; вина каприйские были превосходны... Выбор Тиверия остановился на Капри и по этим причинам и потому, что остров напоминал ему Грецию, больше же всего по-другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях... «Был же он весьма стар в ту пору, а в уединении, в свободе для своего великого разврата и злодейства и в неприступности самой надежной нуждался, как никто на земле...» Он был страшен в эту пору: «лицо его покрылось язвами, залеплено было пластырями; глаза глубоко провалились; губы, подбородок отяжелели; шея раздулась как бы от какого-то неведомого яда; дыхание стало тлетворно; зре-

ние и слух ослабели; речь доставляла ему теперь труд уже крайний, медлительный, упорный... и единой радостью его жизни сделалась только алчность...»

Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме,— испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Мизенском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла сняла с бесчувственного цезаря знак его божественной власти,— драгоценную гемму, перстень Диоскорида,— и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: «Где перстень?» Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо цезаря одеяло и быстро задушил его.

ТРЕТИЙ КЛАСС

Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить когда ему угодно в этом классе!

Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года.

Утро, всего восьмой час.

Но зной уже адский, он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался потоп.

Весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой ровно и крупно, слегка подавшись вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной наготой тамил.

Еду на вокзал, чтобы отправиться — ну, скажем, в Анарадхапуру.

И вот впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная, а за нею еще более ослепительное белое здание вокзала, — оно почти страшно своей белизной на белесом от зноя небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени черное тело и длинные черные волосы тамила режут глаз.

В здании вокзала легче, всюду веет теплый сквозняк.

Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, и спешу к выходу на платформу.

Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами над окнами, поезд уже готов.

Спешу к будочке кассира, вынимаю на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд до Анарадхапуры в третьем классе, и стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином:

— Third class, Anaradhapura! Третий класс, Анарадхапура!

— First class? Первый класс? — спрашивает англичанин.

— No, third class! — кричу я.

— Yes, first class! — кричит англичанин, выкидывая мне билет первого класса.

И тогда я прихожу в ярость и начинаю кричать приблизительно так:

— Слушайте, мне это осточертело! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее жизнь, всех ее обитателей, вплоть до самых «презренных», как вы любите выражаться о цветных людях, которые, конечно, не могут да и не смеют ездить в первых классах. Но всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром! Я твердо и ясно требую третий класс... Однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз перебивают, дурачат: «Вы хотите сказать, первый класс?» Я кричу: да нет, третий! Но мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад — и тогда кассир, вне себя от негодования и удивления, что белый человек одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с цветным, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми, которых я могу набраться от цветных, главное же, наставляет меня в том, что никто, решительно никто из белых не ездит здесь в третьем классе, что это не принято, неприлично, возмутительно!

И я твердо заключаю:

— Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую!

В конце концов кассир сдается: пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет и вдруг решительно швыряет мне билет третьего класса.

Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и жду спутников, этих самых «презренных» цветных.

Но что за чорт — их нет и нет!

По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног.

Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то?

А, понимаю: это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека!

И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду — снова напрасно.

«Теперь-то почему же никого нет? — думаю я.— Ведь теперь они меня не видят?»

И я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело, — и дело объясняется тотчас же и очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно — занято! Едва я успел войти в него, как на нем написали: занято! Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе — сиди, идиот.

И несется, несется поезд в бездне ослепительного зноя,

льющегося с неба на эту радостную, райскую землю, и четко отдается татаканье колес от цветущих лесных дебрей, без конца летящих назад, мимо окон.

— Курумба-а! — горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе.

И на одной из следующих остановок я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и стоящими, черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны мокрыми от пота тряпицами.

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.

Пароход перегружен людьми и кладью,— палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое — Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...

Жаркое солнце, синее небо, море лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедек, с бранью, с криками капитанских помощников: майна! вй-ра! — и опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компани, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на нарах под навесами и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и приятная, то теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды, — вполне дикий народ, — с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий рукав и плывя в расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе-независимая женщина в красной кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидал, что по трапу поднимается целая

новая ватага оборванных и вооруженных курдов — свита идущего впереди старика, большого и широкого в кости, в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плившие с нами и лежавшие в одном месте палубы целым стадом, все поднялись и очистили свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

— С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

— Дальше, господин. Мы курды.

— Куда же поплывешь?

Он ответил скромно, но гордо:

— В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

— Це, це, це! — с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишневая дамаская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговицы сбоку лакированные ботинки. — Такой старый и один остался! — сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

— Какой глупый, — ответил он просто. — Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

— Какую обезьяну?

— Ну так послушай. Бог сотворил небо и землю, знаешь?

— Ну, знаю.

— Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете, — хорошо будешь жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! — Слышишь? — спросил старик с усмешкой.

— Слышу, — ответил красавец.

— Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни. — А мне прибавь пятна-

дцать,— сказал человек богу,— пожалуйста прибавь от его доли! — И так бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни.— Правда, человеку хорошо вышло? — спросил старик, взглянув на красавца.

— Неплохо вышло,— ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.

— Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завывала: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек просить бога: прибавь мне и эту половину! И опять бог ему прибавил.— Сколько лет теперь стало у человека?

— Шестьдесят стало,— сказал красавец веселее.

— Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень не хороша лицом будет,— знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут,— и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:

— Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

— И она отказалась,— сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна.— И человек выпросил себе и эту половину,— сказал он, снова ложась и затыкаясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

— Человек свои собственные тридцать лет прожил по-человечьи — ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет,— насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

— А с тобой отчего ж этого нету? — спросил красавец.

— Со мной нету.

— Почему же такое?

— Таких, как я, мало,— сказал старик твердо.— Не был я ишаком, не был собакой,— за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

ВОЗВРАЩАЯСЬ В РИМ

Он умер близ Ницеи, возвращаясь из Галлии в Рим.

Ожидали, что новая война будет долгая, трудная и, быть может, роковая для него: судьба была милостива к нему неизменно, но это был уже девятый поход в его жизни, а цифре девять приписывали недобрый знак. Все же война опять оказалась счастливой, даже еще более счастливой и короткой, чем все предыдущие: враг был поражен ударами столь меткими, что изумлена была, при всей своей вере в звезду своего вождя, сама победоносная армия: и прежде один вид его, при каждом его появлении перед нею, потрясал ее восторгом; теперь же, когда, на прощальных смотрах в Галлии, медленно двигалось вдоль воинских рядов грозное великолепие золотого Орла и шел под сенью его этот всегда тихий и печальный человек с землистым, плохо бритым лицом, люди смертельно бледнели, чувствовали себя как бы на краю пропасти, а затем разражались такими страстными кликами, точно их охватывало беснование.

Кончив войну, он совершил с государственными целями путешествие по Испании: необыкновенная неутомимость сочеталась с его телесной немощью. И путешествие это тоже было вполне благополучное и плодотворное. Поздней осенью, с небольшим отрядом и несколькими приближенными, он возвращался в Рим. Стояли прохладные, светлые дни. Шли берегом моря. Как всегда, он был молчалив и бесстрастен, лицом сер и худ. Все же здоровье его никому не внушало опасений во время этого мирного странствия вдоль синих заливов и багряных прибрежий. Но вот, за один переход до Ницеи, он внезапно лишился голоса, почувствовал такую потерю сил, что поспешили остановиться на первой встречной вилле.

Она вполне приличествовала случаю. Это был знаменитый Очаг, известный всему Риму, благодаря славному имени его хозяина и своей благородной красоте. Безлюдный мыс далеко

вдавался в море. Его сплошь покрывала серебристая зелень низкорослого соснового леса. Дом же, стоявший в этом лесу, был обширен и прост, белел мрамором стен, блистал тонким стеклом больших окон, окружен был цветниками, огненными дальями. За отъездом хозяина, вилла была пуста, и неожиданных гостей встретил только управляющий. Учтиво попросили приюта у него.

Вскоре, приняв ванну и подкрепляющее питье, он остался один. Ложе его стояло так, что с одной стороны был перед ним вид на море, поднимающееся за круглыми сосновыми верхушками, а с другой на Ницейский залив и туманно-далекую бледность Альп, безжизненно встававших к небу своими снегами, подобно великим гробницам. Вечерело, холодно туманилось. В пустынном просторе дремотно волнующегося моря была безнадежность, бесцельность, печальная загадочность. Белые гребни волн мерно возникали, падали. Верхушки сосен, чистых и холодных, ясно видных сквозь стекла, туго и звонко шумели. Два светильника ровно дрожали возле ложа сургучным пламенем. И под это дрожание и звенящий хвойный шум он впал в глубокий сон. Когда же очнулся, была уже черная ночь. Море шумело в ее тишине слышней и торжественнее, как бы приблизившись. Светильники текли и блистали; их языки, теперь золотые, ясные, с лазурным основанием, дрожая тянулись вверх. И, приподнявшись, прислонясь к изголовью, он остановил свой взгляд на стеклах, черневших перед ним. Море шумело все ближе, явственней, и с ним мешался все усиливающийся хвойный шум. Он созерцал и слушал эту черную ночную стихию, окружавшую его. Он понял, что час его близок. Сделав усилие, он сел еще немного выше и, взяв с ночного столика все, что нужно для писания, стал медленно, но твердо писать.

Он писал до рассвета. Он сделал последние государственные распоряжения и выразил некоторые из своих предсмертных мыслей. Он сказал так: имя мое переживет меня, люди будут поклоняться моим золотым и мраморным изображениям, может быть, еще много веков, ибо в человеке великом или хотя бы облеченном величием, мы чтим сосредоточенность тех высоких сил, что заключены в некоторой мере в каждом из нас. Он сказал, что Сократ, призывая человека к познанию «самого себя», имел в виду не познание особенностей, пороков или добродетелей, заключенных в человеке, но искание и пробуждение в себе того «божественного», что есть истинная суть человека. Когда же стало белеть за окнами, пожелтели огни светильников и сплошной белизною окружила дом утренняя мгла, шедшая с утихающего моря, он лег и покрыл лицо своим походным плащом, отдавшись участи всех смертных.

БЕРНАР

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, — только чувствовалось, что они покрыты снегом, — доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселе-ла, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнувший бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, — где-то звонили, звучал Angelus... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще

спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира,— жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. Je crois bien que j'étais un bon marin.

Он сказал это умирая,— это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— Je crois bien que j'étais un bon marin.

— А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? «Ныне отпускаеши, владыко, раба твоего, и вот я

осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

1952

СТИХОТВОРЕНИЯ

1917—1952

УКОРЫ

Море с голой степью говорило:
— «Это ты меня солончаками
И полынью горькой отравила,
Жарко дую жесткими песками!

Я ли не господняя криница?
Да не пьет ни дикий зверь, ни птица
Из волны моей солено-жгучей,
Где остался твой песок летучий!»

Отвечает степь морской пустыне:
— «Не по мне ли, море, ты ходило,
Не по мне ли, в кипени и сини,
За волной волну свою катило?

Я ли виновата, что осталась,
В час, когда со мной ты расставалось,
Белой солью кипень снеговая,
Голубой полынью синь живая?»

11.8.17

ЗМЕЯ

Зашелестела тонкая трава,
Струею темной набежала —
И вдруг взвилась и смотрит цифра 2,
Как волосок, трепещет жало...

Исчадие, проклятое в раю,
Какое наслаждение расплющить!

Головку копьевидную твою,
Твой лик раскосый и зовущий!

25.8.17

* * *

Вот знакомый погост у цветной Средиземной волн,
Черный ряд кипарисов в квадрате высокой стены,
Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом,
Зимний холод мистралья, пригретый весенним теплом,
Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за стеной,
И небес гиацинт в снеговых облаках надо мной.

29.8.17

* * *

Вид на залив из садика таверны.
В простом вине, что взял я на обед,
Есть странный вкус — вкус виноградно-серный —
И розоватый цвет.

Пью под дождем, — весна здесь прихотлива,
Миндаль цветет на Капри в холода, —
И смутно в синеватой мгле залива
Далекие белеют города.

10.9.17

* * *

Роняя снег, проходят тучи,
И солнце резко золотит
Умбрийских гор нагие кручи,
Сухой кустарник и гранит.

И часто в тучах за горами
Обрывки радуги цветут —
Святые нимбы над главами
Анахоретов, живших тут.

12.9.17.

ВОСПОМИНАНИЕ

Золотыми цветут остриями
У кровати полночные свечи.
За открытым окном, в черной яме,
Шепчет сад беспокойные речи.

Эта тьма, дождевая, сырая,
Веет в горницу свежим дыханьем —
И цветы, золотясь, вырастая,
На лазурном дрожат основаньи.

Засыпаю в постели прохладной,
Очарован их дрожью растущей,
Молодой, беззаботный, с отрадной
Думой-песней о песне грядущей.

19.9.17

СВЕТ НЕЗАКАТНЫЙ

Там, в полях, на погосте,
В роще старых берез,
Не могилы, не кости —
Царство радостных грез.
Летний ветер мотает
Зелень длинных ветвей —
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятые —
Предо мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, бывшего
Нет давно и меня!

24.9.17

* * *

Стали дымом, стали выше
Облака,— лазурь сквозит
И на шиферные крыши
Голубой водой скользит.

Что с того, что крыши стары
И весенний воздух сыр!
Даже запахом сигары
Снова сладок божий мир.

27.9.17

* * *

Ранний, чуть видный рассвет,
Сердце шестнадцати лет.

Снова дремотная мгла
Липовым цветом тепла.

Тих и таинственен дом
С крайним заветным окном.

Штора в окне, а за ней
Солнце вселенной моей.

27.9.17

* * *

Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дня
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капли,
Бледна была твоя щека
И как цветы глаза синели.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,

Но был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

28.9.17

* * *

Белые круглятся облака,
Небо в них сгущается, чернея...
Как весной стройна и высока
В этом небе мраморном аллея!

Серый ствол на солнце позлащен,
А вершины встали сизым дымом...
Помню, помню: жаркий день под Римом,
Мраморный апрельский небосклон...

29.9.17.

* * *

Сорвался вихрь, промчал из края в край
По рощам палым кипящий ливень дымом —
И снова солнце в блеске нестерпимом
Ударило на зелень мокрых вай.

И туча, против солнца смоляная,
Над рощами вздвигалась как стена,
И радуга горит над ней цветная,
Как вход в Эдем роскошна и страшна.

1.10.17

* * *

Осенний день. Степь, балка и корыто.
Рогатый вол, большой соловый бык,
Скользнув в грязи и раздвоив копыто,
К воде ноздрями влажными приник.

Сосет и смотрит светлыми глазами,
Закинув хвост на свой костлявый зад,
Как вдоль бугра, в пустой небесный скат,
Бредут хохлы за тяжкими возами.

1.10.17

* * *

Щеглы, их звон, стеклянный, неживой,
И клен над облетевшею листвою,
На пустоте лазоревой и чистой,
Уже весь голый, легкий и ветвистый...
О, мука мук! Что надо мне, ему,
Щеглам, листве? И разве я пойму,
Зачем я должен радость этой муки,
Вот этот небосклон и этот звон
И темный смысл, которым полон он,
Вместить в созвучия и звуки?
Я должен взять — и, разгадав, отдать,
Мне кто-то должен сострадать,
Что прогревает солнце низким светом
Меня в саду, просторном и раздетом,
Что озаряет желтая листва
Ветвистый клен, что я едва-едва,
Бродя в восторге по саду пустому,
Мою тоску даю понять другому...
— Беру большой зубчатый лист с тугим
Пурпурным стеблем,— пусть в моей тетради
Останется хоть память вместе с ним
Об этом светлом вертограде
С травой, хрустящей белым серебром,
О пустоте, сияющей над кленом
Безжизненно-лазоревым шатром,
И о щеглах с хрустально-мертвым звоном!

3.10.17

* * *

Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я,—
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,
В алом парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.

Будущим поэтам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным,— призраком чудесным
В этом парке алом, в этой тишине.

10.10.17

* * *

Как в апреле по ночам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым
И все легче, ближе и виднее
Побледневший небосклон за ним.

Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этих листьев под ногами шорох,
Эта грусть — все то же, что весной.

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду.

10.10.17

* * *

На даче тихо, ночь темна,
Туманны звезды голубые,
Вдыхая, ширится волна,
Цветы качаются слепые —

И часто с ветром, до скамьи,
Как некий дух в эфирной плоти,
Доходят свежие струи
Волны, вздымающей в дремоте.

13.9.18

* * *

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

25.6.22

СИРИУС

Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?

Где молодость, простая, чистая,
В кругу любимом и родном,
И старый дом и ель смолистая
В сугробах белых под окном?

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

22.8.22

* * *

Мечты любви моей весенней,
Мечты на утре дней моих,
Толпились как стада оленей
У заповедных вод речных:

Малейший звук в зеленой чаще —
И вся их чуткая краса,
Весь сонм блаженный и дрожащий
Уж мчался молнией в леса!

26.8.22

ВЕНЕЦИЯ

Колоколов средневековый
Певучий зов, печаль времен,
И счастье жизни вечно новой,
И о былом счастливый сон.

И чья-то кротость, всепрощенье
И утешенье: все пройдет!
И золотые отраженья
Дворцов в лазурном глянце вод.

И дымка млечного опала,
И солнце, смешанное с ним,
И встречный взор, и опахало,
И ожерелье из коралла
Под катафалком водяным.

28.8.22

* * *

В гелиотроповом свете молний летучих
На небесах раскрывались дымные тучи,
На косогоре далеко — призрак дубравы,
В мокром лугу перед домом — белые травы.

Молнии мраком топило, с грохотом грома
Ливень свергался на крышу полночного дома —
И металлически страшно, в дикой печали,
Гуси из мрака кричали.

30.8.22

ПАНТЕРА

Черна, как копь, где солнце, где алмаз.
Брезгливый взгляд полужакрытых глаз
Томится, пьян, мерцает то угрозой,
То роковой и неотступной грезой.

Томят, пьянят короткие круги,
Размеренно-неслышные шаги,—
Вот в царственном презрении ложится
И вновь в себя, в свой жаркий сон глядится.

Сощуривши, глаза отводит прочь,
Как бы сплит их этот сон и ночь,
Где черных копей знойное горнило,
Где жгучих солнц алмазная могила.

9.9.22

ВСТРЕЧА

Ты на плече, рукою обнаженной,
От зноя темной и худой,
Несешь кувшин из глины обожженной,
Наполненный тяжелою водой.

С нагих холмов, где стелются сухие
Седые злаки и полынь,
Глядишь в простор пустынной Кумании,
В морскую вечернюю синь.
Все та же ты, как в сказочные годы!
Все те же губы, тот же взгляд,
Исполненный и рабства и свободы,
Умерший на земле уже стократ.
Все тот же зной и дикий запах лука
В телесном запахе твоём,
И та же мучит сладостная мука,—
Бесплодное томление о нём.
Через века найду в пустой могиле
Твой крест серебряный, и вновь,
Вновь оживет мечта о древней были,
Моя неутоленная любовь,
И будет вновь в морской вечерней сини,
В ее задумчивой дали,
Все тот же зов, печаль времен, пустыни
И красота полуденной земли.

12.10.22

* * *

Льет без конца. В лесу туман.
Качают елки головою:
«Ах, боже мой!» — Лес точно пьян,
Пресыщен влагой дождевою.

В сторожке темной у окна
Сидит и ложкой бьет ребенок.
Мать на печи,— все спит она,
В сырых сенях мычит теленок.

В сторожке грусть, мушиный гуд...
— Зачем в лесу звенит овсянка,
Грибы растут, цветы цветут
И травы яркие, как медянка?

— Зачем под мерный шум дождя,
Томясь всем миром и сторожкой,
Большеголовое дитя
Долбит о подоконник ложкой?

Мычит теленок, как немой,
И клонят горестные елки
Свои зеленые иголки:
«Ах, боже мой! Ах, боже мой!»

10.5.23

* * *

Уж как на море, на море,
На синем камени,
Нагая краса сидит,
Босые ноги в волне студит,
Зазывает с пути корабельщиков:
— «Корабельщики, корабельщики!
Что вы по свету ходите,
Понапрасну ищите
Самоцветного яхонта-жемчуга?
Есть одна жемчужина —
Моя нагая краса,
Уста жаркие,
Груди холодные,
Ноги легкие,
Лядвии тяжелые!
Есть одна утеха не посылая —
На руке моей спать-почивать,
Слушать песни мои унывные!»
Корабельщики плывут, не слушают,
А на сердце тоска-печаль,
На глазах слезы горячие.
Ту тоску не заспать, не забыть
Ни в пути, ни в пристани,
Не отдумать до-веку.

10.5.23

ДОЧЬ

Все снится: дочь есть у меня,
И вот я, с нежностью, с тоской,
Дождался радостного дня,
Когда ее к венцу убрали,
И сам, неловкою рукой,
Поправил газ ее вуали.

Глядеть на чистое чело,
На робкий блеск невинных глаз
Не по себе мне, тяжело,
Но все ж бледнею я от счастья,
Крестя ее в последний час
На это женское причастье.

Что снится мне потом? Потом
Она уж с *ним*, — как страшен он! —
Потом мой опустевший дом —
И чувством молодости странной,
Как будто после похорон,
Кончается мой сон туманный.

7.6.23

* * *

Одно лишь небо, светлое, ночное,
Да ясный круг луны
Глядит всю ночь в отверстие пустое,
В руину сей стены.

Свежо тут дует ветер из простора
Сарматских диких мест
И буйный шум, подобный шуму бора,
Всю ночь стоит окрест:

То Понт кипит, в песках могилы роет,
Ярится при луне —
И волосы утопленников моет,
Блача их по волне.

10.6.23

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

* * *

Звезда, воспламеняющая твердь,
Внезапно, на единое мгновенье,
Звезда летит, в свою не веря смерть,
В свое последнее паденье.

А ты, луна, свершаешь путь земной,
Теряя блеск с минуты на минуту,
И мертвецом уходишь в край иной,
Испив по капле смертную цикуту!

* * *

Земной, чужой душе закат!
В зеленом небе алым дымом
Туманы легкие летят
Над молчаливым зимним Крымом.

Чужой, тяжелый Чатырдаг!
Звезда мелькает золотая
В зеленом небе, в облаках,—
Кому горит она, блистая?

Она горит душе моей,
Она зовет,— я это знаю
С первоначальных детских дней,—
К иной стране, к родному краю!

* * *

Луна над шумною Курою
И над огнями за Курой.
Тифлис под лунною чадрою,
Но дышит знойною жарой.

Тифлис не спит, счастливый, праздный,—
Смех, говор, музыка в садах,
И чуть мерцает блеск алмазный
На еле видимых хребтах.

Уйдя в туман, на север дальний,
Громадами снегов и льдин,
Они все строже, все печальней
Глядят на лунный блеск долин.

* * *

Гор сиреневых кручи встают,
Гаснет сумерек алых сиянье,
В тихом море сирены поют,
В море счастье, покой и молчанье.

В мире только старик рыболов,
Да сиреневый остров Капрея,
Да заморская синь облаков,
Где закат потухает, алея.

* * *

Ночь и алые зарницы.
Вот опять:
Блеск — и черной плащаницы
Ширь и гладь.

Поминутно камни, скалы,
Их отвес
Озаряет быстрый, алый
Свет небес,

Озаряет он, алмазный,
На морском
Побережье, вал, кипящий
Молоком.

Озаряет, краткий, зыбкий,
Лица нам
И неловкие улыбки
Наших дам.

А над легкой, своенравной
Сей игрой
Дьявол катит гул державный
За горой.

ОТРЫВОК

Старик с серьгой, морщинистый и бритый,
Из красной шерсти вязаный берет,
Шлыком висящий на ухо сто лет,
Опорки, точно старые копыта,
Рост полтора аршина, гнутый стан,
Взгляд исподлобья, зоркий и лукавый,—
Мила мне глушь сицилиан,
Патриархальные их нравы.

Вот темный вечер, буря, дождь, а он
Бредет один, с холодным ветром споря,
На дальний мол, под хмурый небосклон,
К необозримой черни моря.
Слежу за ним, и странная тоска
Томит меня: я мучаюсь мечтами,
Я думаю о прошлом старика,
О хижине под этими хребтами,
В скалистой древней гавани, куда
Я занесен, быть может, навсегда...

РАЗЛУКА

Бледна приморская страна,
Луною озаренная.
Низка луна, ярка волна,
По гребням позлащенная.

Волна дробится вдалеке
Чеканною кольчугою.
Моряк печальный на песке
Сидит с своей подругою.

Часы, последние для них! —
Все ярче дюны светятся.
Они невеста и жених,
А вновь когда-то встретятся?

Полночная луна глядит
И думает со скукою:
«В который раз он тут сидит,
Целуясь пред разлукою?»

И впрямь: идут, бегут века,
Сменяют поколения —
Моряк сидит! В глазах тоска,
Блаженное мучение...

СТЕПЬ

Сомкнулась степь синеющим кольцом
И нет конца ее цветущей нови.
Вот впереди старуха на корове,
Скуластая и желтая лицом.

Равняемся. Халат на вате, шапка
С собачьим острым верхом, сапоги..
— Как неуклюж кривой постав ноги,
Как ты стара и узкоглаза, бабка!

— «Хозяин, я не бабка, я старик,
Я с виду дряхл от скуки и печали,
Я узкоглаз затем, что я привык
Смотреть в обманчивые дали».

* * *

Высокий белый зал, где черная рояль
Дневной холодный свет, блистая, отражает,
Княжна то жалобой, то громом оглашает,
Ломая туфелькой педаль.

Сестра стоит в диванной полукруглой,
Глядит с улыбкою насмешливо-живой,

Как пишет лицеист с кудрявой головой
И с краской на лице, горячею и смуглой.

Глаза княжны не сходят с бурных нот,
Но, что гремит рояль, — она давно не слышит, —
Весь мир в одном: «Он ей в альбомы пишет!» —
И жалко искривлен дрожащий, сжатый рот.

* * *

Лик прекрасный и бескровный,
Смоляная борода,
Взор архангельский, церковный,
Вязь тюрбана в три ряда.

Плечи круты и покаты,
Вышит золотом халат, —
Точно старые дукаты
На шелку его лежат.

Шалью, ярко расцвеченной,
Подпоясан ладный стан,
На ноге сухой, точеной
Малахитовый сафьян.

Наклоняясь вместе с баркой,
На корме сидит весь день.
А жена в каюте жаркой
С черной нянькой делит лень.

Он глядит на белый парус
Да читает суры вслух,
А жена сквозь тонкий гарус
С потных губ сдувает мух.

ГАЗЕЛЛА

Холодный ветер дует с Мензалэ,
Огнистым морем блещет Мензалэ,

От двери бедной хижины моей
Смотрю в мираж зеркальный Мензалэ,

На пальмы за чертой его зыбей,
Туда, где с небом слито Мензалэ.

Ах, сколько стран неведомых за ней,
За пламенную гладью Мензалэ!

Сижу один, тоскуя, у дверей,
В зеркально-красном свете Мензалэ.

НОЧНОЙ ПУТЬ

Стой со сжатыми скулами:
Как чугун, тяжелы,
Ходят жадно акулами
Под тобою валы.

Правь рукою железною:
Из-за шатких снастей
Небо высится звездное
В грозной славе своей.

БРЕД

Стоит, трепещет Стрекоза
В палящем мраке надо мною,
Стоцветной бисерной росой
Кипят несметные глаза
В ее головке раздвоенной,
В короне млечно-голубой —
И шепчет, шепчет сон бессонный
Во тьме палящей и слепой.

* * *

К вечеру море шумней и мутней,
Парус и дальше и дымней,

Няньки по дачам разносят детей,
Ветер с Финляндии, зимний.

К морю иду — все песок да кусты,
Сосенник сине-зеленый,
С елок холодных срываю кресты,
Иглы из хвои вошеной.

Вот и скамья и соломенный зонт,
Дальше обрыв — и туманный,
Мглисто-багровый морской горизонт,
Запад зловещий и странный.

А над обрывом все тот же гамак
С томной, капризной девицей,
Стул полотняный и с книжкой чудака,
Гнутый, в пенсне, бледнолицый.

Дремлет, качается в сетке она,
Он ей читает Бальмонта...
Запад темнеет и свищет сосна,
Тучи плывут с горизонта..

11.9.15

В ЦИРКЕ

С застывшими в блеске зрачками,
В лазурной пустой вышине,
Упруго, качаясь, толчками
Скользила она по струне.

И скрипка таинственно пела,
И тысячи взоров впились
Туда, где мерцала, шипела
Пустая лазурная высь,

Где некая сжатая сила
Струну колебала, свистя,
Где тихо над бездной скользила
Наяда, лунатик, дитя.

28.6.16

СПУТНИЦА

Шелковой юбкой шурша,
Четко стуча каблучками,
Ты выбегаешь дышать
Утром, морскими парами:

Мать еще спит, ты одна...
Палубу моют, смолою,
Темная, пахнет она,
Море — соленою мглою.

Мглистая свежесть кругом
Смешана с золотом жарким
Раннего солнца, с теплом,
С морем цветистым и ярким.

Только что вымытых рук
Крепко и нежно пожатье,
В радостном взгляде — испуг
За башмаки и за платье:

С шваброй разутый матрос
Лезет, не выспавшись, чортом...
Льется, горит купорос,
Сине-лиловый, за бортом...

Ах, но на сердце тоска!
Скоро Афины и скоро
Только кивнешь ты слегка
С полуопущенным взором!

28.6.16

* * *

Вот он снова, этот белый
Город турок и болгар,
Небо синее, мечети,
Черепица крыш, базар,
Фески, зелень и бараны
На крюках без головы,
В черных пятнах под засохшим
Серебром нагой плевы...

Вот опять трактир знакомый,
Стол без скатерти, прибор
И судок, где перец с солью,
Много крошек, всякий сор...
Я сажусь за стол, как дома,
И засученной рукой,
Волосатою и смуглой,
Подает графин с водой
И тарелку кашкавала
Пожилой хозяин, грек,
Очень черный и серьезный,
Очень храбрый человек...

9.8.16

ЛАНДЫШ

В голых рощах веял холод...
Ты светился меж сухих,
Мертвых листьев... Я был молод,
Я слагал свой первый стих —

И навек сроднился с чистой
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

19.9.17

* * *

Огонь, качаемый волной
В просторе темном океана...
Что мне до звездного тумана,
До млечной бездны надо мной!

Огонь, по прихоти волны
Вдали качаемый, печальный...
Что мне до неба, до хрустальной,
Огнями полной вышины!

24.9.18

МИХАИЛ

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,
Светился на двери косою —
И снова народу являлся,
Большой, по колена босою.

Ребенок, я думал о боге,
А видел лишь кудри до плеч,
Да крупные бурые ноги,
Да римские латы и меч...

Дух гнева, возмездия, кары!
Я помню тебя, Михаил,
И храм этот, темный и старый,
Где ты мое сердце пленил!

3.9.19

КАНАРЕЙКА

На родине она зеленая...

Брэм.

Канарейку из-за моря
Привезли, и вот она
Золотая стала с горя,
Тесной клеткой пленена.

Птицей вольной, изумрудной
Уж не будешь, — как ни пой
Про далекий остров чудный
Над трактирную толпой!

10.5.21.

ГАДАНЬЕ

Гадать? Ну что же, я послушна,
Давай очки, подвинь огонь.
— Ах, как нежна и простодушна
Твоя открытая ладонь!

Но ты потупилась, смущаясь?
В лице румянца ни следа,
В ресницах слезы? — Не беда:
Бледнеют розы, раскрываясь.

ПОЭТЕССА

Большая муфта, бледная щека,
Прижатая к ней томно и любовно;
Углом колени, узкая рука...
Нервна, притворна и бескровна.

Все принца ждет, которого все нет,
Глядит с мольбою, горестно и смутно:
— «Пучков, прочтите новый триолет...»
Скучна, бесполо и распутна.

ВОСХОД ЛУНЫ

В чаше шорох потаенный,
Дуновение тепла.
Тополь, сверху озаренный,
Перед домом вознесенный,
Весь из жидкого стекла.

В чашу темную глядится
Круг зеркально-золотой.
Тополь льется, серебрится,
Весь трепещет и струится
Стекловидною водой.

* * *

В пустом, сквозном чертоге сада
Иду, шумя сухой листвою:
Какая странная отрада
Былое попирать ногой!

Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать!
Какая боль и грусть — в надежде
Еще одну весну узнать!

ЭЛЛАДА

Меж островов Архипелага
Есть славный остров. Он пустой.
В нем есть подобье саркофага.
Сиял рассвет. Туман с водой
Мешался в бездны голубые,
Когда увидел я впервые
В тумане, в ладане густом,
Его алевшую громаду,—
В гробу почившую Элладу,—
На небе ясно-золотом.
Из-за нее, в горячем блеске,
Уже сиял лучистый бог,
И нищий эллин в грязной феске
Спал на корме у наших ног.

ГОЛУБЬ

Белый голубь летит через море,
Через сине-зеленое море,
Белый голубь Киприды завидел,
Что стоишь ты на жарком песке,
И кипит белоснежная пена
По твоим загорелым ногам,
Он пернатой стрелою несется
Из-за волн, где грядой голубою
Тают в солнечной мгле острова;
Долетев, упадает в восторге
На тугие холодные груди,
Орошенные пылью морской,
Трепеща, он уста твои ищет,
А горячее солнце выходит
Из прозрачного облака, зноем,
Точно маслом, тебя обливает —
И Киприда с божественным смехом
Обнимает тебя выше бедр.

РАБЫНЯ

Странно создан человек!
Оттого, что ты рабыня,
Оттого, что ты без страха
Отскочила от поэта
И со смехом диск зеркальный
Поднесла к его морщинам,—
С вящей жаждой вождельня
Смотрит он, как ты прижалась,
Вся вперед подавшись, в угол,
Как под желтым шелком остро
Встали маленькие груди,
Как сияет смуглый локоть,
Как смолисто пали кудри
Вдоль ливийского лица,
На котором черным солнцем
Светят радостно и знойно
Африканские глаза.

ГРОТ

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала
Подножие скалы,— качался водный сплав,
Горбами шел к скале,— волна росла, сосала
Ее кровавый мох, медлительно вползала
 В отверстие грота, как удав,—
И вдруг темнел, переполнялся бурным,
 Гремящим шумом звучный грот
И вспыхивал таким лазурным
Огнем его скалистый свод,
 Что с криком ужаса и смехом
 Кидался в сумрак дальних вод,
Будя орган пещер тысячекратным эхом,
 Наяд пугливый хоровод.

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, завистливых и злых...

Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА

Смотрит луна на поляны лесные
И на руины собора сквозные.
В мертвом аббатстве два желтых скелета
Бродят в неподвижности лунного света:
Дама и рыцарь, склонившийся к даме
(Череп безносый и череп безглазый):
«Это сближает нас — то, что мы с вами
Оба скончались от Черной Заразы.
Я из десятого века, — решаюсь
Полюбопытствовать: вы из какого?»
И отвечает она, оскалаясь:
«Ах, как вы молоды! Я из шестого».

1947

NEL MEZZO DEL CAMIN DI NOSTRA VITA¹

Дни близ Неаполя в апреле,
Когда так холоден и сыр,
Так сладок сердцу божий мир...
Сады в долинах розовели,
В них голубой стоял туман,
Селенья черные молчали,
Ракиты серые торчали,
Вдыхая в полусне дурман
Земли разрытой и навоза...
Таилась хмурая угроза
В дымящемся густом руне,
Каким в горах спускались тучи
На их синеющие кручи...
Дни, вечно памятные мне!

1947

¹ Земную жизнь пройдя до половины (*итал.*).

НОЧЬ

Ледяная ночь, мистраль,
(Он еще не стих).
Вижу в окнах блеск и даль
Гор, холмов нагих.
Золотой недвижимый свет
До постели лег.
Никого в подлунной нет,
Только я да бог.
Знает только он мою
Мертвую печаль,
Ту, что я от всех таю...
Холод, блеск, мистраль.

1952

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1921—1952

Темир-Аксак-Хан (стр. 5).— Напечатано в книге «Роза Иерихона», книгоиздательство «Слово», Берлин, 1924. Рассказ вошел в восьмой том собрания сочинений, издательство «Петрополис», 1935, и в книгу «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона», издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1953. Печатается в последней редакции.

Далекое (стр. 8).— Напечатано в книге «Роза Иерихона».

Печатается по восьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями И. А. Бунина. Этот том редактировался им для нового издания 23 августа 1947 года и в марте 1951 года.

В ночном море (стр. 15).— Напечатано в книге «Роза Иерихона». Рассказ вошел в восьмой том собрания сочинений, издательство «Петрополис», и в книгу «Митина любовь.— Солнечный удар», издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1953. Дата в издании «Петрополис»: 18.7.23.

Печатается в последней редакции.

Огонь пожирающий (стр. 22).— Напечатано в книге «Роза Иерихона».

Печатается по восьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями Бунина.

Митина любовь (стр. 28).— Напечатано в книге под одноименным названием, вышедшей в 1925 году в Париже. В том же году повесть была переиздана ленинградским издательством «Книжные новинки».

Повесть вошла в седьмой том собрания сочинений, издательство «Петрополис», 1934, и в книгу «Митина любовь.— Солнечный удар».

Печатается по этой книге, с исправлениями, сделанными Буниным для нового издания.

Скарабей (стр. 74).— Напечатано в книге «Митина любовь», Париж, 1925. Рассказ вошел в седьмой том собрания сочинений, издательство

«Петрополис», и в книгу «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию. В книге «Митина любовь» после слов «не пройдет только эта вера!» печаталось:

«...В сущности это был не сон,— это было необыкновенно точное и живое воспоминание об одном из моих давних посещений Булакского музея. Или нет, даже и не воспоминание, а нечто совсем иное, истинно непостижимое: во сне я пережил один из моих прошлых дней, во сне этот день повторился, был, существовал в мире снова еще раз. Я совершенно, совершенно забыл о нем, этом дне. Но он где-то таился, пребывал в полной цельности и сохранности. И вот внезапно, без всякого моего желанья и ведома, воскрес, проявился...

И с какой восторженной твердостью говорил я себе во сне, что все-таки, все-таки «надо радоваться!»

Сосед (стр. 76). — Напечатано в книге «Митина любовь».

Печатается по седьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями Бунина. Этот том редактировался им для нового издания 21 августа 1947 года, в марте 1951 и в августе 1953 года.

Лапти (стр. 83). — Напечатано в книге «Митина любовь».

Печатается по седьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями Бунина.

Русак (стр. 85). — Напечатано в книге «Митина любовь».

Печатается по седьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями Бунина.

Книга (стр. 87). — Напечатано в книге «Митина любовь».

Печатается по седьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями Бунина.

Солнечный удар (стр. 89). — Напечатано в книге рассказов «Солнечный удар», вышедшей в 1927 году в Париже. Рассказ был переиздан в сборнике «Дело корнета Елагина», издательство «Космос», Харьков, 1927.

Рассказ вошел в седьмой том собрания сочинений, издательство «Петрополис», и в книгу «Митина любовь. — Солнечный удар».

Печатается в последней редакции, с исправлениями, сделанными Буниным для нового издания.

Ида (стр. 95). — Напечатано в книге «Солнечный удар». В 1927 году рассказ был переиздан в сборнике «Дело корнета Елагина».

После седьмого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Митина любовь. — Солнечный удар».

Печатается в последней редакции.

Мордовский сарафан (стр. 102). — Напечатано в книге «Солнечный удар». В 1927 году рассказ переиздан в сборнике «Дело корнета Елагина».

Печатается по седьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», с последними исправлениями Бунина, сделанными им для нового издания.

Дело корнета Елагина (стр. 106). — Напечатано в книге «Солнечный удар». В 1927 году рассказ был переиздан в сборнике под одноименным названием, вышедшем в Харькове.

Основой рассказа послужило «дело Бартенева, обвиняемого в убий-

стве артистки Висновской», слушавшееся в Варшавском окружном суде в феврале 1891 года.

Подробное изложение этого дела дано в предисловии к «Речи в защиту Бартенева», произнесенной в суде известным в то время адвокатом Ф. Н. Плевако (Ф. Н. П л е в а к о «Речи». Том 1, Москва, 1910).

25 августа 1953 года, просматривая рассказ в седьмом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис», И. А. Бунин сделал надпись: «Вся эта история — очень противная история!».

Печатается в последней редакции по сборнику «Петлистые уши и другие рассказы», издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1954.

В последнем издании Буниным снята XV глава:

«Десятью годами каторги должен искупить Елагин свою вину перед людским законом.

А перед богом и перед ней?

Божий суд неведом. А что сказала бы она, если было бы в нашей власти поднять ее из гроба? И кто посмел бы тогда стать между ними?»

Дата в рукописи: 11. 9. 1925.

В саду (стр. 136).— Напечатано в сборнике «Солнечный удар». Рассказ переиздан в сборнике «Дело корнета Елагина».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», 1935, с последними исправлениями И. А. Бунина, сделанными им для нового издания в августе 1953 года.

Божье древо (стр. 141).— Напечатано в книге «Божье древо», Париж, 1931.

Печатается с последними исправлениями Бунина по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Алексей Алексеич (стр. 156).— Напечатано в книге «Божье древо» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис». В исправленном экземпляре этого тома Буниным сделана пометка: «Сперва было другое заглавие: «Рассказ Петра Петровича».

Печатается в последней редакции по книге «Петлистые уши и другие рассказы».

Подснежник (стр. 164).— Напечатано в книге «Божье древо» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Печатается по книге «Петлистые уши и другие рассказы».

Суета сует (стр. 167).— В собрание сочинений, издательство «Петрополис», не включалось.

Напечатано в журнале «Иностранная литература», Москва, 1955, № 6.

Печатается по этой публикации.

«Суета сует» представляет собой своеобразный отклик на рассказ французского историка Ленотра о необычайной судьбе мозга и сердца Вольтера.

Старый порт (стр. 170).— Напечатано в книге «Божье древо». После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Митина любовь.— Солнечный удар».

Печатается в последней редакции.

К роду отцов своих (стр. 174).— Напечатано по книге «Божье древо» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Печатается по книге «Петлистые уши и другие рассказы».

Ландо (стр. 179).— Напечатано в книге «Божье древо». Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Убийца (стр. 180).— Напечатано в книге «Божье древо» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис», под названием «Убийство».

Под новым заглавием рассказ вошел в книгу «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается в последней редакции.

Слон (стр. 181).— Напечатано в книге «Божье древо», в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис», и в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается в последней редакции.

В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Телячья головка (стр. 183).— Напечатано в книге «Божье древо» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Печатается по книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Роман горбуна (стр. 184).— Напечатано в книге «Божье древо». После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается по последнему изданию.

Редактируя девятый том собрания сочинений, издательство «Петрополис», И. А. Бунин сделал в рассказе исправления, не вошедшие в последний печатный текст.

Приводим этот вариант рассказа.

Горбун получил анонимное письмо:

«Будьте в субботу 12 апреля, в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади... Я молода, богата, свободна и — к чему скрывать! — давно знаю, давно люблю вас, ваш гордый и печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: темносерый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой — букетик фиалок...»

Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к парикмахеру, купил новые ботинки, перчатки, галстук; дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими; на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый пятнистый румянец, прекрасные глаза почернели... Потом он сел в кресло, — как гость, как чужой в своей собственной квартире, — и стал ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он сдержанно поднялся, не спеша надел в прихожей весеннее пальто и весеннюю шляпу, взял трость и медленно вышел. На улице, однако, он уже не мог владеть собой — зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью, присущей горбу, но внутренно весь трепеща — той робостью, страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Но, когда почти вбежал в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари, такими же важными и длинными шагами шла в темносером английском костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой — горбуня.

Молодость (стр. 185).— Напечатано в книге «Божье древо» под названием «Студент».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Благосклонное участие (стр. 187).—Напечатано в книге «Божье дерево» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис».

В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис». В этом томе есть пометка Бунина, что рассказ просмотрен им для нового издания 16 августа 1953 года.

Грибок (стр. 191).— Напечатано в книге «Божье дерево». В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Ущелье (стр. 194).— Напечатано в книге «Божье дерево». После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается по последнему изданию.

Первая любовь (стр. 195).— Напечатано в книге «Божье дерево». После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Петлистые уши и другие рассказы».

Печатается по последнему изданию.

Небо над стеной (стр. 197).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Свидание (стр. 198).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Петухи (стр. 199).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Муравский шлях (стр. 200).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Ужас (стр. 201).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Пожар (стр. 203).— Напечатано в книге «Божье дерево». После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается по последнему изданию.

Журавли (стр. 204).— Напечатано в книге «Божье дерево». После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается по последнему изданию.

Капитал (стр. 205).— Напечатано в книге «Божье дерево» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис». В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Комета (стр. 206).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Стропила (стр. 207).— Напечатано в книге «Божье дерево» под названием «Мамаша».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Летний день (стр. 208).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Дедушка (стр. 209).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис». В этом томе есть пометка Бунина, что рассказ просмотрен им для нового издания 17 декабря 1948 года.

Постоялец (стр. 210).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Первый класс (стр. 213).— Напечатано в книге «Божье дерево» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис». В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Канун (стр. 214).— Напечатано в книге «Божье дерево» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис». В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Маска (стр. 215).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

До победного конца (стр. 217).— Напечатано в книге «Божье дерево» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис». В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Новый мир», № 6.

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

Письмо (стр. 218).— Напечатано в книге «Божье дерево».

Печатается по девятому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис».

История с чемоданом (стр. 219).— Напечатано в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис». Печатается по этому изданию. В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Крокодил», № 23.

Прекраснейшая солнца (стр. 224).— После девятого тома собрания сочинений, издательство «Петрополис», рассказ печатался в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Печатается по последнему изданию.

Лица (стр. 228).— Отдельной книгой «Лица» вышла в издательстве «Петрополис», Брюссель, 1939, с датой: 1933, 1938. Печатается с исправлениями, сделанными Буниным в последние годы жизни.

В образе Алксея Арсеньева много автобиографических черт самого Бунина. Как и Арсеньев, Бунин одно время жил в Орле и сотрудничал в местной газете, а затем уехал на Украину, в Полтаву, где его брат

Юлий (в «Лике» — Георгий) заведовал статистическим бюро губернского земства. «Я служил в полтавской земской управе, — вспоминает он в «Автобиографических заметках» (собрание сочинений, издательство «Петрополис», том 1), — был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро...» Этот период жизни Бунина (1889—1894), его любовь к Варваре Владимировне Пашенко, послужившей прообразом Лики, взаимоотношения с Н. А. Семеновой, редактором-издательницей «Орловского вестника» (в «Лике» — Авилова) и некоторые другие моменты биографии писателя нашли отражение в произведении.

В. В. Пашенко — дочь врача, противившегося ее браку с Буниным и считавшего, что он ей «не пара», что отец его «нищий»... (письмо Бунина к брату Юлию от 14 мая 1892 года. ЦГАЛИ).

Один из парижских исследователей творчества Бунина писал:

«Существовала ли Лика? Такой, как она изображена в романе, — никогда. Но, переживая наново свою жизнь, поэт именно так ее увидал — создал ее и наново влюбился в этот созданный им образ — влюбился так, что испытал блаженство и страдания любви и ревности».

Ниже печатается несколько писем И. А. Бунина и В. В. Пашенко, частично раскрывающих их подлинные взаимоотношения¹.

1

14 мая 91 г.

Сейчас, Варя, без 15 м. 6 ч., — следовательно, прошло меньше 6 часов, как мы в последний раз обнялись; за это время я пообедал,пил чай и прочитал почти всю корректуру; вот и все... Что же я могу написать тебе?.. А между тем, страшное желание поговорить с тобою, написать тебе; написать могу только о себе... да ты про меня знаешь: тоскливо, деточка, ужас как тоскливо! Об чем ни подумаю, что ни представлю себе из того, что я буду делать за эти две недели без тебя, — все ерунда...

По виду я угрюм... Душа моя полна
Каких-то милых снов и ноющей печали
И плачет как струна!..

Без шуток, это очень подходит к моему настроению. Как бы оно быстро оставило меня, как бы я ожил, если бы сейчас я мог бросить перо, пойти в «нашу» комнату и прилечь к тебе на колени! Ото всего сердца, нежно, ласково целую их заочно, целую каждый пальчик твоих ручек! Ты, зверочек, не укоряй меня за то, что я умею только толковать с тобою о нашей любви! Я умею, голубчик, и другое, только думаю, что для меня первое важнее, и не хочу отгонять от себя таких дум...

Завтра в городском театре будут играть приехавшие малороссы под упр[авлением] Садовского. Жаль, что ты не увидела их. Да и я не увижу, — уеду, потому, что только дома успокоюсь. Там ведь хорошо: зелено, свежо и тихо; окна в моей «гостиной» открыты, ветер теплый, полевой, пахнет сиренью, в белой черемухе жужжат пчелы, а на пруде, под садом, раздаются только гулкие удары валька... Все буду думать о тебе. Девочка! Да люблю же я тебя, люблю глубоко и серьезно. Будь и ты серьезна в наших отношениях, помни, что свою молодость, все хорошее что только есть я отдал тебе! Это правда, Варя, и я счастлив этим!

Чтобы письмо попало к тебе завтра, я сейчас посылаю его. Напишу тебе если не завтра, то послезавтра, из деревни; отправлю с ночным поездом, так что ты получишь его 17-го.

¹ Письма печатаются с небольшими сокращениями по автографам, хранящимся в Архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького.

Выбери, голубчик, время, напиши мне поподробнее, — напиши, как действовала на тебя семейная сцена, не упадет ли в тебе решительность! Не слушай их, Варенька, право не стоит, потому что они только могут преднамеренно разуверять тебя. Я убежден, что мы будем счастливы. Честное слово, буду непременно искать места где бы оно ни было, — в Полтаве, в Орле, — непременно.

До свидания! О бесценная моя, если бы я мог сейчас расцеловать твою «холодную морду»!.. Нет, последнее слово на бумаге как-то грубо... личико, Варенька, милые губки дорогого ненаглядного зверка! Твой, весь твой И.

2

[19 июня 1891]

Ты, дорогая моя, знаешь, насколько я ценю твоё каждое ласковое слово, каждое проявление твоей нежности ко мне... ты знаешь, зверочек мой, как мне дорог каждый хороший миг нашего прошлого... помнишь, например, наши дни в редакции в ноябре, хотя бы эту переписку для меня стихотворений?.. помнишь, как ты сказала мне раз в театре, что, если даже мы разойдёмся, у тебя навсегда останется обо мне «самое светлое, поэтичное воспоминание»? Помнишь? Так уж, наверно, знаешь, что я то не забуду. И потому — зачем мне говорить, как я отнесся к твоему письму? Милая, хорошая моя!

Ты говоришь, что «жить в семье можно», что странно было бы, если бы каждый тянул в свою сторону, что «твой протест становится все слабее и слабее»... Как же ты при этом говорила, что ты все равно уйдешь ко мне? Я понимаю, я не смею да и не за что упрекнуть тебя, Варенька... я, говорю, вижу, что ты мучаешься собственно говоря между рассудком и сердцем. Рассудок — за семью, сердце — за меня.. Как же быть? Как я могу помочь? Неужели ты рассудком не любишь меня, не представляешь ничего хорошего в нашем будущем? «Жить в семье можно» — но разве «надо»? Надо только в том случае, если тебе со мной будет хуже. Если же надо только потому, чтобы, так сказать, не вносить разлада в семью, потому что она налагает известное подчинение ее требованиям, то ведь это немного не так: в разладе-то и трагизм многих семей, и его нельзя устранить подчинением, если раз сердце рвется в другую сторону. Правда, многие подчиняются — но ведь это опять ведет к массе неурядиц, дразг и разладов, наполняющих жизнь огромного большинства. Разве это чело-вечно?

Если подчинишься требованию семьи в известный час обедать — ломка небольшая, но если — допустить кое-что другое...

Повторяю тебе — я понимаю тебя, бесценная моя! Не упрекаю, избавь бог, боюсь только за то, чтобы требования семьи, исполнение которых, по моему, не устраняет внутреннего разлада, не пересиливали бы требований твоего сердца... Впрочем, еще поговорим при свидании. Теперь तो роплюсь. Рассветает и сейчас надо посылать на станцию к поезду... и хорошо рассветает! Сажу у окон и пишу тебе. Самый свежий степной воздух чувствуется мне в открытые окна из темного сада... Деревня мирно спит короткую летнюю ночь, а уж за садом где-то вдалеке чуть-чуть брезжит рассвет... «Полосой зеленоватой уж обозначился восток; туда тепло и ароматы погнало со степи ветерок»... Как поразительно — художественно и поэтично сказано это у Майкова!..

До свидания, милая, хорошая, ненаглядная моя девочка!.. Ты теперь должно быть спишь крепким сном... Только где? Куда ты уехала?

Весь, весь твой, дорогая моя!..

И. Бунин.

Р. С. Подумай о том, что я пишу про семью, подумай и сама. Только богом умоляю — будь откровенна и немного порешительнее. Я перенесу. Избавь бог, чтобы ты после раскаялась хотя немного! Лучше забудь меня! Это не фраза, не рисовка. Приеду с Измаковки 21-го в 8 ч. 40 м. вечера. Встреть, если можно, на платформе, хотя минуто со мною! Девочка! Целую твои ручки, губки, глазки, все, все! 22-го, значит, у Лены? Буду в городск[ом] саду в 3 ч.

3

14 июля 91 года

Ходил сейчас на почту, получил твое письмо и окончательно попал в тяжелое, запутанное положение. Я и раньше понял — из твоего молчания и кое из каких мелочей, которые узнал, — что для меня многое кончено, многое ушло и не вернется... Теперь я убедился в этом бесповоротно... Но все-таки пишу с невольным чувством боязни и неловкости: я боюсь, что ты не вполневеришь мне, не вполне поймешь меня... А написать я должен, не могу смолчать, и ради бога вдумайся в то, что я скажу. Я спрошу тебя прежде всего: скажи мне, — были ли у тебя хоть когда-либо, хоть раз основания думать, что я тебя не любил и не люблю? Нет! Называй как хочешь мою любовь — мальчишеской, глупой, — но не забудь, что мое чувство к тебе было и есть жизнью для меня, что я готов был на все из-за него, что каждый твой неласковый взгляд был для меня мукою... да, мукою! Это не фраза! Никто не имеет права не поверить мне; никто! Много раз я говорил и теперь повторяю: только у скота не бывает минут, когда бывает не до фраз и не до фанфаронства... Что же мне ставить в упрек? То, что у меня бывали сомнения относительно полноты твоего чувства? Да я сам всем сердцем страдал из-за них, меня самого против воли толкали на них факты! Что же еще? На чем основаны твои последние мысли, что я разлюбил тебя. Если разлюбил в месяц — значит прежде не любил сильно? Нельзя зя этого говорить! Нельзя было без сильной любви вынести все оскорбления и ненормальности на Воргле в прошлом году, нельзя было доходить до безумного отчаяния при каждой нашей размолвке, нельзя было, наконец, чувствовать в каждую покойную минуту такую невыразимую нежность, ласку к тебе, как к самому дорожному, ненаглядному моему другу... Повторяю — избавь бог тебя думать, что я преувеличиваю. желаю пробудить в тебе сожаление ко мне. Нет, никогда! Не думай также, что я сейчас в экстренном настроении — я в твердом уме и трезвой памяти, я давно ко всему приготовился. Ты говорила, что я стал рассудителен, что у меня, значит, угасло чувство. Что это? Как же ты говорила мне постоянно, что веришь мне во всем? Но все-таки есть предел, во всем есть известные перемены форм. Я на каждом шагу слышал упреки и просьбы не поддаваться тоске, уметь владеть собою, закрывать чувство. Я обдумал, во многом согласился, понял, что лучше пусть на душе будет беспросветное несказанное горе, но я не буду забывать о внешней жизни, не допущу себя разможжить голову... У всякого существа есть животные тяготения к жизни, есть, значит, и у меня. Ведь если бы это «разможнение» было только в теории, а то ведь ты знаешь, что мне бывало не до шуток! В чем же упрек мне? Он вынуждает меня сказать теперь совсем неуместное и никому не нужное — сказать, насколько было у меня каждый час полно сердце любовью к тебе, ласкою... как каждый день у меня холодели руки, когда почтальон проходил без последствий; не знаю, наконец, насколько мне лучше сейчас, чем в послед[нюю] ночь на Воргле, но знаю, что задавлю отчаяние! Ни сожаление, ни бессилие ни от кого, ни от себя не хочу! Та часть гордости, которая у меня была долго-долго под спудом, выходит против воли наружу...

И напрасно ты писала мне последнее письмо: во-первых, я никак не могу поверить, чтобы же было двyx минут написать любимому чело-

веку, прочесть его письмо. Во-вторых, то, о чем я просил написать, т. е. где я тебя увижу, — ты не написала, не обратила на такой вопрос внимания, а как-то неопределенно говоришь, что мы когда-то увидимся в Орле. Не могу опять-таки понять, как можно так неопределенно думать о свидании с близким человеком.

Упреки моему брату незаслуженные. Прежде всего, как могла ты придать значение, что написал я «история»? Разве ты забыла, что эта «история» наполняет мне всю жизнь, что каждый день прошлого в ней я не могу вспомнить без боли сожаления. Ты все это знаешь, ты должна верить мне. У меня и мысли в жизни никогда не было отнестись иронически к лучшей, дорогой поре моей молодости. Брат знает, что у меня своя голова и что следовательно он ничего не может дать мне, кроме совета: владеть собой, помнить серьезность брака и поскорее, поэнергичнее устроить себя, чтобы была покойна наша жизнь с тобою. Богом тебе клянусь, что брат мой не осел, чтобы посмеять, не зная тебя, относиться к тебе дурно. Значит, я дурно относился? Да что же это, это что-то дикое! А составить несколько фраз по французски] в духе второго класса я умею. Прощай. Не хочу, чтобы у тебя осталось дурное воспоминание! Не хочу, чтобы ты никогда не пожалела наше прошлое. И только из-за этого прошу: вспомни все, подумай, любил ли я, люблю ли и какая будет у тебя жизнь, новая... А для нашей — конец!

4

3-го утром [март 1892]

Это — мое последнее письмо. К тебе вернулась прежняя небрежность. Небрежность при настоящей любви невозможна. Если бы ты ценила мои письма, мою горячую, искреннюю любовь и самую теплую, близкую дружбу — ты бы так не поступала. Варя! Вспомни, что людей, которые искренно любят нас, — очень и очень немного: надо ценить этих немногих! Вдумайся.

5

Полтава, 17 марта [1892]

Милая Варюшечка, если бы ты знала, как мне не хочется сейчас заводить с тобою даже мало-мальски неприятный разговор! Эти два чувства — одно ласковое, любовное, которое хочет оттолкнуть все неприятности и возбуждает одно желание — без слов, без всякой неселой мысли обнять тебя и начать целовать губки, лапочки, «глазы», — а другое — напоминающее, что эту неселую мысль, эту темную точку нельзя устранить — путают и мучат меня! И на каждом шагу такое раздвоение... и из-за него-то я не писал тебе... Пойми меня. Ведь я люблю тебя, ведь всякое мое хорошее душевное ощущение связано с тобою. Трудно это рассказать, а между тем это так. Вот хоть бы эти дни. Каждое солнечное утро, когда я через городской сад иду в библиотеку, чувствую теплый легкий ветер, который сушит дорожки — вызывает во мне воспоминание о прошлогодней весне, о елецком городском саде и об милой высокой девушке, которая, в своем драповом пальто, в картузике, быстро идет по аллее и близоруко вглядывается, ищет меня!.. Каждый вечер, когда в том же саду играет музыка (у нас она уже играет), звуки веют на меня орловскими вечерами, когда ты уходила в сад с Сашей, а я любил тебя и затаивал в сердце нежность к тебе и светлую грусть, — и время это мне кажется далеким, и в сердце звучит что-то грустное и хорошее! Уйду ли на конец Нового Строения, где вдали открывается поле и вечерние лиловые дали, — зашевелится что-то поэтичное и любовное... «Вот в такой вечер иди бы с Варей, рядом, куда-то далеко, далеко!»... Поверь, Варечек, милый мой, — я говорю тебе, может быть, неумело, не сильно, не вызываю в тебе ясного представления о моих думах и

ощущениях, но ей-богу это все правда. А как мне сильно, до отчаяния хочется этого места в Орле, этих дней, когда бы я мог знать, что ты теперь моя жена, что мы вместе проведем вечер и чисты и спокойны будут наши брачные ночи, чтобы я мог думать с тихой радостью:

Теперь лампы луч заветный
Мне тихо светит в час ночной,
И смотрит с радостью приветной
На поцелуй любви святой,
На взор, исполненный душою,
И на склоненную ко мне
С улыбкой ясного покоя
Головку в мирном полусне.

Ну, Варечка, ты понимаешь же меня! Я хочу полного, цельного в наши отношения! А какое же полное, когда мне приходится упрашивать тебя писать, когда твои письма являются как бы вынужденными, когда тебе не хочется писать и ты принуждена вместо 11 марта помечать письмо 8-м! (Ты пишешь в нем о впечатлениях от «Каштанки», а «Каштанку» я послал тебе в субботу 7[-го], следовательно, она могла придти только 9[-го] в Орел. Как же ты пишешь о ней 8-го?) Или эта приписка: «Господи! Хочется еще написать, а Муся не дает»... Бывало, в письмах из Ельца, ты повторяла эту фразу точь-точь, только тогда мешала мама. Неужели нельзя выбрать время?.. И отчего ты могла писать мне такие теплые, задушевно любовные письма, когда я был в Глотовом в ноябре? Настроение было другое, Варя!

Я в первый раз в жизни не смог написать тебе в течение недели. И ты за это осердилась и не хочешь уже писать мне, а пишешь через Юлия. «Не хочешь, мол, писать,— не надо! Просить не стану»... Я еще ни разу не гордился так перед тобою... А теперь я уже наконец не могу и буду принужден молчать или же говорить только о делах, задавливая свои ощущения. А писать обыкновенно, как бы хотелось, повторяю, не стану,— не могу. Молчание очень неприятный ответ, а я уж не раз слышал от тебя его. Ну, вот и все... Пожалуйста не будем больше толковать об этом...

О делах могу сообщить немного: на счетах учусь,— оказывается, это очень нехитрая махинация,— утром часов с 9 и до 3-х, т. е. обеда, занимаюсь Юрьевой статистикой,— в бесчисленных таблицах подвожу итоги (начал я у него заниматься с 9-го числа, за 15 рублей в месяц), гуляю, читаю, думаю... В «Полтавских вед[омостях]» мне предложили сотрудничество,— писать фельетоны, обещаясь платить по 2 копейки за строку, но что же мне дать? Нужна преимуществ[енно] беллетристика. В «Харьк[овские] вед[омости]» послал корреспонд[енцию], в «Новости» тоже,— о будущей в сентябре сельскохозяйствен[ной] полтавской выставке и об заседании сельскохозяйствен[ного] общ[ества], был раза 2 в концертах, слышал Серебрякова, Михайлова и Чернова. Чудная вещь, эти концерты! Ей богу, несколько дней как очарованный ходишь, просветленный и облагороженный. Поразително сильное впечатление произвел на меня романс Рубинштейна на слова Гейне — «Азра»!.. От Лебедева получил письмо, бранит и в письме, как и в рецензии, меня за невнимание к форме — иногда, впрочем,— и восхищается «неподдельной поэзией», стихотв[орением] «Три ночи». Как я рад, что он человек со вкусом: ведь, правда, это мо[е] лучш[ее] стихотв[орение].

Прочла рецензию в 9-м № «Севера»?¹ Прочти, а пока прощай. Крепко люблю тебя и крепко целую, дорогая моя! Сладкая моя девочка!

¹ В журнале «Север», 1892, № 9, март, была напечатана сочувственная рецензия на первую книгу Бунина «Стихотворения. 1887—1891», вышедшую в Орле.

Полтава, 7 июля [1892]

Я, милая, прежде всего хочу попросить у тебя извинения: я написал Ел[ене] Ник[олаевне] письмо, где немного резко выразил свое удивление по поводу твоего молчания. Не принимай этого в расчет, дорогая моя, хорошая! Я опасаясь только одного, — или тебя или Ел[ены] Ник[олаевны] нет в городе, так что не пропадают ли мои письма даром? Поэтому, это письмо пишу наугад...

Я уже писал тебе, что теперь, когда все почти «нужные» люди поразехались из города, ничего нельзя сказать определенного о месте в Полтаве. Писал также, что брат обещал мне непременно позаботиться для меня о месте, чтобы потом известить. К этому могу прибавить, что в Пол[тавском] сельскохозяйств[енном] обществе будет вскоре свободно место помощника (младшего) бухгалтера; заведывающий там некий Квитко, через которого можно будет получить это место. Придется только пройти руководство по бухгалтерии, — это весьма не трудно. Когда это будет определеннее — брат мне сообщит.

Ну-с, о деле, право, больше нечего сказать. Что можно сделать в такой короткий срок, который я пребываю в Полтаве? Но повторяю тебе, — я вовсе не легкомысленно отношусь к такой важной для меня вещи, как получение места.

11-го или, самое позднее, 12-го я уезжаю из Полтавы. В Орле пробуду до 16-го. Пока же живу попрежнему. Ездили, между прочим, кататься на лодке впятером: я, Юлий, Лидия Александровна Женжурист, Нечволодов и Орлов. Поехали часов в 9, вниз по Ворскле. Месяц стоял еще невысоко, и далеко по широкой реке, между темными берегами, дрожали золотые отражения от него. Около лодки вода походила на темное масло, разбегаясь плавными, тихими струями... Гребли медленно, но лодка шла вниз по течению, и скоро начали открываться роскошные виды: то например, плывем между высокими узкими берегами; потом река делает крутой изгиб и мы выплываем на широкую водную равнину, освещенную месячным, прозрачным туманом. По берегам шли рощи, которые стояли совсем черными и молчаливыми. Часам к 12-ти мы приехали в Терешки. Терешки — малороссийские хутора на берегу реки; туда обыкновенно съезжаются целые компании, так что и теперь мы увидали на берегу костры и целую ватагу студентов-хохлов. Они пели песни, бродили по берегу и вообще вели себя, как истые хохлы, попавшие после города в родные хутора. Мы закусывали в настоящей украинской хате, чистенькой, просторной, с образами, убранными засохшими ветвями березок. И слушая разговоры семьи и быстрые певучие интонации Олены, которая подавала нам молоко и «коржики», мне все казалось, что я на малороссийском спектакле. Воротились мы уже в 6 часов. Плыли медленно, и хорошо мне было на заре глядеть на рассвет над широкой, живописной рекой!.. Только отчего мне всегда при рассвете вспоминается Воргол? Видно, никогда не забуду этой ночи «поздним летом»...

Дорогая моя, радость моя! Когда же это я увижу тебя? Ведь разве возможно этими дурацкими кавычками, называемыми буквами, сказать что-нибудь как следует?.. Впрочем, стараюсь не скучать и работаю над одной вещью. Не хочу говорить, потому что ты недоверчиво относишься к моим работам, но покажу, как приеду. Когда увижу, где? — ничего не знаю...

Целую мои ненаглядные «глазы», губки и лобик!..

Весь твой И. Бунин...

[18 августа 1894. Полтава]

Не помню, не помню ни одного твоего письма, которое разорвал бы спокойно — все дрожит внутри, потому что знаю, знаю, знаю, что больно мне будет, что всю ту нежность, глубокую нежность, которой переполняет мне сердце разлука с тобой — истомит твоё молчание, а потом оскорбит неправда. Ах, эта неправда! Вся душа моя встает на дыбы! И ни одно-то мое желание не исполнялось никогда, не перечесть те минуты, которые пришли именно тогда, когда ждал их — всегда обещание, как ребенку, и неисполнение всегда — взята хоть последнее: «Когда придет В. В.?» — «Тогда-то». — «Толкуйте! Она пробудет до таких-то пор». И всегда другой прав, другой знает, а я нет. Я только просил тебя о приезде и ты знала, что не исполнишь мою просьбу, заранее знала — и, конечно, говорила другое — это стало законом. И письма твои от этого связанные, холодные, и как быть им не связанным, когда человек неискренен — а зачем? Освободи ты себя ради Христа от этого — лучше же будет наша общая жизнь, дружнее! Еще до сих пор у меня руки холодеют от волнения, когда жду тебя вчера, напр[имер], весь день на вокзале в Харькове, но ведь уже и знаю заранее, что ни к чорту все мои ожидания и напряженное чувство все равно упадет и потухнет. Так убивались все лучшие [подробности] моей любви — красота всякой любви, так убивалась моя веселость, и ее осталось уже немного — последние лирические письма дописываю! Деньги посланы 10-го, значит, получены в Ельце 12-го, самое большое 13-го, твоё письмо послано 15-го — чего же о них спрашиваешь? Относительно бюро сама знаешь, что без тебя лично дело пойдет черепашим шагом. А тут еще одна барыня из Перми приехала — ей место выскивают. Относительно Леды — ты ведь знаешь по крайней мере то, что в Полтаве мы все равно останемся ненадолго — это не может быть иначе, нельзя здесь оставаться еще более года, рано приковываться к захолустью.

Ну, прощай.

Твой Ив. Бунин.

Чем ты лечишься? Отчего не написала про свое здоровье посерьезнее?

В. В. ПАЩЕНКО — И. А. БУНИНУ

[Конец 1894 г.]

Ты сегодня был у отца с целью просить моего с тобой свидания... Это показывает мне, что Юлий Алексеевич не передал тебе содержания моего к нему письма еще в Ельце, так как в нем я выяснила как основания моего отъезда из Полтавы, так и мое решение расстаться с тобой, как два порядочные человека, строго охраняющие свои убеждения о свободе и любви в семейных отношениях.

Что же мне еще сказать тебе?.. Любовь, как ты и сам заметил в твоём письме, уходила с каждым днем...

Уважения друг к другу у нас за эти два года не установилось и не выработалось...

Что же осталось между нами для обоюдного счастья?

На чем могли мы построить дальнейшую нашу жизнь? Ведь не могу же я допустить, чтобы ты без этих оснований, осмысливающих всякую честную семейную жизнь, желал ее. Не могу допустить, чтобы ты старался и создать каким-либо насильственным путем, а потому, думая, что ты сумеешь овладеть тяжелыми для тебя же порывами, желаю тебе всего хорошего, что может быть хорошего в жизни каждого человека.

Вот все, что я могу объяснить тебе.

Я долгу не принимаю серьезного решения, но никогда его не переменяю и думаю, что оно послужит к общему нашему благу.

В. П.

Темные аллеи (стр. 305).— Напечатано в сборнике рассказов «Темные аллеи», издательство «Новая Земля», Нью-Йорк, 1943. Книга, в количестве шестисот экземпляров, вышла со следующим примечанием «От издательства»:

«Темные аллеи» выходят без авторской корректуры. Издательство не имеет, к сожалению, возможности снести с И. А. Буниным. Между тем оно вынуждено было разделить книгу знаменитого писателя на два тома. Настоящий том включает в себе лишь половину рассказов, составляющих эту книгу. Автор ее, естественно, не несет никакой ответственности за раздел и за другие недостатки, которые могут быть у издания. Редакционная коллегия «Новой Земли» считает себя обязанной довести об этом до сведения читателей, в надежде, что они, как и сам И. А. Бунин, примут во внимание исключительные условия нашего времени. Май, 1943 г.»

Второе, дополненное издание «Темных аллеи» вышло в 1946 году в Париже.

Печатается по этой книге, с исправлениями, сделанными Буниным для переиздания. (Исправленный экземпляр ее находится в Архиве Института мировой литературы им. А. М. Горького.)

Рассказ печатался в журнале «Новый мир», 1955, № 6.

Кавказ (стр. 309).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1943. Печатается по второму изданию, 1946.

Степа (стр. 313).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1943. Печатается по второму изданию.

Муза (стр. 318).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1943. Печатается по второму изданию.

Руся (стр. 324).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1943. Печатается по второму изданию.

Красавица (стр. 332).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

Дурочка (стр. 334).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

Волки (стр. 336).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

В Париже (стр. 338).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1943. Печатается по второму изданию.

Натали (стр. 346).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1943. Печатается по второму изданию.

В одной знакомой улице (стр. 370).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

«**Дубки**» (стр. 372).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

Холодная осень (стр. 376).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

Пароход «Саратов» (стр. 380).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

Ворон (стр. 385).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

В 1955 году рассказ был перепечатан в журнале «Огонек», № 30.

В рукописи рассказ кончался фразой: «Я взглянул и поспешил назад, вон из залы».

Качели (стр. 390).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи». 1946. Печатается по этому изданию.

Часовня (стр. 392).— Напечатано в сборнике «Темные аллеи», 1946. Печатается по этому изданию.

Памятный бал (стр. 393).— Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

Алупка (стр. 397).— Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

В 1956 году рассказ был перепечатан в журнале «Огонек», № 15.

Ловчий (стр. 400).— Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

«**Остров сирен**» (стр. 406). Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

Очерк примечателен тем, что в нем И. А. Бунин пишет о Капри и Анакапри, где он, живя в гостях у А. М. Горького, написал рассказы «Захар Воробьев», «Игнат», «Веселый двор», «Худая трава», «Лирник Родион», «Хороших кровей» и др.

Третий класс (стр. 412).— Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

Молодость и старость (стр. 415).— Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

В 1956 году рассказ был перепечатан в журнале «Огонек», № 15.

Возвращаясь в Рим (стр. 418).— Напечатано в книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона». Печатается по этому изданию.

Бернар (стр. 420).— Напечатано в книге «Божье древо» и в девятом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис», с датой: 1930.

Печатается с исправлениями и датой: 1952, по книге «Весной, в Иудее.— Роза Иерихона».

Раньше не было первых двух абзацев, в которых за год до смерти Бунин говорит о себе: «Дней моих на земле осталось уже мало» и т. д.

Изменена и концовка рассказа. Вместо:

«Но ведь сам бог любит, чтобы все «было хорошо». Он сам радовался, что его творения хороши. «И поставил бог светила на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел бог, что это хорошо...»

Каждый, каждый из нас должен заслужить себе право сказать в некий час так, как сказал, умирая, Бернар». («Думаю, что я был хороший моряк».— П. В.),—

Бунин написал:

«Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар».

СТИХОТВОРЕНИЯ

1917—1952

Печатаются по восьмому тому собрания сочинений, издательство «Петрополис», и по книге «Избранные стихи», Париж, 1929, исправленным Буниным для нового издания.

Воспоминание (стр. 427).— В восьмом томе собрания сочинений, издательство «Петрополис», печаталось без заглавия. Оно дано Буниным при исправлении этого тома для нового издания.

«Этой краткой жизни вечным измененьем...» (стр. 430).— Печатается по книге «Избранные стихи», с исправлениями, сделанными Буниным для нового издания. В четвертой строке вместо «в свежем парке» он написал: «в алом парке»; в десятой — вместо «в парке розовом» — «в парке алом».

Сириус (стр. 432).— Печатается по книге «Избранные стихи», с исправлением для нового издания. Раньше вторая строфа читалась:

Где вы, скитания полночные
В равнинах светлых и нагих,
Надежды, думы непорочные
И радость вымыслов монах?

«Уж как на море, на море...» (стр. 435).— Печатается по книге «Избранные стихи», с исправлениями для нового издания. Вместо:

Есть одна в море жемчужина —
Моя белая краса,—

Бунин написал:

Есть одна жемчужина —
Моя нагая краса...

Дочь (стр. 435).— Печатается по книге «Избранные стихи», с исправлением для нового издания девятой строки. Вместо «Не по себе мне, тяжело» раньше печаталось: «Мне почему-то тяжело».

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ

Печатаются по периодическим изданиям 1920—1940-х годов, выходящим в Одессе, Берлине, Париже, и по книгам: «Роза Иерихона», Берлин, 1924; «Митина любовь», Париж, 1925; «Весной, в Иудее. — Роза Иерихона», Нью-Йорк, 1953.

«Ночь» (стр. 451).— Последнее из напечатанных в книге «Весной, в Иудее. — Роза Иерихона» стихотворений И. А. Бунина.

П. ВЯЧЕСЛАВОВ

Портрет И. А. Бунина, помещенный в этом томе, любезно предоставлен редакции А. В. Померанцевой, работавшей вместе с Буниным в газете «Орловский вестник».

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1921—1952

Темир-Аксак-Хан	5
Далекое	8
В ночном море	15
Огонь пожирающий	22
Митина любовь	28
Скарабей	74
Сосед	76
Лапти	83
Русак	85
Книга	87
Солнечный удар	89
Ида	95
Мордовский сарафан	102
Дело корнета Елагина	106
В саду	136
Божье древо	141
Алексей Алексеич	156
Подснежник	164
Суета сует	167
Старый порт	170
К роду отцов своих	174
Ландо	179
Убийца	180
Слон	181
Телячья головка	183
Роман горбуна	184

Молодость	185
Благосклонное участие	187
Грибок	191
Ущелье	194
Первая любовь	195
Небо над стеной	197
Свидание	198
Петухи	199
Муравский шлях	200
Ужас	201
Пожар	203
Журавли	204
Капитал	205
Комета	206
Стропила	207
Летний день	208
Дедушка	209
Постоялец	210
Первый класс	213
Канун	214
Маска	215
До победного конца	217
Письмо	218
История с чемоданом	219
Прекраснейшая солнца	224
Лица	228
Темные аллеи	305
Кавказ	309
Степа	313
Муза	318
Руся	324
Красавица	332
Дурочка	334
Волки	336
В Париже	338
Натали	346
В одной знакомой улице	370
«Дубки»	372
Холодная осень	376
Пароход «Саратов»	380
Ворон	385
Качели	390
Часовня	392
Памятный бал	393
Алупка	397
Ловчий	400

«Остров сирен»	406
Третий класс	412
Молодость и старость	415
Возвращаясь в Рим	418
Бернар	420

СТИХОТВОРЕНИЯ

1917—1952

Укоры	425
Змея	425
«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны...»	426
«Вид на залив из садика таверны...»	426
«Роняя снег, проходят тучи...»	426
Воспоминание	427
Свет незакатный	427
«Стали дымом, стали выше...»	428
«Ранний, чуть видный рассвет...»	428
«Мы рядом шли, но на меня...»	428
«Белые круглятся облака...»	429
«Сорвался вихрь, промчал из края в край...»	429
«Осенний день. Степь, балка и корыто...»	429
«Щелгы, их звон, стеклянный, неживой...»	430
«Этой краткой жизни вечным измененьем...»	430
«Как в апреле по ночам в аллее...»	431
«На даче тихо, ночь темна...»	431
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...»	431
Сириус	432
«Мечты любви моей весенней...»	432
Венеция	432
«В гелиотроповом свете молний летучих...»	433
Пантера	433
Встреча	433
«Льет без конца. В лесу туман...»	434
«Уж как на море, на море...»	435
Дочь	435
«Одно лишь небо, светлое, ночное...»	436

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИИ

«Звезда, воспламеняющая твердь...»	437
«Земной, чужой душе закат!»	437
«Луна над шумною Курюю...»	438
«Гор сиреневых кручи встают...»	438
«Ночь и алые зарницы...»	438
Отрывок	439

Разлука	439
Степь	440
«Высокий белый зал, где черная рояль...»	440
«Лик прекрасный и бескровный...»	441
Газелла	441
Ночной путь	442
Бред	442
«К вечеру море шумней и мутней...»	442
В цирке	443
Спутница	444
«Вот он снова, этот белый...»	444
Ландыш	445
«Огонь, качаемый волной...»	445
Михаил	446
Канарейка	446
Гаданье	446
Поэтесса	447
Восход луны	447
«В пустом, сквозном чертоге сада...»	447
Эллада	448
Голубь	448
Рабыня	449
Грот	449
Старая яблоня	449
Ночная прогулка	450
Nel mezzo del camin di nostra vita	450
Ночь	451
Примечания	452

И. А. БУНИН.
Собрание сочинений
в пяти томах. Том 4.

Оформление художника
П. П. Зубченкова.

Технический редактор А. Ефимова.

А 12742. Подп. к печ. 21/XI 1956 г.
Тираж 250 000 экз. Изд. № 1118.
Заказ 2532. Формат бум. 60×92^{1/4}.
Бум. л. 14,75. Печ. л. 29,5+1 вкл.
(0,125 п. л.) Уч.-изд. л. 25,86.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

